
В НОМЕРЕ

Проза

Роман СЕНЧИН
ШУТКА 4

Дмитрий ЛАГУТИН
ДЯДЯ СЕВЕР 12
СПИЦА 21

Сергей ШЕСТАК
ПРИЗНАНИЕ 27

Павел ЛАПТЕВ
ПРОВОДНИК 31

Поэзия

Марина КУЛАКОВА
К ДОМУ 34

Вадим МЕСЯЦ
...ПОВЯЖИ НА ЗАПЯСТЬЕ ПРОСТУЮ НИТКУ 38

Марианна СОЛОМКО
...И НА СЕРДЦЕ – ТРИ РУБЦА 45

Проза

Виктор БЕРДИНСКИХ
РУССКИЙ НЕМЕЦ. Роман о времени (окончание) 48

Поэзия

Дмитрий МИЗГУЛИН
СОГРЕЕТ ДУШУ ПРОСТОТА... 108

Алексей ОСТУДИН
ИЗ МОДЕМА ВЫГНАЛИ АДАМА... 112

Владимир ИЛЬИЧЕВ
ПО ПИСЬМЕННОЙ СТОЛАКТИКЕ БРОЖУ... 118

Из будущих книг

Александр ХОРТ
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 122

Публицистика

Владимир КУТЫРЁВ
ТЕХНИКА РЕШАЕТ ВСЕ(X) 129

Литпроцесс

Андрей РУДАЛЁВ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 146

Елена КРЮКОВА
ЧУЖОЙ ТЕКСТ. 154

Андрей ЯКОВЛЕВ
«МУЗА-СЕСТРА ЗАГЛЯНУЛА В ЛИЦО...»
О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой 166

Алексей КОЛОБРОДОВ
БГ ВОЙНЫ. О книге Платона Беседина «Дети декабря» 172

Людмила СИПКО
«ФИШКА – НА КРАСНОМ, А ВЫПАЛО ЧЁРНОЕ...»
О романе Галины Талановой «Светлячки на ветру» 176

Владимир ПИМОНОВ
В ДЫМЧАТЫХ ПОЛУТОНАХ ПЕССИМИЗМА
О книге рассказов Елены Сафроновой «Портвейн меланхоличной художницы» 186

Евгений ШИШКИН
«ВСЁ НЕЧАЯННОЕ СБЫЛОСЬ...»
О сборнике стихотворений Людмилы Калининой 190

Вехи памяти

Герман САДУЛАЕВ
ЖЕНИТЬБА СЫНА ВДОВЫ. Из книги «Время героев» 193

Юрий ПОКРОВСКИЙ
У НАС В КАНАВИНЕ 203

Стихи по кругу

Наталья СТРУЧКОВА 236

Владимир РЕШЕТНИКОВ 238

Проза

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия». В 2015 году роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга».

Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Живет в Екатеринбурге.

ШУТКА

Жизнь у Саватеевых текла по давным-давно установившемуся порядку. Конечно, детали менялись, но основное оставалось неизменным.

Юрий поднимался около шести утра и, тихо одевшись, шел умыться, готовил кофе, а потом закрывался в своем кабинете. Ирина часто просыпалась от его шевелений, шума воды из крана, мягких, но все равно слышимых шагов, и порой уже не могла уснуть, но вставать не спешила: знала — для мужа эти утренние часы очень важны, в это время он пишет главное...

Раньше, когда дети учились в школе, уже в семь в квартире начиналась суета, разговоры, включался телевизор, а теперь сын и дочь выросли, живут отдельно, и тихое утро растягивается до десяти.

Когда не спится, Ирина пытается читать, в последнее время пристрастилась к разным постам в соцсетях; встает она около восьми, занимается домашними делами, стараясь не шуметь, готовит завтрак.

Ирина не работает — тот журнал, в котором была редактором много лет, закрылся, а на новое место устроиться оказалось непросто. Иногда из издательств к ней обращаются с предложением отредактировать книгу, случается, сами авторы — таких, правда, теперь очень мало, — просят прочесть на предмет ляпов и неточностей, и платят за это пусть немного, но все-таки...

Впрочем, Саватеевы не нуждаются. Юрий обрел известность в начале девяностых, когда накрылась вся эта советская литература с ее иерархией, потребовались свежие имена, и одним из них стал тридца-

тилетний в то время Юрий Саватеев, автор нескандальной, но крепкой, настоящей прозы. Были опубликованы в журналах его повести и рассказы, вышли один за другим три сборника, и с тех пор раз в год-полтора издаются новые, переиздаются прежние, случаются премии, то солидные в денежном наполнении, то скромные, но всё равно влияющие на продаваемость книг Юрия, повышающие его статус.

Основные же деньги приносят колонки, которые он пишет, семинары, рецензии на опыты учащихся Школы литературного мастерства... Каждая колонка, рецензия, семинар оплачиваются скромно, но, как говорится, курочка по зернышку.

Квартира у Саватеевых хоть и трехкомнатная, но комнаты маленькие, от центра далековато. Их, в общем-то, устраивает. От лишних вещей избавились, часть мебели отдали детям, часть просто вынесли к контейнерам. Сделали ремонт, заказали натяжные потолки. Просторно, воздуха много. В центр часто ездить причины нет — тем более теперь рукописи и отправляются по Интернету, и доводятся дистанционно. А рядом с домом Свибловский парк, Яуза — можно отдохнуть от города с его вечным гулом, суетой, запахом сгоревшего бензина...

Гуляют, надо признаться, нечасто. Юрий просиживает за столом часов по шестнадцать. Конечно, с перерывами на еду, на телевизор, который смотрит коротко и как-то слепо, размышляя в это время о том, что пишет, что нужно написать.

Ирина не тормозит его и не мешает, и в этом ее роль, если хотите, миссия. Да, такое высокопарное слово вполне уместно. Не мешать, создавая спокойную атмосферу, избавлять от мелких проблем.

Она, ясное дело, знает оскорбительное словцо «жопис», которым припечатывают таких вот женщин — жен писателей, которые сами ничего вроде бы не добились, живут при известном, а то и знаменитом муже.

Наслушалась Ирина этого шипящего «жопис» в спину от молодых прозаиков, поэтесок, околелитературных особ, которых всегда достаточно на церемониях вручения премий, фуршетах. И всегда, услышав, она мысленно отвечает фразой из фильма «Москва слезам не верит»: «А ты с ним по гарнизонам помотайся». Это когда героиня Ирины Муравьевой завидует жене молодожавого генерала.

У них не было особых «гарнизонов», хотя первые годы оказались непростыми. Юрия почти не печатали, квартиру снимали; он работал то в газетах, но быстро понимал, что журналистика мешает ему как прозаику и уходил в грузчики, дворники, а то и вовсе в никуда, потом возвращался в газеты и снова уходил. Сидел на кухне — квартира была однокомнатная, — и писал, писал... В такие периоды существовали в основном на зарплату Ирины.

Она никогда не попрекала мужа, даже если с деньгами становилось очень туго, ни минуты не сомневалась, что он — талантливый, настоящий, и вот-вот это поймут редакторы, издатели. И они поняли.

Она оберегала Юрия, морально помогала ему и в этом смысле была классической женой писателя. А эти, которые шипят ей вслед, что они могут? Что им надо? Им страстей подавай, веселья и слез, сцен, карнавала... Ирина знает, к чему это приводит, чем кончается. Сколько одаренных ребят погибло из-за этих страстей...

Юрий уцелел. Не спился, не запутался в девках, не залез в петлю. Иногда, конечно, выпивал, встречался с приятелями в ЦДЛ или в рюмочной на Большой Никитской. Но именно — иногда. В основном же

сидел в кабинете и работал. А потом получал вознаграждения: приглашения на церемонии объявления лауреатов премий, поездки во Францию, Китай, Финляндию, а однажды даже на Кубу... И везде он берет с собой ее, Ирину, жену и соратницу. Друга и помощницу. Он делит с ней свои лавры...

Ирина накрывает на стол и начинает поджидать его выхода. Как всегда, волнуется в эти минуты. Как поработал, как чувствует себя... Вообще-то Юрий болеет редко, ничего – ни желудок, ни суставы, ни давление – не беспокоит. Но вот уже почти десять, а он с шести утра на одной чашке кофе. И выкурил за это время – считай, натошак – сигарет десять.

Одно время она просила его, даже настаивала перед первой сигаретой выпивать стакан кефира или съесть булочку, но Юрий говорил, что после этого очень трудно писать. И Ирина бросила. Он прав, наверное, тем более что биографии многих великих писателей показывают – они тоже работали с пустым желудком, а завтракали очень поздно...

Открылась дверь кабинета, и вышел Юрий. Сказал как бы с недоумением:

– О, привет, Риш?

И Ирина поняла, что утро у него получилось. Когда не получалось, он был словно побит, обнимал ее и здоровался жалобно, как маленький, слабый...

Сели есть. Ирина приготовила кашу «Пять злаков» на молоке, порезала ветчинную колбасу, сварила по яйцу в мешочек.

Юрий ел жадно, но, скорее, не из-за голода, а просто не контролировал себя, оставаясь мыслями в работе.

– Как пишется? – спросила Ирина, чтоб вернуть его сюда на несколько минут. Сюда, к ней.

– Пишется? – Юрий оторвался от тарелки, поднял отяжелевшие глаза. – Пишется... Вопрос теперь надо ставить иначе: зачем писать? Что толку? Чья совесть от моей писанины делается чище? Чья совесть от этого заболит? – Он замолчал и после паузы заговорил быстрее, дрожащей скороговоркой: – У меня, как я узнал сегодня, нет совести, у меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь – рана. Другая сволочь похвалит – еще рана... Им ведь все равно, что я пишу! Они всё сжирают! Душу вложишь, сердце свое вложишь – сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души – жрут мерзость... Им все равно, что жрать. Они все поголовно грамотные, у всех у них сенсорное голодание... И они все жужжат, жужжат вокруг меня – журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные... И все они требуют: давай, давай! И я даю, а меня уже тошнит, я уже давным-давно перестал быть писателем... Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать, если для меня писание – это мука, постыдное занятие... У меня физиологическое отправление. А я продолжаю, продолжаю каждое утро... Я верил, что кто-то становится лучше и честнее от моих книг. Чище, добрее... Никому я не нужен... Я сдохну, и через два дня меня забудут и станут жрать кого-нибудь другого... Я хотел переделать их по своему образу и подобию. А они переделали меня по своему. Это раньше было будущее, маячило где-то за горизонтами, а теперь нет никакого будущего. Оно слилось с настоящим. А разве они готовы к этому? Я пытался подготовить их, но они не желают готовиться, им все равно, они только жрут. И теперь я хочу одного – покоя. Понимаешь? Покоя! Больше не хочу ту дрянь, которая у меня накопилась, никому на голову выливать.

Юрий замолчал и снова навис над тарелкой. Жадно, но и с отвращением бросил в рот ложку каши.

– Что ты такое говоришь? – сказала Ирина и услышала, что голос ее хриплый, как будто ее чуть не задушили и сломали что-то в горле. – Зачем?

Тело было каменным, она не могла шевелиться. Не понимала еще, но уже знала, что произошло страшное. Рухнуло и придавило ее, и ей не выбраться.

Юрий повозил ложкой в тарелке и посмотрел на нее. Но теперь взгляд теплый и озорной.

– Хорошо сыграл? Мне говорили, что у меня есть актерский дар... Это монолог Писателя из «Сталкера». Помнишь – фильм Тарковского... Верней, не из фильма, а из сценария... Стругацкие, конечно, оригинальные были ребята, а Тарковский испортил, считаю, почти всё отсек, весь смысл... Сейчас вот прочитал сценарий и, видишь, с ходу запомнил.

Юрий пригляделся к Ирине и затревожился:

– Ну ты чего? Поверила, что это я сам?... Ри-иш?... Да это шутка... Так мощно посидел с утра, пять страниц выдал, ну и решил почитать. Наткнулся на сценарий Стругацких в Интернете, и как-то так зацепило... А мы, писателя, любим, когда собраты плачутся. И мне вот захотелось... Риш, ты чего?..

– Да, – с усилием отозвалась она, – правдоподобно получилось. – И попыталась улыбнуться. – Чай черный будешь, зеленый?

– Зеленый, лапулюшка моя доверчивая... Кстати, Тарковский от Стругацких требовал ускучить сценарий. Хм... Что-то есть в этом – ускучить... Все стремятся к экшену, действию, к динамике, а он – ускучить... Само слово-то какое...

Продолжение дня было обыкновенным, и следующий ничем особенно не отличался от предыдущих, и еще десяток... Будни.

А потом Юрий протянул ей стопочку еще теплых, пахнущих принтером листов.

– Закончил повесть.

Ирина всегда становилась первой читательницей его вещей. Не боялась делать замечания. Иногда Юрий пытался спорить, объяснить, но чаще соглашался. Не так: «Да, ты права», – а молча. Просто, читая повесть, или роман, или рассказ напечатанными, Ирина видела, что тот и тот, и вот тот эпизоды переделаны так, как предлагала она.

– Поздравляю, любимый.

Пообедали, минут пятнадцать посмотрели телевизор, и Юрий поднялся.

– Что ж, пойду вымучивать колонку. Предложили про грамотность написать... Оказывается, есть День грамотности... Колонку назову – «Относительное понятие»... – И, выходя из комнаты, бросил взгляд на повесть; Ирина ответила ему своим взглядом: сейчас начну читать.

Устроилась в кресле, большом – можно сидеть, поджав под себя ноги, а так как-то уютнее; зажгла торшер. Взяла со стеклянного столика листы.

«Давно, еще до рождения Ильи Погудина, Кобальтогорск был цветущим оазисом цивилизации посреди Саянских гор и тайги... В пятидесятые годы, когда начинались великие стройки, неподалеку от того места, где позже вырос поселок, нашли залежи кобальта, никеля, меди

и решили ставить комбинат. Для полутора тысяч рабочих рубили в котловине меж двух хребтов дома, затем стали возводить кирпичные и бетонные двухэтажки».

Юрий был родом из Сибири, и сквозной темой его творчества стала жизнь ее населения. Раньше он часто ездил на малую родину, возил Ирину и детей, а последние годы находил темы, сюжетные завязки в Интернете.

«Илья прибыл домой двадцать пятого июня. Родители отложили разговор на вечер. Или на завтра. Отпустили погулять с Валея.

Гулянье получалось невеселым.

После объятий и поцелуев, до сих пор неумелых – тычки губами в губы и щеки, – побрели по тротуару с присыпанными щебенкой ямками. Ямок было много, щебенка хрупала под ногами».

О чем повесть, Ирина в общих чертах знала – Юрий делился с ней задумками: студент Илья Погудин, уроженец поселка, одичавшего после закрытия комбината. Илья не помнит хороших времен, он родился тогда, когда одичание шло полным ходом. Родители не смогли вовремя уехать, пытаются выжить здесь, да еще и заработать сыну на учебу. Ему на вступительных экзаменах не хватило нескольких баллов для бюджетного места, предложили поступить на платное, обещая, что если сдаст сессию на отлично, переведут на бюджет. Но вечно по какому-нибудь предмету выходит четверка, и Илья остается на коммерческой форме. Он уже на третьем курсе, порывается бросить универ, но родители против: зря, что ли, столько потратили сил... И вот сын приезжает на каникулы, которые будут посвящены сбору грибов и ягод, шишек, чтобы попытаться продать их и собрать ему на предстоящий семестр...

Ирина давно не могла непредвзято оценить, сильно или не очень написано то или иное произведение Юрия. Когда читаешь на протяжении больше тридцати лет каждый текст одного автора – в данном случае собственного мужа, – привыкаешь к стилю, манере, мировоззрению. В любой повести, любом рассказе, романе Юрия имелись смысл, идея, и они были близки ей. Юрий писал для того, чтобы сделать людей лучше, обратить их внимание на – пусть это прозвучит банально – униженных и оскорбленных. А таковых и сегодня немало...

Ирина привычно увлеклась, вжилась в сюжет, увидела героев, и тут, неожиданно и резко, как в момент, когда вроде бы уже совсем уснул, вспоминается что-то несделанное, или что-то плохое, и это сдирает теплое покрывало сна, она вспомнила слова мужа: «Я ненавижу писать... постыдное занятие... У меня физиологическое отправление. А я продолжаю, продолжаю каждое утро... Больше не хочу выливать дрянь, которая у меня накопилась...»

И глаза перестали видеть строчки, и сколько она ни пыталась вернуться к чтению, не получалось.

Тогда, за завтраком, она не обиделась на Юрия, не разозлилась, даже не ощутила сострадания – слишком сильно была потрясена. Придавлена. Потом, как ей показалось, отошла, а сейчас поняла – нет.

Она не бросалась, даже мысленно, такими словами как «гений», «лучший», но чувство, соответствующее им, сопровождало всей ее жизни с Юрием. И вот каких-то двадцати фраз, не его даже, не им созданных, а из чужого текста, но сказанных, как свои, хватило, чтоб «гений», «лучший», исчезли. Остались сухие белесые разводы, как от испарившейся морской воды.

«Вышли, – Ирина заставляла себя читать дальше, вгоняла каждое слово в голову, как гвозди в доску, – вышли на центральную... на центральную площадь поселка – Октябрьскую, – непомерно... непомерно большую, пред... предназначавшуюся... когда-то для многотысячных демонстраций и парадов... и парадов. Теперь же, в полупустом Кобальтогорске, она... в полупустом Кобальтогорске... она смотрелась, как пустыня. Бетонные плиты крошились, из швов и трещин лезли трава, кусты, ростки черемухи... ростки черемухи, березок. Их вырывали – жители пытались сохранить поселок в порядке, – но безуспешно... сохранить... безуспешно... рано или поздно площадь превратится в пустырь, а потом... превратится в пустырь... и в лесок».

Закончив абзац, на который ушло минуты две, Ирина с облегчением отвела от бумаги ноющие глаза. Посмотрела на темный экран выключенного телевизора, на тахту, на которой они спали с мужем. «Спали с мужем», – повторила про себя, как о другой женщине и другом мужчине. Поежилась от прокатившихся по спине ледяных мурашек... За мурашками заколотилось в груди. Сердце...

– Что ж это.

Во рту стало горько-горько. И Ирина вспомнила, что так же горько становилось в детстве, когда ее обижали.

Медленно поднялась, достала из коробки упаковку корвалола, проглотила две таблетки.

Вернулась в кресло, уселась, поправила торшер, чтобы свет падал на бумагу насыщенней, стиснула стопочку двумя руками и уперлась в строчки. Сколько раз она читала всякое по обязанности, неужели сейчас не сможет дочитать повесть мужа... Но вместо слов на бумаге появилось лицо Юрия, тяжелый взгляд, и зазвучал его глуховатый голос: «Я даю, а меня тошнит, я уже давным-давно перестал быть писателем... Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать».

Положила бумагу на столик, закрыла глаза и отвалилась на спинку.

Открылась дверь кабинета. Мягкие шаги. Вошел Юрий.

– Ну как? – спросил и боязливо, и в предвкушении похвалы.

– Извини... Я еще не дочитала.

– Да? Там полтора листа всего...

– Что-то нехорошо мне, – сказала Ирина с усилием. С усилием потому, что слово «нехорошо» было неточным.

– М? А что болит?

– Так... Недомогание какое-то.

– Может, лекарства?

Ирина кивнула:

– Уже приняла.

Юрий постоял рядом, погладил ее руку и тихо ушел.

Следующий день начался как обычно. Юрий встал около шести, умывшись и сделав кофе, засел в кабинете. Ирина подремала, посмотрела новости в айфоне, прочитала несколько анонимных исповедей в паблике «Подслушано»; одна исповедь поразила – жена вытаскивала у мужа из пупка катышки, это сделалось для нее такой традицией, а потом катышки перестали появляться, жена спросила мужа, вытаскивает ли он эти катышки, муж сказал «нет», и таким образом жена поняла, что у него появилась любовница... В половине восьмого поднялась, приняла душ, приготовила завтрак.

За завтраком Юрий спросил о ее здоровье.

– Вроде получше, – сказала она. – Сейчас буду дочитывать.

Он кивнул.

Поели, поцеловали друг друга в щеку, и Юрий вернулся к себе; Ирина села в кресло, стала читать.

Несколько строк влились легко, а потом опять ступор, невидимый, но непреодолимый тупик, и – лицо мужа. То, когда говорил о писательстве. И дальше читать уже не получилось. Перебралась на тахту, с тахты – за свой письменный стол... Нет. Нет, нет...

Легла. Смотрела в потолок, пытаюсь сообразить, что с ней, разбить это состояние.

Ближе к обеду заглянул Юрий.

– Ну как?

– Плохо... Голова болит.

Но голова у Ирины не болела. Наоборот, была какой-то деревянной.

– Лекарства пила?

– Да.

Не пила. Знала уже, что не помогут.

– Ну ладно, – сказал Юрий. – Полежи.

После обеда – новая попытка читать. И всё повторилось. Ирина заплакала от досады на себя. И вдруг почувствовала к повести отвращение. К этой непрочитанной, но существующей.

Испугалась, принялась убеждать себя, что это не так, что это минутное. А чувство отвращения разрасталось, и вот уже все написанное Юрием стало для нее ложью, гадостью, обманом, в который она верила тридцать лет.

Ужин сил готовить не было. Слышала, как Юрий вышел из кабинета, постоял в дверном проеме в спальню, определяя, дышит ли Ирина, и она задышала громче – жива, спит. Он прошел на кухню, что-то поел... Походил по кухне, по комнате, которая раньше была детской, а теперь считалась кабинетом Ирины.

И вот вошел сюда, в темную, тихую спальню. Постоял. Ирину стал заливать страх.

– Ты спишь? – спросил шепотом.

– Уже нет.

– Как себя чувствуешь?

– Так... Юра, – решила признаться, – я не могу читать твою повесть.

Он как-то судорожно вздохнул, а потом хрипнул:

– Почему?

– Только начинаю, и вспоминаю твои слова... Те, про писателя... Стругацких... И мне кажется, что это ты о себе. И – не могу читать. Уверенность, что смысла никакого нет.

– Хм! В каком смысле – нет смысла?

Ирина понимала, что нужно сесте – лежа говорить неудобно и невежливо. Тем более говорить о серьезном. Но не могла. Наоборот, прикрыла лицо рукой, будто защищаясь.

– Ты так убедительно это сказал, что я поверила. Не умом... умом-то я понимаю, что это ты сыграл, а... У тебя в одном рассказе есть слово сибирское – «кишошно». Нутром вот так, до кишок каких-то поверила.

– Ну ведь это шутка! – снисходительно отозвался Юрий. – Розыгрыш обыкновенный.

– Я понимаю.

– Ну и что тогда?

– Я уже объяснила – что. Точнее объяснить не могу... Извини меня, пожалуйста. Уверена, это пройдет, но сейчас – не могу.

– М-да, – вздохнул Юрий. – Не знаешь, где на что наткнешься.

Два дня он не напоминал о повести. Но наверняка замечал, что она лежит на стеклянном столике все на той же странице. На третий, после завтрака, очень осторожно спросил:

– Как, не получается читать?

И Ирина твердо – было время понять, что нужно быть честной – кивнула.

– Ох-х-хох, – Юрий поморщился так, словно удерживал слезы, – что ж, заставлять не могу. Странно, конечно. Из-за шутки – и так.

– Мне тоже странно. И страшно. Но, Юр...

– Ладно, не надо. – Голос его стал сухим, металлическим. – Спасибо, всё было вкусно. Пойду у себя посижу.

– Только не нервничай. И не кури много, пожалуйста.

– Боишься, что потолки пожелтеют?

Это походило на начало ссоры...

Ирина помыла посуду, пошла в спальню. Рукопись лежала на столике.

Хотела взять ее и заставить себя читать. Пересилить это идиотское состояние. Протянула руки, и в горле булькнула тошнота. И снова стало горько во рту... Легла.

Через час открылась дверь кабинета, и Ирина почувствовала, что Юрий заглядывает сюда. Замер. Увидел, наверное, что к повести не притрагивались, и вбежал.

– Так нельзя, Ира! – закричал визгливо, дико. – Нельзя так мучить человека! За что?! Что неудачно пошутил? Прости. Прости меня! Но не смей меня мучить! Нужно уважать мой труд...

Ирина дрожала. Не от страха, а от отвращения. И с ужасом понимала – к Юрию. Теперь уже к Юрию.

Он пометался по спальне, упал в кресло и схватил рукопись. Стал ею трясти.

– Я!.. Может, это главное, что я сделал... Ради этого писал остальное. Готовился, руку набивал... Может, поэтому и ляпнул тогда из «Сталкера». Иначе взорвался бы... Нужно было выпустить пар... А ты... Ира, ты меня убиваешь сейчас... У-би-ва-ешь! Ты не можешь вот так... За пять дней не соизволить прочесть двадцать страниц... Не поверю... – И его крик разом превратился в рыдание: – Пожалуйста, Риша... Прочитай... Мне необходимо, чтоб ты... Скажи мне, что я написал... Это говно или нет... Пожалуйста... – Съехал на пол и пошел на коленях к тахте. – Я пошутил... это шутка была... Ирочка, пожалуйста. Я пошутил, пошутил. Я писатель, я пошутил тогда. Мне необходимо, чтоб ты сказала... Прочитай и скажи... Писатель или нет уже... Риша, пожалуйста! Ира!

Ирина смотрела на Юрия и видела пожилого, жалкого и совсем чужого ей человека.

Дмитрий ЛАГУТИН

Родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета, работает юрисконсультом

В 2017 году занял первое место в международном конкурсе «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза». Живет в Брянске.

ДЯДЯ СЕВЕР

Примерно раз в год к нам приезжал брат отца – дядя Игорь. Он работал где-то далеко на Севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него была густая черная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.

Мы, дети, им восторгались.

Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На Севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вел знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями, – мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их языке. Или в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окруженный стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.

Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная – три года. Мать дядю недолго любила, но внешне этого никак не показывала.

– Никак не повзрослеет, – говорила она.

Мы удивлялись ее словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, – не по возрасту, а по самому своему существу.

Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, затапливал резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.

– Дядь, дядь, расскажи про Север, – обступали мы его.

В моем положении племянника не было ровным счетом никаких привилегий – он был дядей нам всем – и никому. Он был ни на кого не похож, и даже его ребячество, – о котором теперь я вспоминаю с теплом, – было каким-то иным, особым. Он был слишком своим и слишком чужим.

Дядя ерошил волосы – на висках они уже начинали седеть, – пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:

– Про Север?

Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на перильцах. Не вместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.

Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «как-то раз».

– Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию...

Или:

– Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу...

Или же:

– Как-то раз сообщили нам, что с гор идет лавина...

Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночевка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих свое место.

Небо над нашими головами густело, занимались звезды. Дядя дымил трубкой и басил из-за своей бороды.

Север – чудный, далекий – казался нам удивительным, небывалым, фантастическим краем. Там жили приключения и загадки, туда отправлялись самые смелые, самые мужественные, самые ловкие, они создавали там свое, особое государство, живущее по своим, особым законам, о которых здесь знают только из книг. За дядиным басом слышался нам вой холодного ветра, дым от трубки, уползавший к крыше, казался вздохами затухающего костра, а ее огонек – угольком печи. Из серых дядиных глаз на нас смотрела снежная ширь – угрюмая и загадочная.

– Ты для них не дядя Игорь, – шутил отец, – а дядя Север.

Дядя улыбался; Север жил в нем, и временами казалось, что с нами он был лишь телом – душа же его скиталась где-то там, далеко, среди сосен и сугробов.

Примерно спустя неделю пребывания у нас, дядя начинал тосковать. Он рано вставал, уходил к реке, рыбачил или купался, днем был молчалив и сумрачен, к вечеру расходился – принимался шутить, смеяться, возвращался к своим историям. Перед сном запирался в комнате, читал.

Во взгляде его накапливалась какая-то тоска – подойдет к окну, постоит. Вздохнет – и отходит.

– Хватит страдать, – говорил тогда отец и усаживал брата за стол, – смотреть тошно.

Дядя улыбался смущенно, принимал веселый вид – но через какое-то время глаза его снова подергивались мутной пеленой, он слушал вполуха, смотрел как-то рассеянно, на вопросы отвечал невпопад.

Тяготило его отсутствие занятия; он то брался латать байдарку, то подряжался готовить ужин, то напрашивался в компаньоны для поезда по городу.

– Эх, – говорил он, – жаль, что вы дровами не топите. Я бы сутками дрова колот.

Отец смеялся.

В один из приездов дядя на радость детворе соорудил в ветвях старого клена настоящий дом – добротный, крепкий, сколоченный из досок и укрытый шифером. Первое время мы из него не вылезали – сидели

там с утра до ночи и даже забывали про дядины истории. Он спускался с крыльца, шел к клену, становился внизу и, задрвав голову, басил:

– Кто-кто в теремочке живет?

Мы, сдерживая смех, молчали.

– Ну, значит, я, – говорил дядя, закатывал рукава, ловко подтягивался – и в мгновение ока оказывался у входа. Мы заливались хохотом.

Дядя изображал удивление:

– А вы тут откуда?

И влезал к нам, если хватало места.

В домике было два окошка – одно смотрело на запад, другое на восток. Дядя показывал на западное:

– Ишь как полыхает.

И мы замороженно смотрели на закат.

– А ну-ка, – спросит, – какие ассоциации у вас вызывает такой вот цвет? – и пальцем укажет на огненную полосу.

Мы молчим. Кто-нибудь пролепечет:

– Т-теплые.

– Прекрасно, – подбодрит дядя. – А я вот сразу кузницу вспомнил. Как наш кузнец Илья молотом по наковальне бах! бах! Искры кругом, жарница, а ему хоть бы что. И под молотом вот такая же лента.

Следует рассказ про кузнеца Илью, который гвозди в узлы вяжет и подковы гнет, не морщась.

– А лет ему уже под шестой десяток, – подводит дядя итог. – Так-то.

И мы смотрели на облако, представляя себе кузнеца, – огромного, широкоплечего, какими рисуют богатырей в книгах.

Север – край богатырей.

Теснились в домике, жались друг к другу. Дядя задумчиво скреб бороду, спрашивал нас о чем-нибудь – не любил тишины. Из окошка лилось все меньше света, клен обступали сумерки.

Выходил на крыльцо отец, махал рукой. Мы спускались. Дядя смотрел на брата как-то искоса – ему было неловко за то, что он вот так, как ребенок, скачет по деревьям вместе с нами. Он доставал трубку, втыкал ее в бороду и, бормоча что-то, первым заходил в дом.

Когда дядя уехал, в кленовый дом повадились лазать местные старшекласники. Они курили, пили какую-то грошовую дрянь, заплевали весь пол и исписали ровные, досочка к досочке слеplенные стены паскудными словами.

Отец устал гонять их, не выдержал и порубил домик в щепки.

Когда дядя в очередной раз приехал и увидел опустевший клен, будто с извинениями разводящий в стороны коряжистые руки, по его лицу пробежала тень.

– Никаких шалашей, – оборвал сходу отец, – или оставайся здесь шпану разгонять.

Позже я стал задаваться вопросом – для чего он вообще так упорно к нам приезжал? Год за годом дядя становился все более чужим, начинал тосковать уже не через неделю, не на следующий день – но сразу же, как только ступал на перрон, на котором его встречал отец. Куда там, я думаю, грусть заволакивала его сердце еще до отъезда *оттуда*, в тот момент, когда в его красивой голове появлялась мысль о доме.

И все же он приезжал. Настоячиво, через силу он тянул себя к нам – отцу, мне, матери, нашему клену и уличной ребятне. Зачем?

Я задал ему этот вопрос – по прошествии лет. Он превратился в коренастого седого старика, зубы его пожелтели, лицо покрылось морщи-

нами, но он был по-прежнему красив и силен – и выглядел точь-в-точь кузнецом Ильей, каким я видел его в мечтах о Севере.

А мечтали мы все – каждый мальчишка. Грезил суровыми зимами, бездонным небом, нестихающим шумом тайги. Я замучил отца мольбами о переезде – он только отмахивался и посмеивался, но однажды сказал серьезно и как будто с горечью:

– Куда нам.

Я его тогда не понял.

Получив очередной отказ, я отправлялся в дядину комнату – маленькую, светлую, с окошком в сад – и садился за стол. На столе, прижатые стеклом, пестрели фотографии, письма.

Улыбалась из-за плеча девушка с черными как уголь локонами. Махали руками строгие бородачи в ушанках – за плечами огромные рюкзаки. Смотрел внимательно седовласый священник.

Письма я до сих пор помню наизусть. Вот одно из них.

«Игорь, здравствуй.

К нам приехал какой-то художник из Москвы, можешь ты себе такое представить? Теперь шатается повсюду за нами и пишет пейзажи. И хорошо ведь пишет, собака! С каждого уже набросал по портрету, весь вагон засыпал бумагой, краской воняет – хоть плачь. И каждый день пьет. Но мужик – во такой, вы бы сдружились.

Олег вернулся со стоянки. Приволок с собой тощую лису и местного мальчонку – этот чудом не обмерз. Теперь вот будем думать, что с ним делать. А лиса обогрелась, отъелась да и осталась при нас – не прогонишь. Похожа на Катю. Назвали Стамеской. Ума не приложу, кому могла прийти в голову такая дурацкая кличка.

Прилетела весточка от Максима. Он обжился – и уже балакает по-ихнему с горем пополам.

Если тебе интересна судьба твоей книги, то она ходит по рукам от станции к станции – не понимаю, что в ней такого, но читаем запоем – про работу забываем. Так что в этом плане тебе огромное человеческое спасибо.

Ото всех тебе приветы, а я пошел, пожалуй, на боковую.

Своих поздравь и уговори все-таки назвать Антоном.

Антон».

И дата – месяц с небольшим от моего рождения. Отец на Антона не согласился. Письмо – пожелтевшее, на листе в клетку. Обложено со всех сторон записками – адреса, телефоны.

Ближе к окну, на столешнице выцарапана крохотная роза ветров. Я, сколько себя помню, был ею загипнотизирован – сидел и смотрел, такая она расчудесная – ровненькая, аккуратная, лучики будто друг за другом бегут. Свет-тень, свет-тень.

Я садился за стол и представлял себя дядей. Выкладывал перед собой тетрадь, смотрел задумчиво в окно, грыз карандаш, чесал подбородок и выводил на бумаге планы далеких экспедиций. Или писал письма воображаемым товарищам. В одном из них была такая фраза:

«И скажи всем, чтобы не трогали мое ружье».

Я очень боялся, что кто-нибудь в мое отсутствие будет стрелять из моего ружья.

Из окна было видно яблоню и угол сарая. В яблоне чернело дупло, в котором по весне пищали птенцы. Дядя говорил, что птенцы вырастают, читают через стекло координаты на записках, летят к нему на Север и живут там в сторожке – сторожат.

На правах родственника я водил в дядину комнату паломничества – мальчишки робели, топтались у стола, книжного шкафа, присаживались на край диванчика. Пахло пылью и чернилами. Шептались, листали бережно книги, в ящики не лезли никогда – берегли чужие тайны.

Вечерами, бывало, зайдет отец. Зажжет абажур, устроится поудобнее – и читает. Но читает не дядино – что-то свое.

А я грезил Севером. Мне снились необозримые пестрые дали, северное сияние, усталые великаны-горы. Красивые сильные люди обжигали губы кипятком и улыбались снегопаду, кузнец Илья громыхал молотом и шурился от летящих искр, отважные охотники по пояс в сугробах пробирались через чащу, а в самом центре Севера – на белоснежном плато, окаймленном вековыми соснами, под шатром из зеленых сполохов, под пристальными взглядами тысяч звезд стоял дядин фургончик. В крохотном окошке не гас свет, вверх тянулась ниточка дыма. По плато завывала вьюга, скребла стены вагончика, заглядывала внутрь. За соснами, во тьме, плавали огоньки волчьих глаз, скрипело, ухало и шумело. Вилась по вдали рваная полоска гор, бледная луна нехотя ползла от края до края, равнодушно глядя на вагончик.

А в вагончике – спокойный и уверенный – сидел дядя и читал. Или чертил планы. Вся его деятельность, думалось мне, заключалась уже в том, чтобы просто *быть там* – населять этот невозможный загадочный край своей красивой душой, своими благородными мыслями. Все снега Севера были насыпаны для того, чтобы дядя исчертил их своими следами, все небесные иллюминации были приведены в движение лишь для того, чтобы дядя увидел их – и пересказал нам.

И закат – то самое солнце, которое обегало день за днем всю землю, подолгу задерживалось у горизонта и не желало уйти, не дослушав очередной истории, звучащей в домике на дереве. Зато когда дядя замолкал, солнце тут же юркало за дома, словно торопилось туда, к снегам – еще раз увидеть то, о чем только что слышало.

Однажды перебирали с матерью старые фотоальбомы, нашли измятую, пожелтевшую карточку – отец и дядя, совсем еще дети. Отец на две головы выше брата, смотрит ровно, с вызовом, дядя – большоголовый, худенький, с огромными удивленными глазами жметя к отцовской руке и даже как будто прячется за него. Когда мать ушла в кухню, я забрал карточку себе. Отправился в дальнюю комнату и долго рассматривал два детских лица. Не зная наверняка, навряд ли можно было сказать, что на фото – братья; настолько они казались непохожими друг на друга. Я смотрел и искал в них свои черты – на кого похож я?

Зазвенели в прихожей ключи – отец вернулся с работы. Я юркнул к себе и спрятал фотографию в щель между комодом и стеной.

С тех пор я регулярно лез за комод, нащупывал кончиками пальцев угол карточки, бережно вытягивал ее, ладонью стирал осевшую пыль и рассматривал, вглядывался подолгу. Со временем я стал различать во взглядах детей то, что раньше ускользало от моего внимания. В глазах отца – где-то далеко за решительностью, за вызовом – я увидел настойчивость, напряженность. Еще глубже, едва заметно мерцало что-то похожее на неуверенность.

В глазах дяди за смущением, близким к испугу, за волнением я видел удивление, какую-то открытую озадаченность. Раз за разом вникая в потускневшее изображение, я как в воду погружался в дядин взгляд – слой за слоем. За удивлением шла доверчивость, за доверчивостью

мечтательность, за мечтательностью... Я не мог понять, что это было. На самом дне огромных глаз я чувствовал что-то, чему не мог подобрать определения, как ни пытался. Это было что-то безмерно далекое, удивительное – и в то же время смутно знакомое, словно виденное во сне. Будущий красавец-богатырь смотрел на меня из далекого прошлого так, словно знал, что я вижу его, обращался ко мне. Взгляд *говорил*, а я – в меру своего понимания – внимал.

Летом переклеивали обои. Отец двигал комод и обнаружил карточку – махровую от пыли, с истрепанным уголком.

– Гляди-ка! – присвистнул он и протянул находку матери.

Мать вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. Она достала из шкафа альбом, вложила в него фото и вернула на полку.

Но вечером моего сокровища в альбоме не оказалось. Я трижды изучил все страницы, залез под каждую фотографию, вытряхнул обложку, для верности перелистал остальные книжки и поскреб линейкой под шкафом, но карточка как в воду канула.

На мой вопрос отец посмотрел непонимающе – вероятно, он забыл о фотографии как только выпустил ее из рук, – а мать сказала, что не брала.

– Возьми другую, их там море, – добавила она.

Но другой такой не было, и я долго еще горевал о пропаже.

Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про Север, и мое внимание – как и внимание всех окрестных мальчишек – обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.

В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу – хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие за собой упряжку – со страниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещренная порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка – в ней угадывались две фигурки с веслами.

Когда – в очередной приезд дяди – мы показали ему реку, он махнул рукой и сказал:

– Это пустяк, а не река. Бывают и посерьезнее.

Потом поскрипел страницами, посмотрел на обложку.

– А что это у вас за трофей? – спросил он. – Где взяли?

Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.

– Хорошая книга, – протянул дядя, рассматривая иллюстрации. – Только, – ткнул он пальцем в текст, – сухая, ненастоящая.

Вздыхнул.

– Север, братцы, это вам не цифирки эти, не справочки... Это...

Он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.

– А вы на собаках катались? – спросил робко Винтик.

Дядя посмотрел на него обиженно.

– Без собак, брат, никуда.

Сделал паузу и добавил.

– А лодки, бывает, запрыгаем осетрами.

Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.

Рыжий Винтик после университета несколько лет провел на Севере – инженером на станции. Но не прижился, не смог. Куда ему.

Я годами хранил в себе чудесную мечту – когда-нибудь да переехать туда. В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и я оставил всякие рефлексии на эту тему.

Я все ждал, что дядя позовет меня к себе, – я вырослел, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчиво и обещал поговорить с отцом. И все, никакого результата. Завертелось с учебой, подвернулась недурная работа – и я отвернулся от Севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину, – не исчезая из виду, но и не притягивая к себе особенного внимания.

За последние несколько лет я виделся с дядей дважды: на похоронах отца и – не так давно – в его московской квартире. На похоронах дядя был молчалив и угрюм. На бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерян. Подошел к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из-за седой бороды. Отошел, ссутулившись.

Перед отъездом – теперь я провожал его на поезд – мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел ветер и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше – он стремительно старел. Он говорил, а я смотрел в его глаза – теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, *неопределимого*, что так влекло меня в той фотографии.

– Так-то, брат, – закончил он фразу, начало которой я не слышал.

В этот момент к нам подполз поезд.

Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону и после короткой заминки исчез.

Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице – здоровье не позволяло продолжать работу на Севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.

Я на тот момент давно уже обитал за границей – далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрянул к дяде в гости.

Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми как лунь, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, обнял, чуть не сломав мне спину, проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате тикали громко часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил, как много в нем стало стариковского, и загрустил.

– А я тут сiju, как сыч, – заявил он. – Тоска смертная.

Засвистел чайник, дядя вывалил в плошку горсть баранок.

Я вспомнил, что оставил телефон в пальто, извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери, заглянул внутрь. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.

Я не поверил своим глазам. Это было то самое, утерянное мое сокровище – два мальчика смотрят в объектив, один с вызовом, другой – испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое – наш дом, клен, отец, невероятные истории, Север.

Чудесный, далекий Север.

– Дядя, – сказал я, вернувшись в кухню, – откуда у вас та фотография – что на столе стоит. Где вы с отцом.

Старик провел широкой ладонью по бороде.

– Сережа подарил, – сказал он.

Я не сразу понял, о каком Сереже речь. Отца никто, кроме матери, так не звал, да и от нее такое обращение можно было услышать редко.

Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не сказал?

Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.

Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлеченно – словно соскучившись по общению.

А я смотрел в его глаза и не мог разобрать, где повседневное, а где – оно, таинственное? Все слилось, смешалось. Я в одно и то же время видел далекую, неуловимую загадку и простые переживания одинокого старика.

В конце концов дядя принялся говорить о Севере. И не было отца, чтобы вошел и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы – очень скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой, и я понял, что он не может – или не желает – высказать всего, что скопилось в душе; понял, что ему тесно здесь, что он тоскует – по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.

– Дядя, – перебил я его. – А переезжайте к нам. Сын уже учится – живет в общежитии, дом у нас просторный, двор есть.

Дядя замолчал. Глаза его заблуждали.

– Дров вам навезем, – пошутил я, – хоть сутки напролет колите.

Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улынулся.

– Спасибо, братец. Подумаю.

И мы продолжили разговор.

За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задернул занавески, зажег лампу.

Я рассказал о том, как представлял себе Север, о волках, вьюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в какой-то момент задумался и притих.

Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил снова:

– Зачем вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что вам неуютно здесь. Зачем же было все это?

Дядя потер переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом. Пожал плечами.

И ничего не ответил.

Когда мы встали из-за стола, был глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил на диванчике в комнате с фотографией, сам ушел в соседнюю.

Я влез под колючий плед и сжался на коротком жестком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел черное небо и точки звезд. Растревоженные воспомина-

ния не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.

За стенкой раздался какой-то шум – как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.

Я не мог спать. Дернул шнурок торшера, сел за стол.

И долго, очень долго – мне казалось, целую вечность – сидел и смотрел на фото. О чем я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, все вспоминал, может быть, просто смотрел, может быть – пытался разгадать-таки дядин взгляд. И еще мне кажется, что я искал *это* в глазах отца. Нашел ли?

Когда черная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет и рухнул на диванчик.

И заснул.

Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети, – все мы ютимся в тесном вагончике посреди ледяной пустыни. И только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаюсь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встает передо мной. А где-то далеко слышится звон – бо-ом, бо-ом. Это кузнец бьет по своей наковальне. Хоть бы дядя пошел на звук – и переждал бурю в кузнице.

Я открыл глаза, но еще долю секунды слышал угасающее эхо далекого звона. Было светло. На кухне присвистывал чайник.

Перед уходом я напомнил дяде о своем предложении. Он пожал мне руку и сказал, что предложение весьма заманчиво и что он хорошенько его обдумает.

Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память – или хотя бы на время – карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замаялся, посмотрел растерянно.

– Да-да, конечно, – пробормотал он и зашаркал в комнату.

Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок и, крепко держа обеими руками, вышел ко мне.

В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.

– Простите меня, – сипло произнес я. – Простите. Пусть... останется у вас.

Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд – тот самый, взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю еще раз и вышел.

Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окурок, спланировавший с одного из балконов.

Спустя три недели я нашел в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне – и сообщал, что возвращается на Север.

«Здоровье... А что с него толку, коли сижу в этой коробке – и тоска заедает. Не могу больше, не выдержу».

Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.

Кроме него в конверте ничего не было.

СПИЦА

Мы погружали в пакеты крохотные складные табуреточки, сваливали к ним краски и кисти, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Во главе косяка, не оборачиваясь и не меняя темп, плыла высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семенили следом.

Вокруг ронял листву старый парк, все было в золоте, под ногами мягко шуршало. Тянуло теплой душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, слева призраком проплыл забытый фонтан – изъеденный трещинами и мхом, – а мы все шли и шли, и конца не было видно этому царству Мидаса.

Впереди, за стволами, замаячила местная достопримечательность – медведь Константин. Это было допотопное – когда-то белое, а ныне серо-зеленое – изваяние в виде здорового медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула ветви молодая, еще тонкая осина, недавно только пересаженная вглубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, чтобы слиться в объятиях. У медведя была удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, все это придавало ему нелепый вид, и смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету. Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами так и было написано: «скульптор Константин В» – перенос – «в дар навеки любимой alma mater». Вернее так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же, по странной прихоти судьбы (или хитрых пэтэушников), все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стерты. Так медведь обрел имя.

– Смотри! – зашипел Вовка.

Он кинулся к скульптуре, выхватил из-за пазухи черный пластиковый пистолет и шарахнул пистоном Константину в ухо.

– Володя! – окликнула его Спица, не сбавляя шага, – Это неуважение к труду художника и проявление жестокости по отношению к животному.

– Я – Дубровский! – закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Далеко вверху птицы с криком сорвались с веток и зашумели в панике.

– Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, – сообщила мраморным тоном Спица и ускорила шаг. Деревья поредели, сквозь листву смотрело небо.

Вовка юркнул к нам.

– А кто такой Дубровский? – спросил я.

– Какой-то солдат, – ответил Вовка. – Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в ухо.

– А что ему этот медведь сделал? – вклинилась розовощекая Оля Петрова.

Вовка раздосадовано закатил глаза.

– Какая разница? – потряс он рукой. – Это же война!

– Молодые люди! – прогремел над нами голос Спицы. – Все ко мне!

Это означало, что парк закончился и сейчас мы будем перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.

Спица сняла очки, подышала на стекла, потеряла их голубым платочком, вернула на переносицу и отбросила со лба непослушную прядь.

– Молодые люди. Если хоть кто-нибудь из вас позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами, я закрою нашу студию, уволюсь и не напишу больше ни одной картины за всю жизнь, – она обвела нас холодным взглядом. – И в этом будете виноваты, – долгая пауза, – только вы.

Спица уже тогда – немногим за тридцать – была самым известным в нашем городке художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со всей области, и про нее даже время от времени писали в газете. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнись она, всю нашу младшую группу с позором изгнали бы из города.

– И нам пришлось бы скитаться по полям и лесам, жить в землянках и есть шишки, – расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему.

– А теперь все прижмитесь ко мне, как к родной матери, – она развела руки как птица, собирающая под свои крылья птенцов, – и шагом марш на ту сторону!

Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение – кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянулась спокойно, а метров через десять оголтело бросалась вверх на насыпь и пересекала пути.

Пыхтя и сопя – спокойствие сохраняла только Спица, – мы подошли к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец – это означало необходимость тишины – и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но воспринималась как Эльбрус.

Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались на насыпи.

На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо – широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под наших ног в обе стороны убегают нити рельс – далеко, насколько хватает глаз. Мы, дети, жмемся к Спице, а она стоит как колокольня, смотрит холодно вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу. Спица приосанилась, и я почувствовал на своем плече ее руку, тонкую и легкую руку художника – бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то неловко повернулся, и с насыпи покатались с радостным стуком камешки.

– Не зеваем, – скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону.

Мы кубарем слетели с насыпи и горохом рассыпались по тропинке.

А затем нам предстоял долгий путь через чередующиеся рощицы-полюшки в поисках подходящего вида. В рощицах было сыро, по полям гулял промозглый ветер. Небо как нарочно растеряло все свои переливы и стало равномерно серым, будто заштукатуренным; наличие за облаками солнца угадывалось по вытертому на штукатурке светлому пятну. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а затухающая, уже почти отцветшая. От рощиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыплющиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.

Спица летела вперед со свойственной ей целеустремленностью, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она шла так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось – погода играет против нас, и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдем обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, сейчас же над нами подшутила осень, оставшись в городе вместо того, чтобы идти следом.

– Галина Игоревна, – пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, – давайте сегодня парк порисуем.

– Оленька, – не оборачиваясь отвечала Спица, – если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.

– Проверь, но не доверяй, – шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.

Вовка внезапно юркнул в траву, и тут же оттуда в Олю полетело что-то серое.

– Крыса!!

Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты на землю. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередине тропинки. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал кидаться дохлыми крысами?

Но нет, обошлось. Приглядевшись, мы узнали в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой в сторону покатывающегося со смеху Вовки.

Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы ее дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам, закрыла глаза и шумно выдохнула.

– Володя, – медленно протянула она, не открывая глаз.

Вовка вернулся на дорожку.

– Володя, – повторила Спица.

Вовка насупил и надулся. До голени его брюки были мокрыми от травы.

– Простите, Галина Игоревна, – промямлил он.

– Не. У. Меня, – все так же, вслепую отчеканила Спица.

Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь, как герой древних былин.

– Оля Петрова, прости меня, пожалуйста, – протянул он и картинно сунул руки в карманы.

Оля вышла из-за Спицы и, презрительно задрав подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти – точно тоже испугались противной рукавицы и пытались сбежать.

– Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, – ровным тоном проговорила Спица, – но это чуть позже. Молодые люди, – она подняла вверх руку, – рассаживайтесь и доставайте краски.

Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаясь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывающие из травы, с другой – поодаль – взгляд наткнулся на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жмущиеся друг к другу. Насколько хватало глаз расстиралось серо-желтое поле, то тут, то там вздыхающее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с серым же небом, по которому нехотя тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели фигурки домиков.

– Молодые люди, – нарушила тишину Спица, – я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка приступать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистовую.

Мы в молчании, переглядываясь – а не сошла ли Спица с ума? – потыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти.

– Надо было в такую даль тащиться, – пробурчал Вовка, придвигая свой табурет к моему, – писали бы сразу заводскую стену. Не много бы потеряли.

– Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, – оборвала его Спица. – Переместись, пожалуйста, во-он туда, – она махнула рукой за наши спины. – Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.

Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался с минуту с пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.

– Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета. – без тени улыбки наставляла Спица. – Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, – интонация пошла вверх, – она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.

Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Грязная выцветшая варежка одиноко и как-то виновато пестрела под его ногами.

– Остальные пишут пейзаж под названием... – Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок, – «Осенняя дорога».

И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось все темнее и темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть конечный продукт, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не горели осенью клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь – серый унылый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя ша-тер или грот. Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица

поторопилась, что мы были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента найти было нельзя. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве – незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который никому постороннему не было входа. Спица знала все это, она вела нас по пути собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в нашем областном музее. Теперь я понимаю, что свои лучшие картины она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность – если и был среди нас человек, не готовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее – а точнее, она от него – чьей-то рукавицей.

А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой рассыпался бисером по всей плоскости ландшафта, серая даль была непонятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали была тишина и ожидание, в ней была будничность и грусть, в ней была неудовлетворенность и неустроенность, отсылающая к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, в этом, наверное, и заключалась ее суть – она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.

Все это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя – как я понял потом – училась тишине и чуткости.

Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.

Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг ухнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:

– Сворачиваемся, молодые люди!

Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали в пакеты весь наш инвентарь и – с сырыми еще пейзажами в руках – готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, все дул на свой натюрморт, даже мне отказывался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варежку» к краскам.

Спица была молчалива и задумчива. Заговорила она, только когда мы добрались до путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. Говорили мы мало, но молчание было выражением умиротворенности, а не уныния. На вершине гряды, когда нога моя запнулась о рельс, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.

Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорила шаг.

По возвращении стало известно, что пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. – он проездом оказался в родном городке и нанес визит «навсегда любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар, и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и все время путал имена своих наставников. После – ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загордив осину, и смотрел.

Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.

«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из многочисленных коридоров, но провисела недолго – часть помещений, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок – кружки и секции расселяли по соседним кабинетам – наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих размышлений отдал-таки Спице. Я видел «Осеннюю vareжку» лишь раз – через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках эскиза на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».

Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под строительство крытого теннисного корта. Бело-голубая коробка, в которую вместились бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макушки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала. На вопрос о месте переезда студент пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.

Сергей ШЕСТАК

Родился в 1962 году в селе Монетное Свердловской области. Окончил Балахнинский энергетический техникум. Автор книги прозы «В богатом краю». Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Истоки». Живёт в Нижнем Новгороде.

ПРИЗНАНИЕ

Было далеко за полночь. Дождик стучался в окно моего кабинета, барабанил о жесть подоконника. Яркие прожекторы освещали мокрые склады, гараж, высокое проволочное ограждение. Свет отражался длинными бликами на сыром асфальте, в растекшихся, пузырившихся лужах.

Через дверь кабинета прорывался шум цеха, в котором осужденные делали корзины из проволоки под бутылки для молока. Этот приглушённый шум напомнил мне о работе. Я поднялся из-за стола. Мне надо узнать, как выполняется план.

Сжатый воздух свистел, вырываясь из клапанов сварочных машин. Машины вздрагивали – вверх-вниз двигались электроды, летели искры; бухали обрубные станки.

В этом непрерывном грохоте, искрах, тяжёлом запахе гари осужденные, «жулики», как их здесь называли, в чёрных робах, защитных очках за сварочными машинами, станками напоминали грешников в аду.

Бригадиры были в раздевалке, сидели на лавке у вешалки с повседневной одеждой осужденных, – Мажуков и Фёдоров. Моё появление стало для них неожиданным. Они растерянно посмотрели на меня, а потом посмотрели на пол-литровую банку с чифиром на табуретке.

– Сколько у тебя на выходе? – спросил я Мажукова.

– Шестьдесят стоп.

– Это сколько, девятьсот корзин?

– Да.

– А у тебя?

– Столько же, – ответил Фёдоров.

Фёдоров сидел за то, что грабил церкви.

– И много вы ограбили церквей? – спросил я.

Он не ожидал такого вопроса и оценивающе посмотрел на меня. Три года назад его спрашивал об этом следователь. Его наказание зависело от количества ограбленных церквей.

– Не хочешь – не говори, – сказал я.

Если преступление не связано с изощрённой жестокостью, если не сдерживают другие соображения, то осужденные сами охотно рассказывают о своих былых похождениях.

– Помню, когда я впервые пошёл на дело, – начал Федоров, – переживал невозможно. Представьте себе августовскую ночь, моросит дождик – вот как сегодня. Впереди меня чёрный силуэт церкви. Сажу я между двух могил. Древнее кладбище. Ещё купцы какие-то похоронены. Элита. Торчат кресты. Жутко. И вот, верите, случился бы стрём какой, я между могил так и остался бы. Говорю, переживал невозможно! Подельник мой вырезал решётку автогеном. Залез. Я принимал у него. Всего так и колотит – никак успокоиться не могу. И вот подельник подаёт мне массивный серебряный кубок, говорит: «Борис, это же деньги! Деньги!» Я моментально расслабился, как рукой сняло. Мне даже весело стало. Чего, я думаю, боюсь? И до того мне весело стало, что захотелось запеть. Как опьянел всё равно. И верите, если бы нам помешал кто тогда, я убил бы его, наверное.

– Убил бы? – спросил я.

– Что говорить – дело прошлое.

– Бывает, что случайно, – сказал Мажуков. – Бывает, что случайно убить можно.

– А сбывали как?

– Если бы у нас хватило ума согласиться на двадцать пять тысяч, то сегодня я с вами не разговаривал бы. Но мы, как бараны, уперлись в тридцать. Казалось бы, пять кусков, какая разница? Вот сейчас думаю. Есть монастырь такой. Полтора часа, и монастырь ограблен. И то, что товар был припрятан, и то, что мы сами укатили за сто километров – всё это входило в эти самые полтора часа. Утром звоним процентнику...

– Процентнику?

– Человеку, который ищет покупателя. Звоним ему и говорим, что есть товар. Наша цена тридцать тысяч, три тысячи твои. Он, конечно, соглашается. Как сейчас помню, встретились с ним у станции метро «Библиотека имени Ленина». Подъехали на такси. Товар у нас был в сумках. Переложили к нему в машину. Отвёз нас к себе. Дома переложили товар в три чемодана, здоровенные, деревянные, обшарпанные все.

– Что хоть вы награбили?

– Серебро с позолотой, книги, доски. Сложили товар в чемоданы и разбежались. Процентик уехал договариваться, говорит, позвоните через три дня.

– А если бы он забрал товар и привет?

– Такого не бывает. Мы его прекрасно знаем: кто он, что он, где работает, живёт. Чуть что – убили бы или дураком сделали. Звоним через три дня. Он назначает встречу на Калининском проспекте у кафе «Валдай». Встретились. Говорит, такое дело, со мной пойдёт только один. А нам какая разница? Заслали Гошу, он в этом деле спец. Потом рассказывал, что в комнате, куда завёл его процентник, собрался целый консилиум – человек восемь. Все с лупами. Наши доски, книги дотошно рассматривают. И дают цену – за всё двадцать пять. Гоша к нам, такие дела. Мы ни в какую – тридцать, и всё! Они знали, что товар ворованный. Короче, упёрлись, что они, что мы. Как бараны! А тут ещё Гоша психанул. Не хотите, как хотите! Загружаем товар в здоровенные чемоданы и отчаливаем. Калининский проспект, людно,

а мы с этими «гробами». Сами одеты культурно. И хоть бы один мент обратил внимание. Мало того, потом целый час ждали электричку на Казанском вокзале.

– Ну а попались как?

– Как всегда, по глупости. Мы опять звоним процентнику. Куда деваться? Он нам: «Ребята, подождите». Оказывается, специально по нашему делу должен прилететь мужик из Красноярска. Запахло отличной деньгой! Да только Гоша всё испортил. Захотелось ему гульнуть. Поехал в Москву, где и встретил одного знакомого барыгу. Слово за слово. Тот своё предложил, Гоша своё: «Тебе, случайно, не надо серебра?» – «Какой базар, я этим как раз занимаюсь». Гоша предложил серебряный крест с позолотой и камешками. Через день Гоша опять в Москву. Как вышел из электрички, его стали фотографировать. Он, конечно, ничего не замечает. Встретился с барыгой в сквере. Тот осмотрел товар, говорит: «Подожди меня здесь, деньги в машине». Гоша ждёт. Куда денешься? И дождался на свою голову: подъехала «Волга», и через минуту Гоша сидел в ней со скрученными назад руками.

– Выходит, его барыга сдал?

– Попался он, видно, раньше на каком-то деле. И чтобы смягчить вину, решил оказать услугу милиции.

– А Гоша тебя?

– Он сначала думал, что это провокация. Свой же брат – жулик может такую шутку выкинуть. «Арестуют», а потом устроят «побег». И товар при них, и тебе хорошо: убежал от «милиции». Но выкуси – вывели его из машины, повёл он глазами: «Петровка, 38». Дай-ка, – он обратился к Мажукову, который отпил из банки чифира.

Мажуков подал ему банку.

– Одно я жалею, срок – девять лет. Годика три – ещё можно. Но девять! Всю жизнь исковеркали, сволочи... – Фёдоров отпил чифира маленьким глотком. – А пострадал в этой истории больше всех шофёр.

– Какой шофёр?

– Ну, тот, что привёз нас к монастырю. Мы заплатили ему двести рублей из расчёта сто рублей за час работы. Он и знать-то раньше нас не знал. Шофёр директора Госбанка. На суде я говорил, что он не виноват, что он не знал о наших намерениях. Только один чёрт ему дали шесть лет. Спрашивают меня: «Мог ли подсудимый Волков слышать, о чём вы переговаривались на заднем сидении?» – «Нет, – отвечаю, – мотор дребезжал. Не расслышал бы».

– Дребезжал мотор у «Волги» директора Госбанка? – усомнился Мажуков.

– Ну, и теперь этого балбеса спрашивают: «А вы догадывались, что они сделали?» – «Да, – отвечает, – смутно».

– Действительно балбес, – согласился Мажуков.

– Вот ему и дали шесть лет за то, что он догадывался, но не сообщил милиции!

Послышались торопливые шаги по лестнице – и в раздевалку, где мы сидели, вошёл рабочий с потока, в чёрной робе, кирзовых ботинках, с оборванным приводным ремнём:

– Мажук, у меня обрубной встал.

– Гражданин механик, ремень надо, – обратился ко мне Мажуков.

Мы пошли с Мажуковым ко мне в кабинет. Выстланный железной плиткой пол в коридоре цеха был скользким. Тускло светили лампы. Чернота ночи пряталась по закоулкам цеха. Доносился грохот обрубных

станков, шипение сварочных машин, пахло гарью. Мажуков шёл сторбленно. Я давно обратил внимание на его нездоровую походку.

– У тебя радикулит?

– Почки больные.

– Простыл?

– В милиции отбили. У них не было улики, что убил я.

– Не пойму, ты убил или нет?

– Ну, я. Так ведь у них не было улики, не было!

Я дал Мажукову новый приводной ремень.

– А кипишу-то сколько – монастырь ограбил! – вдруг сказал он. – На это много ума не надо. По двери трахнул ногой. Она, прогнившая, с петель! Я тоже обчистил бы церковь в глуши и хвалился бы. А какой в этом понт? Ты бомбани монастырь в Загорске! Милиции и кагэбэшников не пересчитал бы!

Когда он ушёл, я вскипятил воды в пол-литровой банке, заварил чай. Этой банки мне хватит до утра, потом поеду домой отсыпаться.

Павел ЛАПТЕВ

Родился в 1971 году городе Выкса Горьковской области. Окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «инженер-электрик», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет – теолог. Работает инженером в электроэнергетике.

Прозаик, поэт. Участник Форум молодых писателей России в подмосковных Липках. Автор двух книг, ряда публикаций в российских журналах. Член Союза писателей России. Живет в Выксе.

ПРОВОДНИК

Учитель физики Валентин Борисович сам себе дал прозвище ещё в молодые годы – Вебер. Иначе ученики могли дать другое, например, Держиморда, что Валентину Борисовичу совсем не нравилось. Потому он и упредил грядущее недоразумение.

В этот день Вебер был очень эмоционален. Видно было, что раздел электромагнетизма был ему наиболее приятен.

– Возьмём проводник, который движется в магнитном поле, – сказал Валентин Борисович, – и проведём эксперимент. Предположим, что в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией расположен горизонтальный проводник. Он движется с постоянной скоростью перпендикулярно вектору магнитной индукции магнитного поля. Вот так, – рисовал Вебер на доске. – Если подсоединить к концам этого проводника вольтметр, то он покажет разность потенциалов на концах этого проводника. Откуда же берётся это напряжение? – повернулся учитель к классу, и сам ответил: – Движение электронов в проводнике возникло в результате появления вихревого электрического поля. Когда проводник движется как единое целое, у зарядов проводника и у положительных ионов, которые находятся в узлах кристаллической решётки, и у свободных электронов возникает скорость направленного движения.

Серёжа не любил физику. Он любил историю, особенно древнюю. Физика, химия, полагал он, сотканы из моделей, которые далеки от реальности. Модели атома, молекул, цифры атомных весов, кто всё это видел воочию и на каких весах измерял? А строители вселенной пользовались занявшей полстены менделеевской таблицей?

Вот в истории людей всё чётко. Пришёл, увидел и победил.

Серёжа, наблюдая за эмоциональным изложением учителя, зевнул. Да так громко получилось и так долго сидел с открытым ртом, что Вебер обратил на него внимание. Он не любил, когда зевают у него на уроке, потому что считал это неуважением к преподавателю,

который тратит свои нервы, свою энергию и здоровье на этих бестолковых, ничего не желающих в их ещё маленькой жизни, учеников. Желающих только играть в игры на смартфоне под партой и сидеть в социальных сетях.

Вебер, нахмурясь, спросил Серёжу:

– Понятно?

Серёжа несколько раз кивнул. Тема была несложная. Вебер показывал на своих руках правило левой руки. И писал формулы на доске. И рассказывал, рассказывал о микромире элементарных частиц, который своими глазами никогда не видел.

– Понятно, – ответил честно, покраснев, Серёжа.

– Ну-ну, – классически сказал учитель и продолжил урок.

Из школы Серёжа шёл домой один. Он всегда ходил один. Друзей у него не было. Серёжа был не таким мальчиком, как другие, – не как большинство в классе или в школе. Или в стране. Он служил в храме алтарником.

– Это же так просто! – радовался Серёжа своему открытию, нащёптывая себе по нос. – По аналогии с проводником в магнитном поле, движущемся проводником, в котором возникает ток, человек должен двигаться, чтобы в нём возник ток. Какой ток? Обожение, – сказал громко Серёжа с ударением на втором слоге. – О-бо-же-ни-е! – почти крикнул.

Он читал об этом в какой-то брошюре, сидя в алтаре. Там было написано, что это обожение и есть цель человеческой жизни. То есть человек всегда находится далеко от своего Создателя, далеко от радости, тепла, любви о которой всё время здесь говорят. И цель людей должна быть – приблизиться к Богу, найти его. Потому, что в мире нет счастья, кроме как с Богом. Удовольствия есть, а счастья нет. Но, думал тогда Серёжа, ведь после того, как Спаситель родился в облике человека, исправил падшую природу людскую, страдал, воскрес и вознёс человеческое тело к престолу Отца Небесного, уже и не нужно искать Бога. Вот Он, здесь, вот Дух Святой здесь незримо, в этой красоте расписных стен, икон, ладанного благоухания. Только потрудись малость, ногами походи, руками покрестись, губами пошепчи молитвы и в тебе возникнет подобный ток, о котором Вебер рассказывал.

Там, в брошюре так и написано было – синергия, то есть соработничество Бога и человека.

Один дядька зашёл как-то в храм и спросил настоятеля. Серёжа слышал их разговор: дядька жаловался, что почему он должен мириться с тем, что когда-то давно-давно Адам с Евой накосячили, яблоко запретное сожрали и передали первородный грех потомкам. Вот не хочет он, дядька этот, из-за них напрягаться, стоять по три часа на службе, время своё тратить. На что настоятель ответил, мол, да, беда такая у нас существует. Мол, человек не выбирает где родиться, когда, кем. И в каком теле. И разводил руками. Но если посмотреть с другой стороны, то вот дерево или камень бездушные, или вот кот, может, хотели быть людьми, думать, говорить, но вот не родились человечками. Более того, только у людей есть свобода выбора, но главное – вечная жизнь.

Тогда дядька сказал, что вечная жизнь – это заманчиво. Задумался и добавил, что могло быть и хуже, если бы по справедливости Творец поступил, прародителей опять смял в пластилин и вылепил бы кошек и вдохнул в них дух свой. И были бы кошки вместо людей. А Он выгнал людей из рая, так как в силу изменившейся природы те не могли

там жить, начали болеть и умирать. Но пообещал Господь людям Спасителя. Так и написано в Библии: «Семя жены сотрет тебе главу, а ты будешь жалить его в пятую», то есть родится от девы Тот, кто победит дьявола и спасет людей, но для этого Сам должен будет пострадать.

Посмеялись тогда они, и дядька ушёл весёлый. А потом настоятель говорил, что дядька этот к протестантам ушёл, мол, не может он по три часа стоять на службе, ноги и спина болят. А у тех сидеть можно и песни красивые петь. А как же, рассуждал Серёжа, таинства, евхаристия? Ведь это центральное дело церковное! Стоять, сидеть...

– Стоять, – сказал Серёжа уже в храме в воскресенье, когда зашёл туда утром перед службой.

– Как? – не понял батюшка.

– Чтобы в человеке возник ток и засиял свет, нужно всё время что-то делать, – пояснил мальчик.

Священник, надевая епитрахиль, улыбнулся и сказал:

– В общем правильно. Духовное делание угодно Богу.

На службе Серёжа был особенно старателен, памятуя о своём открытии, даже устал, ноги начали болеть.

Выходя из храма, Серёжа увидел на крыльце человека в ветхой одежде. Он стоял с протянутой рукой ради подаяния. Редкие прихожане давали ему монетку.

Серёжа не дал, так как у него не было денег.

– Бывает одно маленькое секундное дело больше всех дел в жизни, которые годами делаются, – сказал человек.

Серёжа задумался над этой фразой, побежал в храм, спросил у батюшки десять рублей и выбежал на крыльцо. Но человека уже там не было.

Вот оно как бывает! Появится в жизни секундная возможность проявить себя, помочь кому-то, а не используешь её. Из многих лет она, эта секунда, может, самая главная в жизни, по которой Господь будет оценивать тебя. Как написано в Писании, в чём Господь застанет, о том и судит. Так Серёжа рассуждал, когда шёл из храма. Об этом думал в школе на уроке физики, когда Валентин Борисович объяснял, что дрейфовая скорость движения электронов в проводнике очень маленькая, несколько миллиметров в секунду. А со скоростью света движется граница между электронами. Серёжа ничего не понял из этого и не смог, как не напрягал воображение, представить эти движения. Так как же тогда человеческим умом представить ту, потустороннюю жизнь, о которой говорит Библия?

Когда в школе был опрос учеников, кем бы они хотели стать и почему, Серёжа, скорее ради шутки, написал, что хочет быть физиком, чтобы учить детей законам божьего мира. И чтобы придумать прибор, который освободит людей от зевоты. А то зевнёшь в неправильном месте и в неположенное время, а Бог тебя и застанет с твоим открытым ртом.

Поэзия

Марина КУЛАКОВА

Родилась в Горьком. Окончила филологический факультет Горьковского госуниверситета и Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького. Работала учителем в сельской школе, занималась газетной, теле- и радиожурналистикой в Нижнем Новгороде. Была инициатором создания и соредактором журнала *Urbi* (1991).

Публиковалась в журналах «Нева», «Москва», «Новый мир», «Нижний Новгород» и других. Автор ряда сборников стихов и эссе. Стихи переводились на сербский, немецкий, английский, грузинский, армянский языки.

Руководитель объединения «Светлояр русской словесности». Член Союза российских писателей.

Живёт в Нижнем Новгороде.

К ДОМУ

Чего ждала, чего искала здесь? –
тревожный свет разгрома и роддома,
весь этот мир – я не ошиблась, – весь...
«Весь мир» – журнал, и люди в нем –
знакомы...

Чего искала я на всех путях
Своих – в деревне, и потом, в столице,
Чего искала я во всех сетях,
И в журавлях искала, и в синице...

Особенно в синице – за окном,
в кормушках детских, в клетке попугая
и чижики... искала – где мой дом.
Искала дом. Искала дом всегда я.

Но был в ответ – огромный детский сад.
И лагеря с подъемом и отбоем,
Где за отрядом строился отряд,
И проходили дни нестройным строем.

Сплошная коммуналка детских лет
С ее набором незаметных тягот,
Трамвайный звон, автобусный билет,
Акация, сирень, и волчьих ягод

Кусты... В кустах таилось чувство дома.
И в куклах. И от этой простоты
Хотелось жить.
Вам это не знакомо?

Но был и дом, где бабушка была.
Она сама была уютным домом.
Ну что такого? – пироги пекла.
Мир становился ярким и знакомым.

Румяным, теплым становился мир,
Горячим, вкусным, сытным, изобильным.
По осени, весной, среди зимы
Мир был таким. Надежным.
Немобильным.

Мир был – в пределах женского лица,
И женских рук (и книг, и одеяла).
И в этом мире не было отца.
Зачем он нужен?
Я еще не знала,

Что мир, в котором не было отца,
Впадает в мир, где не бывает дома.
Где есть одна дорога без конца.
Где всё всегда бывает по-другому.

Не так, как у людей. И у зверей.
Не так, как у друзей и у соседей.
Отхлестанная возгласом: «Не смей»,
Я уезжала, – на велосипеде.

В автобусе. На поезде. В метро.
На электричке страшной уезжала.
И как же было это всё старо! –
Открытый мир российского вокзала.

И не на Запад, нет, не дальше, нет, –
Всю жизнь я еду только лишь в Россию.
Таков мой дальний и мой ближний свет.
И силовые линии такие.

Везде найду я временный приют.
Он есть всегда, я знаю, — что опасно.
Меня прощают, есть и пить дают —
В той степени, в которой я несчастна.

А я несчастна? Лишь чуть-чуть, слегка.
Я скрыто и невидимо убога.
Наряд мой легок и душа легка.
Пакетик легок, и легка дорога.

А что же дом? Да скажешь тоже — дом...
Вот сельский дом, шестнадцатиквартирный.
Два года я жила в Устинске в нем
Спокойной жизнью, благостной и мирной.

Построенный в таежной стороне
По сметным планам домиков в Артеке,
Он преподавал свои уроки мне.
Свои, такие русские, хай-теки.

Увы, там даже призрак очага
Не согревал, когда гасили свечи.
Снега, снега. — на сотни верст — снега...
А электричество — отнюдь не каждый вечер.

А печки не было.
Так нынче на селе,
Куда влекла меня земная тяга
К земле и воле, воле и земле.
Как белку, хоть она парашютига

Иль дельтапланерюга, всё одно:
Под лапками должна же быть опора?
Уж скоро будет мне разрешено
Почуять запах дома. Скоро, скоро...

Через поля, сугробы и леса
Бежит мой след. Мой путь необъяснимый.
Мой дом с огнём — как сны и чудеса, —
Он есть, мой дом, —
желаемый, просимый...

...Желаешь дом? А сможешь дом держать,
Когда ты сроду дома не держала?
А дом держать — не книгу, не тетрадь.
Очнись, принцесса.
Ладно, хоть рожала.

К хозяйству руки вовсе не лежат.
Ни рвенья, ни уменья, ни сноровки.
Да и зачем?
Проси иных наград —
И их обрящешь. Прикупи обновки!

Ты все мечтаешь с кем-то быть вдвоем?
Фантазия такая всем знакома!
Мужчины в доме не было твоим.
А без мужчины и не будет дома.

Неправда! Вот у Маши — славный дом.
Живет спокойно в этом доме женском
Еврокомфорт, прикинувшись котом,
В порядке и пригляде деревенском...

Когда здесь ждут, когда не ждут гостей, —
Все чисто, ясно, — и уму, и сердцу,
...Там был отец. И семеро детей
в семье, когда-то... Открываешь дверцу,

и видишь: ...вот компьютер,
и не в нем
все дело, просто в памяти, в которой
был отчий дом когда-то. Отчий дом.
Он восстает невидимой опорой.

...Привет, многоэтажка, обогрей...
Пристанище, огромная обитель,
Прикрой, прими, возьми меня скорей,
В приют, коллектор, спецраспределитель...

Ты, на людей рассчитанный гараж,
Гнездовые человечье, словно птичье,
Многоэтажка, дом родимый наш,
Прости меня, люблю твоё величье...

Общага многоликая, прости,
Седьмой этаж, и лифт, всё так знакомо,
Я на земле останусь, отпусти,
Пора идти мне,
мне пора, мне — к дому.

Вадим МЕСЯЦ

Поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1964 году в Томске. Окончил физический факультет Томского государственного университета, кандидат физико-математических наук. В 1993–2003 годах – куратор российско-американской культурной программы при Стивенс-колледже (Хобокен, Нью-Джерси). Лауреат премии New Voices in Poetry and Prose (1991, USA), Бунинской премии (2005), «Хрустальной розы» Виктора Розова (2001), премии им. П.П. Бажова (2002), финалист Букеровской премии (2002) и др.

Автор ряда книг, многих публикаций в литературных журналах. Член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Международной федерации русских писателей (Мюнхен), американского отделения ПЕН-клуба «Писателей в эмиграции» (Нью-Йорк), «Международного ПЕН-центра» (Москва). Председатель комиссии «Центр современной литературы» научного совета РАН. Организатор «Центра современной литературы» (2004) в Москве и руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». Стихи и проза переведены на многие иностранные языки. Живет в Москве.

...ПОВЯЖИ НА ЗАПЯСТЬЕ ПРОСТУЮ НИТКУ

Увольнение

Равноденствие катится колесом.
Вдоль дороги петляет трубопровод.
Пожилой человек с молодым лицом
ранним утром идет на родной завод.

Он допил на рассвете густой кефир.
Он горячей водой сполоснул бутыль.
И на полку поставил как сувенир,
чтобы в ней красовался степной ковыль.

И теперь он идет в шлифовальный цех,
вешним солнцем объят с головы до пят.
На устах его брезжит веселый смех.
И резиною боты под ним скрипят.

Он работает на производстве линз
для биноклей, прицелов, подзорных труб.
И разорванный в клочья расчетный лист
для его понимания слишком груб.

Различенье понятий добра и зла
для него есть специфика высших сфер:

точный срез обработанного стекла,
кривизна, сила фокуса и размер.

И сейчас в приграничных горах Альбурз
чуткий снайпер в его окуляр следит,
как на ослике чахлом секретный груз
для коварных бандитов везет бандит.

Равноденствие косится на весну.
День вальяжно сдвигает ночную тень.
Скоро нашу большую как мир страну
словно воды потопа зальет сирень.

Дольше века бесславного длится миг.
В каждой форточке слышен браурный гимн.
С постаревшим лицом молодой старик
возвращается в полночь совсем другим.

Протирает платочком портрет жены,
отряхает с пальто марсианский луч.
И в плену нарастающей тишины
в проржавевшем замочке вращает ключ.

* * *

Любимая, не пишите письма.
Не посылайте курортную мне открытку.
Я жив и здоров. Не сошел с ума.
Пришлите короткую шерстяную нитку.

Я хочу повязать ее на левой руке.
Двадцать лет назад в суматошной драке
я выбил сустав на Катунь-реке.
Завывали сирены, на горе брехали собаки.

Черт знает в какой свалке, в стране какой
рука моя в прорубь холодную окунулась.
Пощечин не бьют, родная, левой рукой,
но ожидание затянулось.

Мне сказала гадалка двадцать лет назад:
повяжи на запястье простую нитку.
И потом ты достроишь небесный град,
развернешь его схему по древнему свитку.

Я просил о блажи этой, о чепухе
многих женщин. Я лбом им стучал в калитку,
но взамен получал любовь, от ее избытка
готов на петушиной гадать требухе.

Любимая, пришлите мне шерстяную нитку.
Пожалуйста, обыкновенную нитку.
Повторяюсь, родная, всего лишь нитку.
Я на ней не повешусь. Я не умру в грехе.

Не вяжите мне шапок и пуховых рукавиц,
не приучайте к колдовскому напитку.
Я хочу стать одной из окольцованных птиц,
надевшей на лапу твою шерстяную нитку.

Любимая, мне больше не нужно ничего.
У меня слишком просто устроено счастье.
Подвенечная радуга, последнее торжество.
И красная нитка на левом моем запястье.

Конь деревянный, не оловянный конь

Конь деревянный, не оловянный конь,
мохом оброс, перевернул свой воз.
в полночь глухую раскрыта твоя ладонь:
яблоки кубарем катятся под откос

с тайной вершины прохладно бежит вода
на заколдованной мельнице лает пес
время застыло, теперь уже навсегда
в прошлое утекают потоки слез

тихо иголка гуляет в твоей крови
маленькой рыбкой кусает столетний лед
что остается от нашей святой любви
только по речке лебяжье перо плывет

бедный возникший от горя совсем иссох
он разрывает, рыдая, свою гармонь
в темных глазницах коня прорастает мох
конь деревянный, не оловянный конь

в темной душе мужика прорастает стыд
звезды не лезут за словом в его карман
зимним морозом он, словно водой, облит
и разрывает сверканьем сырой туман

он продвигается к станции как слепой
там догорает последний в ночи огонь
если любовь, то ее обретет любой
конь деревянный, не оловянный конь...

Таджичка Гуля (Мемуар)

Меня постриг таджик в салоне красоты,
где пол усеян клочьями причесок.
Я дал ему на чай и подарил цветы,
услышав в сердце странный отголосок.

Испуганно в лицо мне посмотрел таджик,
приняв оборонительную позу,

не в силах угадать, зачем чужой мужик
ему легко в петлицу вставил розу.

Откуда он мог знать, что я увидел свет
в дверную щель забытого июля,
где по проселку я, гоня велосипед,
на раме вез в село таджичку Гулю.

И прижимаясь к ней, как к доброму зверьку,
я бороду вплетал в ряды косичек,
с певуньей ночевал в лекарственном стогу
и слушал с нею крики электричек.

И, верно, как никто она гордилась мной,
когда я проходил на танцы без билета.
И спяну умолял, чтоб стала мне женой,
и в небеса палил из пистолета...

Линия обороны

Обрывали погоны с штабных кителей,
ордена раздавали красивым цыганам.
И на снег выходя, становились светлей,
улыбаясь вослед цирковым балаганам.

Я успел обвенчаться в ту ночь с медсестрой,
потому что она была доброй как мама.
И наутро вернулся в безрадостный строй,
выдыхая на плац перегар фимиама.

Генерал в мое сердце устало смотрел,
офицеры шутили над розой в петлице.
И один обещал подвести под расстрел,
если долг не верну ему в павшей столице.

Сколько крови пролито на ломберный стол,
сколько водки в насмешливый рот не попало.
И как занавес черный кухаркин подол
опускался на очи хмельного нахала.

Я из Чаплина мчался в мятежный Бердянск,
не надеясь попасть на лечебные грязи.
И товарного поезда каторжный лязг
мне укачивал душу в могильном экстазе.

Мимо шли караваны крестьянских подвод,
над тачанкою ныла труба граммофона.
Бабы в море сплавляли тела воевод
и в остывших лиманах стирали знамена.

На погосте скрывался махновцев отряд.
Юнкера окопались в березовой роще.

А попы меж собой о любви говорят
и на баржи сгружают священные мощи.

На прощанье вздохну о лихих господах,
что проносятся в порт на трясущихся дрожках.
Кровопийцы поют в Воронцовских садах...
И роняют ножи на ледовых дорожках...

Абакан – Тайшет

Отбывает фирменный «Абакан-Тайшет»
с ниточки по миру нам хватит на банкет

на столах шампанское покачивается в такт
радостью пацанскою горести антракт

закричит приветствия грамотный народ
в эру благоденствия поезд нас везет

босяки атасники прыгайте в вагон
торжества участники нынче без погон

будут пальцы веером или карта в масть
за полярным севером скоро наша власть

на дорогу мужества въехал свежий фарш
пусть играет музыка триумфальный марш

руки санта-клауса в голубых тату
да застыла пауза у него во рту

держит сердце жабою у себя в горсти
проявления жалости нынче не в чести

нам в купе товарищем впишется артист
выдаст одобряющий соловьиный свист

раскумарит пассию на свое фуфло
в нашей гондурасии дурам тяжело

туалеты в поезде для любви тесны
спрятаны на поясе деньги от жены

все отдам за ласковый вожденный взор:
кошелек потасканный, головной убор.

Атас

Чую сердцем, что рядом ужасный зверь.
На прокуренной кухне дымится чай.
Он смотался на волю в другую дверь.
Он промолвил хозяйке «прости-прощай».

Он и сам не ответит себе сейчас
что его научило бежать, скользнуть.
Посмотри на мелькание бабьих глаз,
и они нам со страху укажут путь.

Это здесь он хранился и зимовал,
с папироской у зеркала скулы брил.
И ни слова про дальний лесоповал
даже в пьяной печали не обронил.

Что ей толку гадать про его дела:
возвратился, сорвался с большой цепи,
с чемоданами денег да барахла...
Поглядел исподлобья – бери, люби.

И исчез, как явился, – таков закон.
Вам бы сразу предателя гнать взашей.
Перепрыгнул карниз, пересек балкон,
промелькнул занавесочками этажей.

И спокойно любит на ветру
грациозным рассветом в моей стране,
перспективой, дымками фабричных труб,
обнаженной натурой в чужом окне.

А столица растет красотой, жильем,
дарит каждой душе молодой июнь,
но тебе эта жизнь поросла быльем,
раз в Сибири струится река Катунь.

И куда там до музыки высших сфер,
о которой ты грезишь, пока молчишь, –
из отстреленных пальцев твой револьвер
полетит через миг с этих громких крыш.

Мобильник

Поспешно вылетают электрички
на гребень склона с черною травой.
И как зарницы вспыхивают спички
над беспричинной раной ножевой.

Что занесло меня к подножью храма,
на исповедь к немым бородачам?
Не зря когда-то говорила мама,
что мне не надо шляться по ночам.

Вот, догулялся, наглотался пыли.
Бесславно потерял товарный вид.
Пускай отныне по моей мобиле
с моей супругой гопник говорит.

Пусть за меня историю расскажет,
как шел по рельсам в гости пьяный в дым.
В мою постель пускай довольно ляжет
своим немытым телом молодым.

Замок глухой на монастырской лавке.
Звенигород уснул – и не звенит.
И в подворотнях траурные шавки
прилежно лают в меркнувший зенит.

Горят костры весенние по склонам,
отчизна спит на дедовских костях.
И мимолетным парочкам влюбленным
так хорошо на рельсовых путях.

Марианна СОЛОМКО

Родилась в 1984 году в Ленинграде. Окончила фортепианный факультет Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского.

Автор поэтических сборников «Гуси летели на Север...» и «Что бы ни случилось...», детской книги «За грибами со стихами». Лауреат региональных и международных поэтических конкурсов, обладатель Гран-при III Международного поэтического конкурса им. К.Р. Дипломант всероссийской литературной премии им. А.К. Толстого (2014), лауреат литературной премии «Молодой Петербург» (2014). Стихотворения публиковались в литературных изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Сербии, Германии, Канады.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

...И НА СЕРДЦЕ – ТРИ РУБЦА

* * *

В тёплый дом приношу умирать
Покалеченных диких зверушек,
Но лишь на ночь им стол и кровать,
А к утру улетают их души.

Нахожу у тропинок лесных,
На заезженных пыльных дорогах,
И как будто бы их у весны,
У природы ворую, у Бога.

А потом возвращаю назад,
Как людей схоронив и оплавав.
Сколько горести перенесла
Я в своих человеческих лапах.

Всякий раз каждый раненый зверь,
Чуя час издыханья-исхода,
Полз туда, где закрытая дверь,
За которой и смерть, и свобода.

* * *

Сколько сил у насекомого
В сороктысячный бороться
С неустанною истомою
За черничное болотце,

Крылышки ломая нежные
 О стекло неодолимое,
 О закат беззвучно бежевый...
 Так немислимо – могли бы мы? –
 Там, где солнце ярким орденон
 Вскользь подсвечивает раму,
 Вдруг обнять большую родину,
 Словно старенькую маму.

* * *

Золотая иволга,
 Серебряный дрозд,
 Прилетайте, милые,
 На белый погост,
 Где гробов скворечники,
 Могил неуют,
 Где птенцы-подснежники
 В сугробах поют,
 Где с щеки берёзовой –
 Слеза снегира,
 Где синичьи возгласы:
 – Не зря! Не зря!

* * *

Лук почуял весну –
 И порей, и латук.
 И на солнца блесну
 Он проклюнулся вдруг –
 Прочь из душных хорон
 И темниц шелухи! –
 Он зелёным перон
 Пишет марту стихи!

* * *

Я – роса виноградного слитка,
 Я – дождя удалая улика,
 Я – и дом, и крыльцо, и калитка,
 Я – улыбка слезы. Я – улитка!

Надо мной теплокровные боги
 Соревнуются в шаге и в беге.
 Не страшны их тяжёлые ноги,
 А страшны их усталые веки.

Им я – слизень в хитиновом свитке,
 Ракушняк в известковой рубахе,
 Виноградень, промокший до нитки
 На блестящей асфальтовой плахе.

И когда затрещу, будто крекер,
 Бесполезные выставив рожки,
 Вдруг поднимет усталые веки
 В никуда уходящий прохожий.

* * *

Как удар наотмашь палицы
 По бескровному лицу –
 Сорвалась с вершины падалица –
 Браво ветру-наглецу.

Горечь в ней да сладость поздняя
 И на сердце – три рубца,
 Вся её природа звёздная
 Боль ловила на живца.

В ней одна звучала музыка
 Приближением конца –
 Чтоб, упав на землю русскую, –
 Докатиться до крыльца.

* * *

Вечер горбится и горбится,
 Весь морщинистый и ветхий.
 На черешне старой горлица
 Крыльями качает ветки, –
 Ожерельная, волшебная, –
 Как лучина в тихой горнице,
 Сон сулит и утешение –
 Колыбелит всю околицу,
 Приласкает нежным воркотом,
 Каждому напомним мать,
 И забудется всё горькое,
 И в душе начнёт светать.

Виктор БЕРДИНСКИХ

Историк и писатель. Родился в 1956 году в селе Жерновогорье (позднее вошло в черту города Советска) в Кировской области. Окончил исторический факультет и аспирантуру Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Доктор исторических наук, профессор Вятского государственного университета.

Автор более 120 научных работ, а также двух десятков книг документальной и художественной прозы, посвященных истории и культуре России. Лауреат Всероссийской премии им. Н. Карамзина «За отечествоведение».

Член Союза писателей, член Международного ПЕН-клуба. Живет в Кирове.

РУССКИЙ НЕМЕЦ

Роман о времени

Окончание. Начало в № 1, 2018

Глава III. А что Сибирь? Сибири не боюсь!.. (Мирюга́)

1. В путь-дорожку

Так хорошо солнце затылок припекает! Wunderbar! (Замечательно!) Я вообще люблю, когда солнце – светло, тепло! Ура! Все мои болезни, кажется, позади! Уж две недели – вместе с мамой и кучей другого народа – прополкой занимаемся на колхозном поле.

А что, мне чем дальше, тем больше нравится здесь, на Алтае! Конечно, многое (да почти что всё) тут не так, как на Волге! Но ведь тоже здорово! Река быстрая, вода колючая, тайга могучая! Ого! Я так и стихами скоро начну строчить!

И с местными ребятами я подружился. Вон Гришка с края поля рукой машет, зовёт вечером к себе велосипед его чинить. Машина старенькая, плохонькая, от отца осталась, но другой такой (и вообще никакой) ни у кого в селе больше нет.

Ах, как приятно, когда кровь в твоих жилах ровно струится! И жить сильнее хочется, и любить эти белые барашковые тучки, и летнюю гро-

зу, и даже бабушкину кашу-размазню на обед – всё это так здорово! Одно слово – лето! У меня от удовольствия даже капелька пота с затылка на шею перебежала, а затем и меж лопатками защекотала.

Бригадир кричит: «Шабаш! Перекур!» И то: поработали неплохо, пропололи рядков даже больше, чем вчера. Идём на обед.

Мама в последнее время часто молчит и смотрит в одну точку, горюет о папе и Альке. Наконец-то от них пришли первые письма. Хорошего мало. Живут они в лагере, работают в лесу, голодают. Пишут, что нас любят. А нам боязно за них. Особенно за папу. У него ведь желудок больной, а в лагере голод.

Пришли домой. Бабушка сидит в уголке как всегда. Все морщинки на лице собрались в мелкую сеточку. Мыслями бродит где-то в давнем прошлом. Я вчера спросил её, о чём она всё думает?

– О нашей прошлой жизни вспоминаю, дитя моё (mein Kind), – говорит полущёпотом и по голове меня гладит. Столько там было хорошего, доброго и красивого! Дети росли, мир вокруг быстро менялся. А мы были в его середине и горели той жизнью!

Очень я опять же удивился: как это можно «жизнью гореть»? Что до меня, так я проще представляю себя в жизни: будто в реке плыву, по течению. И всё вокруг сверкает, переливается, плещет ласково или грозно. Иногда, конечно, волны становятся просто безумными – штормы там всякие, «девятые валы» и всё такое прочее. Вспомнишь только наше выселение с Волги, так вздрогнешь и вздохнёшь. Но это же всё позади, жизнь у нас вроде налаживается потихоньку.

Война вот только идёт себе да идёт, и конца ей не видно. Как-то не очень ладно получается: хотя наша доблестная Красная Армия храбро и по-геройски бьёт проклятых фашистов, но они всё лезут и лезут, уже и до Волги дошли. Вроде какая-то железная плита на всю нашу страну навалилась, а кого-то и вовсе раздавила. Даже здесь, в Сибири, эта тяжкая махина гнетёт весь народ от мала до велика. Одних похоронок пришло ужасно сколько! Инвалидов всё больше и больше, и все они (те, кто хотя бы передвигаться может) в работе: амбарщики, сторожа, учётчики. На те места, где полный комплект «руки-ноги-глаза» не обязателен, туда их председатель колхоза и ставит.

Ну вот, сидим мы дома, обедаем. Вдруг слышим, кто-то калиткой у ворот постучал. Потом открывается дверь, и к нам в сени входят наши начальники – Фёдор Иванович и Андрей Николаевич. Я сразу подумал: не к добру это!

Мама живо со стола всё убрала (а чего там и убирать-то – всего добра-то с гулькин нос). Помолчали сперва. Наконец, Андрей Николаевич, отводя куда-то в сторону глаза, выдал:

– Тут вот какие дела, Катерина! Пришла нам на сельсовет разнарядка. По постановлению Правительства создаются рыболовецкие колхозы на севере Красноярского края. И приказано выделить для этого дела по несколько человек от каждого сельсовета, где поволжские немцы приписаны. К тому же слухи ходят, что снова набор в трудовую армию готовится. И забирать теперь уже будут даже мальцов с 14 годков, а также женщин до 50, если у них нету детишек до трёх лет. Вот мы с Фёдором Ивановичем и покумекали. Тебя с Пашкой в августе-сентябре через военкомат запросто могут в трудовую армию отправить. Но, вишь ли, нам это в план мобилизации не пойдёт и придётся ещё кого-то поставлять. А на Север-то, в эти самые рыбацкие артели, лучше всего сейчас ехать. Самое время, пока тепло.

Да, честно сказать, у нас и выбора тут нет, – как бы оправдывается председатель сельсовета.

А Фёдор Иванович добавляет с нажимом:

– Рассуди сама, Катерина: или тебя с Пашкой послать, или кузнеца Эмиля с женой. Дак мы же без него изревёмся тут! Техника-то вся старая, дохлая, ломается постоянно. А у Эмиля руки золотые! И я на него бронь уже оформил.

Снова молчим. Тут мама как бы очнулась, руками всплеснула:

– А бабушка?! Куда же мы её-то денем? Она же без нас с голоду померёт! Жить-то ей совсем нечем!

Начальники переглянулись, и Федор Иванович, уже как-то успокоившись и даже повеселев, без напора (как будто заранее всё обдумал) отвечает:

– Ну, об этом ты, Катерина, не горюй! Мы Ольге Васильевне на бабу Эмилию дополнительный хлебный паёк выдавать будем как на иждивенку. Так что не пропадёт ваша бабуля! Не звери же мы! Что ты, в самом-то деле?!

На этом и порешили. В оконцовке сказали нам, куда завтра подойти надо, чего и сколько с собой в дорогу взять можно. Да, не суждено мне, значит, в последний раз к Гришке сходить, с велосипедом повозиться. А жаль! Любимого удовольствия лишился.

Ну и вот! Ушли начальники, а мы стали собираться «на рыбалку». Бабушка плачет беззвучно и непрерывно. Я пытаюсь её успокаивать по-своему и по-всякому. Говорю какие-то глупости, вроде:

– Ну чего плакать-то?! Ну рыбу будем ловить. Наловим, вернёмся с добычей! Да ведь и интересно же!

А про себя думаю: здесь, в Сибири, всё такое огромное: и небо, и горы, и деревья, и грибы! Жизнь вообще какая-то крупная по фактуре. У нас, в Европе, всё помельче будет. А на Волге и лесов-то почти нет. Правда, много здесь, за Уралом, и совсем дикого, чуждого человеку вообще. И это давит. Всё здесь не укрощённое пока ещё, не обработанное, не до конца освоенное людьми. Я даже поёживаюсь внутренне от этой огромности и неизведанности. И всё же охота мне в дорогу, спасу нет! Я вообще страсть как люблю путешествовать! Мама иногда с укором говорит на это:

– Всё бы ты шёл да ехал! И в кого только такой Vagabund (странник, бродяга) у нас уродился?!

А я в ответ:

Die Welt ist groß und rund,
Ich bin ein Vagabund!..
(«Мир велик и кругл,
А я в нём – лишь странник!..»)

Собрали мы свои узелки-котомочки. Да и что там собирать?! Имущества-то у нас кот наплакал, почти всё, что с Волги привезли, давно уже на картошку здесь променяли. Заглянула к нам Ольга Васильевна и только головой покачала:

– Гоняют вас, бедных, как собак бездомных. Ну да ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Авось и обойдётся всё. А я вам на завтра хоть хлебца в дорожку напеку!

И ушла. А мы, намаявшись за день, улеглись: утро вечера мудренее (Morgen ist ein neuer Tag).

И ещё: «Один день – одно дело» (Einem Tag – eine Sache). Так кто-то из моих знакомых любит говорить. А вот кто? Никак не припомню и проваливаюсь в сон...

* * *

В стопке разрозненных листочков из папки в чемоданчике Павла Генриховича я нашел 10 замечательных лирических миниатюр. Вставляю их здесь после каждого подраздела. Мне кажется, они уместны. Видно, что это он еще в свои молодые года писал. Сильна же в нем была творческая струя!

Составитель

Созерцание-1: Как горит огонь

Иногда (днём или вечером) бежишь по своим делам или просто «вдаль бредёшь» и внезапно остановишься как вкопанный. И что-то очень важное начнёшь понимать и совсем по-другому. Или даже какой-то пустяк вдруг главнее всего покажется.

Много ведь всего за долгую жизнь свою видел, чего другие вовсе и не примечали. Или увидели с другой стороны. И вроде бы вещи-то совсем простые, а жизнь перевернуть могут резко и основательно. Об этом-то и речь.

К огню меня тянет с самого раннего детства. Помню: сижу у печки, дверцу приоткрою и лну всей душой к этим трепетным языкам пламени. Как они разгораются: с фиолетовой серединкой, внутри же пылающего сердечка – ещё что-то жёлтое, а снаружи – красное. И как только начинают прогоревшие угольки гаснуть, я быстренько собираю и бросаю в огонь бумажки, щепочки, кусочки берёсты, что приготовленные для растопки лежат у печки. И что-то ненужное и недужное во мне выгорает, а взамен здоровое и полезное входит в меня от этих язычков жаркого огня.

«Пироман!» – скажет папа, дверцу чугунную захлопнет, а меня спать погонит. Но ведь правда же: без огня человек жить не может! А у меня душа к огню и пламени крепкими нитями привязана.

2. Село Троицкое

Лето в разгаре.

И вот с мучениями и тревожностями привезли нас в село Троицкое. С нами ещё десятка три горемык (из того же района на Алтае). А отсюда, говорят, всех нас повезут ещё дальше: на север Красноярского края рыбу там ловить. Ну и дела! Мы и на Волге-то никогда этим особо не занимались. Там для этого были специальные артели, на берег сети с рыбой вытаскивали. И если мы, мальчишки, помогали им тоню тащить, они давали нам немного этой рыбы на уху. Помню, как бабушка с дедушкой радовались этой добыче: они же – приморские уроженцы,

«рыбоманы», как папа говорил. Что там у них с Алькой в лагере? И как же наша бедная бабуля одна-одинёшенька?

Троицкое – село небольшое. Главная улица тянется через него от начала и до конца вдоль холмистой гряды. В одном из закоулков, прилегающих к этому местному «проспекту», – небольшой домик. В нём всего две комнаты. В одну из них нас с мамой (и ещё человек 20 немцев-спецпереселенцев) и привёл местный бригадир, пожилой дядька, на первый взгляд, степенный и добродушный.

– Ничего-ничего! – говорит. – В тесноте, да не в обиде! Да и потом, вам же тут не век вековать. Несколько ночек как-нибудь уж перетерпите, а потом дальше к Енисею-батюшке отправитесь!

Огляделись: нары вдоль стен сколочены, теснотища, пыль, мрак. Мама поёживается, приятного мало, да и неизвестность её пугает. А мне вот хоть бы что! Ну интересно же! Куда, например, дальше поплывём? Это же, как у Жюль Верна в «Таинственном острове», моей любимой книге. Раз пять её в школьной библиотеке брал. Там ведь тоже леса, горы, пещеры. Но то в книге, а здесь-то всё наяву, перед глазами.

Ладно... Устроились кое-как. Печурку маленькую, железную (порусски – «буржуйка») растопили, воду кипятим в жестянках, чтобы муку в ней развести, пока она есть ещё. Хлеба нам мало дают, как работающим. А свои припасы, и без того скудные, мы давно проели.

Послали меня за водицей к колодцу. Отворил дверь, гляжу, из соседней комнаты, где людей тоже как селёдок в бочке набито, женщины с детьми выходят. Такие же обтрёпанные и худющие, как и мы. И говорят они между собой на каком-то непонятном языке.

Спрашиваю у бригадира (он самокрутку на крыльце смолит):

– Кто это такие?

– Да латыши, – отвечает. – Высланные. Их, как и вас, тоже на Север повезут. Рыбку ловить. Или кормить.

Не понял я опять. Шутит он, наверное. Чем же это мы её, рыбу-то, кормить будем? А, ну его! Что зря голову ломать? Поживём – увидим, узнаем.

Перекусили чем бог послал, как русские говорят. И решили мы с мамой по селу пройтись, развеяться немного. Село сибирское, раздольное. Дошли мы главной его площади. Посредине – груда развалин: остатки разрушенной церкви, по имени которой село и было названо. И вот церковь-то сломали, а прежнее название села так и осталось. Напротив развалин церкви – большой дом, в нём местный сельсовет. Мама (а она суть Советской власти давно поняла) говорит вполголоса, кивая на этот дом:

– Вот смотри, сынок, наверняка, хозяина раскулачили, а дом его под сельсовет отдали. Так оно и в других местах было. И на моей родине в Причерноморье, и на Волге. На какую же справедливость мы надеемся? Наивные люди!

В ногах правды нет, да и стоять не хочется, подустали мы с мамой от прогулки. Присели на большие камни, видно, что это остатки от основания церковных стен. На солнышке они нагрелись. Так стало от них тепло, уютно, аж в сон потянуло. Но посмотрим, люди, вроде нас, со всех сторон к сельсовету подтягиваются. Оказывается, назначили здесь сбор всех «выселенцев». Объявят, что с нами дальше будет.

А я гляжу, рядом с нами женщина-латышка, из соседей по дому, с двумя девочками, дочками, видимо. Присели они рядышком на камни: тепло, хорошо, тоже разморило их.

– Наверное, – мама говорит, – эти церковные камни намолены за долгие годы. Вот поэтому нам на них так хорошо – как с самой Волги не было.

Вот так и сидим вместе, ждём. Тут женщина-соседка поворачивается к маме и спрашивает:

– Вас тоже на Север повезут?

Ну и, слово за слово, а дальше разговор зажурчал, как ручеек по камушкам – лёгкий, светлый. Оказалось, что эту женщину зовут Леонора Павловна. Ее с двумя дочками, старшей Лидой и маленькой Бенилдой, выселили из Латвии (ещё в июне прошлого года) на юг Красноярского края. А мужа отправили куда-то в лагерь на север Кировской области. (Уж не в Вятлаг ли, туда же, где папа с Алькой оказались?) Он им давно уже ничего не пишет. Знающие люди и местные начальники отговариваются: значит – «без права переписки», есть и такие лагеря. Ужас!

Акцент у Леоноры Павловны, конечно, сильный. Но узнав, что мы – немцы, она обрадовалась и стала говорить с мамой по-немецки. И, кстати, это у неё получается гораздо лучше, чем по-русски (по её словам, она русскому-то языку только здесь, в Сибири, за год немного и выучилась). А девочки её сидят, молчат. Старшая на год-другой меня помладше, совсем светловолосая, а другая – лет десяти, тёмненькая.

Народ постепенно собирается на площади, уже человек 60 подошли. И вот появляется из сельсовета начальник какой-то, в кожаной фуражке со звездой, в галифе, в начищенных до блеска хромовых сапогах. Ни дать ни взять чекист. Мне он сразу же не понравился: лицо квадратное, злое. Крепкий, сильный. Видно, ест вдоволь. Нависает как-то над нами. И говорит лающе, резко, отрывисто, будто команды отдаёт.

Вдруг мне солнышко щёку правую как-то по-особому припекло. Поворачиваю голову в сторону соседских девчонок, и тут меня словно током ударило! Старшая сестра в профиль ко мне сидит: кожа у неё белая с позолотинкой, волосы льняные, лучи солнца вокруг её головки сверкают, и волосы от этого чистым золотом играют! Бог ты мой! И вспомнил я одно своё давнее видение: это же ОНА! Та девушка, от которой вся моя жизнь зависит и с кем я всю эту жизнь неразрывно связан буду!

И нашло на меня: ничего больше вокруг не вижу, не слышу, что-то в душе перевернулось, и я всю свою жизнь и весь мир вокруг разглядел, осознал и понял. Даже как ласточки вверх летают, и как страна растёт из мощных корней своих, и что было, и что есть, и что будет – всё это разом как-то постиг. Не в словах, нет! Чувствами своими, внутренним видением каким-то. Как будто, весь мир у меня на плечах, и не как ноша тяжкая, крест мученический. Наоборот, мне легко от этой ноши и радостно сознавать: я могу оттуда взять в любой момент всё, что захочу, и столько, сколько захочу.

Как долго просидел я такой оглушённый, не знаю. Но постепенно начал приходить в себя. Сглотнул накопившуюся слюну. Слух ко мне вернулся.

А на площади – молчание. Плохое, напряжённое. Прерывают его только резкие выкрики начальника-чекиста. И чего он так кричит-то, разоряется? Впрочем, это и неважно.

Вот вылетело у меня из головы, как же зовут-то её, эту девочку? Ну, ту, от которой я обалдел. Обращаюсь к ней потихоньку и чувствую, что краснею от смущения:

– Извини! Если ты не против, давай знакомиться!

Она вроде не возражает.

– Давай! – говорит.
– Меня Пауль зовут, по-русски – Павел. Выбирай, что больше нравится! А тебя как звать-величать?

Улыбается:

– С рождения в Латвии звали Лидой. И ты меня Лидой зови!

Тут я и решил сострить. Говорю:

– Ли – да! Или Ли – нет?

Тут мы оба и разом рассмеялись, да так громко, чуть ли на всю площадь. Даже мамы наши на нас удивлённо и неодобрительно взглянули. Но они о чём-то там своём (очень важном, видимо) судили-рядили и вновь к своей беседе вернулись.

А мы с Лидой, словно родные, сидим рядышком и трещим наперегонки, вперебивку, не переставая. Сестрёнка её младшая посмотрела, посмотрела на нас и к мамам отошла. Верно, чтобы нам не мешать. Хорошая тоже девчонка, сероглазая и, по всему виду, сообразительная. Худющая вот только, как тростиночка.

Спрашиваю у Лиды:

– И как же вы здесь жили-то зимовали? Досталось вам небось?

– Да как все жили, так и мы, – говорит. – Мама работала, мы с Бенилдой в школе учились. Такой хороший учитель у нас здесь был Владимир Николаевич. Так изумительно просто и ясно всё объяснял! Я как-то спросила у него, что такое борона? Он провёл рукой в воздухе две черты длинные, а снизу как бы натыкал в них иголок. И я всё сразу поняла, я же сельский ребёнок! Он, Владимир Николаевич, пожилой уже был, но его всё равно на фронт взяли этой весной. А к лету уже убили, дочери похоронка пришла. Так мне жалко его! Добрый был человек и учитель замечательный! Наверное, благодаря ему и жители в этом селе, ну, многие из них, такие добросердечные, отзывчивые. А зимой... Конечно, голодно было, что там говорить! Так учительница математики принесла к нам на урок немного хлеба, раздала его по кусочку (граммов по 50) каждому и велела долго-долго этот кусочек жевать, чтобы он весь сильно-сильно слюной пропитался, покуда мы сладость не почувствуем. А до этого не проглатывать, ни-ни, ни крошки! И тогда голод немного утихнет. Тоже добрая душа!

Лида смахивает навернувшуюся слезинку и продолжает:

– Пока у местных колхозников всё их личное зерно в марте не отобрали, они такой вкусный хлеб выпекали! А потом уж все на одной картошке держались. Кое-кто, правда, мешки с зерном в землю позарывал. И то сказать, они же, колхозники, это зерно на свои трудодни получили, это – их добро, причём честно заработанное. Вообще крестьяне здесь такие же работающие, как и у нас в Латвии. Я-то знаю, я ведь сама на хуторе выросла, всё умею на земле делать!

Помолчала немного и опять щебечет:

– Ой, Пауль, а ещё у нас бригадир добрый! Вот в соседнем селе – там злой, даже свирепый, жестокий! Когда высланные латыши там после жатвы ходили по полю и оставшиеся колоски собирали, он лошадей на них наезжал и плёткой бил. А в наконецник плётки гайка тяжёлая приделана, чтоб удары больнее были. Одна женщина от этой плётки даже инвалидом стала. А наш бригадир осенью, когда наши взрослые женщины на веялке работали, советовал им потихоньку: «Вы пошейте мешочки, повесьте их на шею себе и так каждый день понемножку зерна домой носите. У нас говорят: птичка по зёрныш-

ку клюёт». На что моя мама возразила: «Но как же так? Ведь это же грех!» А он – ей: «Ну ладно, боитесь в мешочки – сыпьте себе в ботинки, сапоги. Если что, проверка, то-сё – скажете: случайно, мол, попало, а мы и не заметили. Иначе поумираете ведь с голоду все, и дети ваши тоже!»

В соседнем селе, между прочим, многие так и погибли. А мы вот живы, как видишь!

Ну и я в ответ трещу: и про нашу семью, и про папу с Алькой, и о том, как нас с Волги выселяли, как на колхозном алтайском поле работали, как на лесозаготовки меня гоняли, как дедушку хоронили, и про слепого учителя, и про бабулю нашу бедную, и о многом другом. Только про видения свои ни гу-гу! Короче, через час этих посиделок стали мы с Лидой друзьями – не разлей вода, как говорится.

И за всеми этими разговорами ничего не услышали о том, что же с нами дальше-то будет? Но по пути к своему новому и временному жилищу мамы нам всё пересказали. Оказывается, уже через пару дней поплывём мы дальше на баржах вниз по Енисею. Высадят нас сначала не так уж (по местным меркам) далеко отсюда, в устье реки Подкаменная Тунгуска, а затем (на отдельной маленькой барже-«илимке») доставят по этой реке в село Байкит. Основная же масса народа (а его соберут немало) отправится ещё дальше на север: по течению самого Енисея – в Дудинку или Агапитово, что ли. Я пока в здешней географии не ориентируюсь. Всё равно – это край света! Где-то у самого Полярного круга. Бр-р-р!..

В Байките живут в основном тунгусы, то есть эвенки. Они занимаются преимущественно охотой (пушным промыслом). А мы будем там рыбу ловить и сено заготавливать для Красной Армии. Это – «наша помощь фронту, наш вклад в дело Победы над фашизмом». Так говорил тот самый «плохой начальник» на площади. Фамилия его Боков. Он тоже поедет с нами как главнейший комендант от НКВД: надзирать, карать и миловать, если что... Ой-ой-ой!

Созерцание-2:

Как течёт река

Сидишь у воды летом, и такая мощь прёт от этой лениво перекачивающейся огромной толщи, что просто оторопь берёт. Впадаешь в какое-то оцепенение – коматоз.

Где-то читал я (по-моему, про англичанина Ливингстона, исследователя Африки), как его во время одной из экспедиций лев схватил за шкуру, слегка встряхнул особенным образом и уже собрался в пищу употребить. И тут на этого англичанина такое напало безразличие – полная эйфория и паралич мышечный: ни рукой, ни ногой пошевелить не мог. На все со стороны давай смотреть. Тут сотоварищи давай стрелять, не съел лев путешественника! А тот это невероятной силы ощущение на всю жизнь запомнил.

Вот и от реки такое же совершенно расслабляющее воздействие исходит: волны невидимые на меня накатывают, внутрь проникают, омывают там всё, очищают и дальше уходят. Мне кажется, эта мощь меня даже как-то умнее делает. Всё глупое, наносное, как прибрежный старый сор, утаскивает, а меня самого облагораживает.

Какое это счастье – жить на берегу реки! Если рядом даже маленькая речушка, где и воды-то летом по колено всего, это всё равно великая удача!

Река и зимой катит свои воды. Идешь по льду, а там, под тобой, не просто жизнь, а что-то большее, и оно движется безостановочно и необъяснимо. Это – и жизнь, и смерть, и великий какой-то ум, совершенно иррациональный.

Потому-то по-русски Волга – матушка. И действительно, есть в ней материнское начало, несомненное и огромное.

Да что там говорить?! Для меня-то всё просто и ясно: река – это чудо из чудес!

3. Мы на лодочке катались

Ну, вот и притащились мы на пристань к Енисею, как и было велено, к вечеру следующих суток. Днём-то жарю, да к тому же мошка, гнус, комары. Эти кровопийцы въедаются в нас так, будто впервые в своей короткой жизни до чего-то сладенького дорвались. А что с нас взять-то – кожа да кости.

Кое-как перекоротали ночь у костров. Наши с Лидой мамы друг за дружку держатся, помогают одна другой. Ну а мы с Лидой всё время вместе. Весело нам! Даже искорки у нас друг от друга перескакивают.

Я как единственный мужик на две семьи перетаскиваю все наши тяжёлые вещи на баржу. Вещей-то тех, правда, раз-два и обчёлся. Ещё одна из русских поговорок, так они мне по душе пришлись! И столько я их в алтайском селе от местных жителей нахватал! На всю мою жизнь хватит наверняка!

С утра тронулись в путь, поплыли вниз по Енисею. Барж много. Наша самая маленькая. Зарядил было дождь. Сразу похолодало. Но потом снова солнышко засияло. Лента реки стала какого-то странного, нереального цвета: иссиня-голубоватая. И над нами радуга повисла. Говорят, добрые приметы – и дождик на прощанье, и радуга! Рулевой баржи кричит нам с Лидой (мы с ней на самой корме стоим): «Кто под этой радугой проплывёт – счастливым будет!» Хорошо бы!

И тайга по берегам проплывает, такая умытая дождем, ярко-изумрудная. Красотища! У нас в Европе таких чистых красок нет: все цвета в природе какие-то смазанные, приглушённые. А здесь – вот они во всей своей первозданной свежести! И облака над нами плывут какие-то ослепительно белые! Здорово!

Правый берег реки – таёжный, высокий и суровый. А левый – пологий, с отмелями и песками. Эх, искупаться бы! Но Лида – трусиха, говорит, плавать не умеет. Я обещаю научить, мы же как-никак на реке будем жить...

.....

День длинный, и темнеет медленно и долго. Иногда река сужается, по правому берегу возвышаются огромные каменистые кряжи. Но по течению да при тихой погоде чего ж не плыть-то? И мы плывём. Помалу.

* * *

На третий день северный ветер «из Арктики» (так нам местный лоцман объяснил) «задрал встречную волну», «поднял большой вал».

Вытаскиваем баржи на берег, переживаем непогоду. А мошки, гнуса-то сколько! Ужас! А после обеда ещё и слепни! Уж мы по-всякому закрываем и лицо, и руки, так они всё равно пролезают и жалят жадно, немилосердно. Одно спасение от них хоть какое-то – у костра сидеть и, дымом окутавшись, отмахиваться. Дышать, правда, тяжело, но что делать? Из двух зол приходится выбирать меньшее... Зато звёзды какие проясняются по ночам на небе! Глубокие, сверкучие! Лида, глядя на них, ахает не перестаёт.

Комары и мошки – они днём и вечером свирепствуют, а ночами немного утихают. Прохладнее становится, и они хоть и такие же голодные и озверелые, но, очевидно, силы теряют, а с ними и пыл свой людоедский.

.....

Как долго мы плыли по Енисею, точно не знаю, я уж и счёт дням потерял. Ведь ни часов, ни календарей, ни радио у нас на барже нет. Всё слилось в какой-то сплошной и туманный временной поток. Одна радость за всю дорогу: лоцман хариусов наловил и дал нам с Лидой попробовать. Рыба такая нежная, что, чуть подсолив, можно есть её прямо сырой! Во рту тает. Объеденье! (Leckerei!) Лучше волжской осетрины даже!

* * *

Сегодня приплыли к устью Подкаменной Тунгуски, правового притока Енисея. Отсюда наша маленькая баржа (вместе с чекистом Боковым) отправится направо – против течения этой Подкаменной Тунгуски, а остальная флотилия с будущими рыбаками (немцами да латышами) и их начальниками продолжит спускаться прямо по Енисею, дальше, вниз по течению.

– Счастливые! Они же Арктику увидят! Мечта столько путешественников! Ведь здорово же! – тормошу я Лиду.

Но она почему-то не разделяет все эти мои восторги.

– Ох, и глупый же ты! – говорит. И всхлипывает. «Слёзки на колёсиках». И у меня весь мой энтузиазм как-то разом выветрился, будто праздничный шарик сдулся, лопнул.

Река Подкаменная Тунгуска – широченная, в устье – не один километр, наверное, от одного берега до другого. Вообще всё здесь, в Сибири, огромное. Можно подумать, создавались всё это – реки, горы, леса – какими-то древними исполинами и оставлены ими в наследство себе же подобным великанам.

А у нас, похоже, появились новые проблемы. Слышу, как наш лоцман, пожилой, но ещё здоровый, могучий мужик с бородой, говорит Бокову:

– Как дальше поплывём-то? Паводок ушёл, течение быстрое, пороги опасные. Гляди, вон вдали меж утёсов-то река кипит просто! Разобьём баржу-то, начальник!

А Боков ему:

– Не твоё дело! Задача поставлена – доставить всех в Байкит! Как хочешь решай! Хоть на себе баржу тани!

– Это вверх-то по течению?! – лоцман на Бокова с недоумением смотрит. Тот покряхтел-покряхтел – и что-то, видно, сообразил про себя.

– Давай, – говорит, – всех взрослых на берег выгрузим и тянуть баржу заставим, а дети и вещи пускай на борту пока остаются!

Так они и сделали. Высадили взрослых на берег. Впрягли, как бурлаков, баржу за канаты тащить. А дети, десятка два, на палубе улеглись: голодные, тихие, вялые. Одна Бенилда веселится, у самого борта скачет, рукой маме своей машет. А ведь тоже не перекормленная. Непоседа, что ещё скажешь?! Мы с Лидой наряду со всеми большими в одной упряжке илимку за верёвки по берегу тянем. Тяжело это, не то слово. Усталость сразу же одолевает.

Да и погода какая-то неустойчивая: то жарко, солнце палит, то холодно, дождь накрапывает. То облака кучевые, кудрявые, то тучи низкие, серые, свинцово-тяжёлые. Нижний слой туч прямо над головой висит клочьями. А выше – ещё два слоя висят и как бы друг от друга расходятся. Это – как и в нашей жизни: всех разметало в разные стороны. Ветер постоянно волну гонит, и наша илимка тревожно потрескивает.

До Байкита от устья Подкаменной Тунгуски больше 500 километров. Как мы их преодолеем, не представляю.

.....

Бредём сегодня босиком по узкой каменистой полоске меж бушующей рекой и скалами (тут теснина, высокие стены-утёсы на берегу). Ноги у всех в ссадинах и царапинах, синяках от ушибов. А искупаться всё равно охота! Но это можно только вечером, когда станем на ночлег.

* * *

Уф-ф! Привал! Лежим, ноги кверху задрали. А с высоты на нас тайга смотрит, пристально, сурово. Мама с Леонорой Павловной (да и другие женщины) в лес ушли. Им некогда отдыхать, собирают какие-то съедобные корни, черемшу, ягоды. Им лоцман места показал. А вечером детей этими дарами тайги кормить будут, больше-то и нечем, от своих припасов даже воспоминаний не осталось.

Лида меня спрашивает:

– Вот скажи мне, зачем нас туда, в Байкит, везут?

– Не знаю, – говорю. – Будем, наверное, рыбу ловить и на фронт отправлять. Чтоб война проклятая поскорее кончилась.

А Лида головой качает:

– Глупости! Мы тут больше сами рыбы проедем, чем её наловим. Ну какие из нас рыбаки?!

Крыть мне нечем, но я пытаюсь стоять на своём, отвечаю неуверенно:

– Ну, сенокосить тоже будем ещё.

– Так лучше бы в Троицком сенокосили! – вновь возражает мне Лида. – Одно для меня ясно как божий день: тут над этим никто из начальников головой не думает! – это она мне уже тихонько так на ухо шепчет. И мне ужасно приятно, когда ветерок от её слов ухо моё щекочет.

.....

Снова в путь. По-русски говорят: «идти бечевой». Это про бурлаков. Нам даже картину в Варенбургской школе показывали: «Бурлаки на Волге» называется. Но я думаю, тем бурлакам было всё-таки легче

идти, чем нам. Веселее жизнь у них была: Волга и Сибирь – две вещи разные.

* * *

Счёт дням мы окончательно потеряли. А река то разливается широко, словно море, то сужается и между высоких скал с порогами бурлит. Сегодня у нас на пути как раз такие пороги. Тащим мы свою злосчастную илимку. Дети на её палубе молча стоят у бортов. И вдруг резкий треск – главный наш трос верёвочный оборвался. Истёрся о камни. Мы все на берегу закричали от ужаса. Женщины давай руки ломать. А баржу течение медленно от берега оттаскивает к водовороту, возле порога. Вода рябит и бликует от солнца.

Леонора Павловна в бессильном отчаянии смотрит на свою доченьку, смугленькую Бенилду.

«Все же там погибнут сейчас! Баржу об огромный каменный зуб в стремнине ударит и утопит! Никому не спастись!» – проносится в моей в голове. И время как бы замедляется для меня, почти останавливается.

Вижу, один из латышских парней, Виталий Слоканс (ему уже лет шестнадцать, он племянник католического епископа, как Лида говорит), медленно-медленно опускается на колени и, глядя на баржу, как-то очень спокойно-сосредоточенно начинает молиться. Лоцман наш, дядька Степан, хватает огромный багор и пытается им подтолкнуть небольшую свою лодчонку (долблёнку) в бок илимке, её уже почти к самому порогу прибило. Но не получается у него никак.

Тогда я (в каком-то наитии) поднимаю из-под ног большую тяжёлую корягу и резко швыряю её в Степанову лодку. Она вздрагивает от удара и как бы нехотя втискивается в узкое пространство между порогом и баржой. Её тут же просто разносит в щепки, но это смягчает удар от столкновения баржи с порогом, и наша илимка, медленно отделившись от остатков долблёнки, дрейфует в тихую заводь.

На берегу общий вопль облегчения и радости.

– Слава Тебе, Господи! – крестится Степан. И эхом повторяют эти слова женщины: одни – по-немецки (Ehre sei Dir, o Herr Gott!), другие – по-латышски (Slava Tev, Kungs Dievs!). А у меня снова что-то щёлкает в голове, и возвращаются вновь все прежние звуки и краски, и движения людей вокруг становятся обычными, не замедленными.

Детвора на барже на барже по-прежнему испуганно молчит. Да и сил нет уже ни на что. А мы подтаскиваем кое-как баржу к берегу завода. Боков тоже пришёл в себя, командует:

– Больше ребяtiny на барже не оставлять! Пусть берегом идут вместе со всеми!

Из женщин как душу вынули: сидят на берегу безмолвно или бродят кругами, словно тени. Лиц на всех нет. Видимо, и Боков почувал что-то неладное. Снова командует:

– Разводим костры! Обедаем!

Хотя никогда в это время так не делали.

Рулевой, дядя Андрей, присел на камень и рассказывает:

– Это – один из самых больших порогов на Подкаменной Тунгуске. Мучной называется. Видите, как тут скалы реку-то сжали? Вода кипит просто. Здесь, задолго до войны ещё, баржу с мукой разбило. Вот потому так порог и назвали.

Понемногу все оживают. Дети как ни в чём не бывало кусты чёрной смородины у протоки облепили. Но постоянно и к воде лезут. А среди камней на берегу полно глубоких ям. Тут глаз да глаз нужен. И к реке они рвутся, искупаться тянет. А там – омуты и быстрина местами, вмиг проглотить могут.

* * *

Очередной привал. Леонора Павловна сидит рядом с мамой в каком-то оцепенении и видно, что горюет. Мама ей:

– Не бойся, дойдём до Байкита, а там, даст бог, полегче будет!

А она отвечает маме:

– Вилма Путния пропала. Она с нами по берегу шла. Ей уже тринадцать лет. Нас вместе с её мамой в одном вагоне из Латвии везли. Попросилась отойти по нужде и пропала. Такая хорошая, добрая девочка! Мать её просто почернела от горя. Просила у Бокова разрешения вернуться, ещё раз поискать дочку хотя бы по берегу. Тот запретил.

– И без того опаздываем! – говорит. – Надо двигаться только вперёд! А ты сама почему так плохо за дочкой-то смотрела?

Спрашивается, а как тут можно хорошо смотреть, когда мы все баржу будто лошади тащим?!

И по светлому лицу Леоноры Павловны скатывается несколько слезинок. Большого она себе не позволяет, лишь губу ещё сильнее закусил. С сильным характером она – эта женщина, Лидина мама!

Мы с Лидой тут же, тайком, конечно, пробежали вдоль берега, ближайšie ямы и кусты осмотрели, нет ли где Вилмы? Бесполезно! И следов никаких. А дальше отходить нельзя, Боков и наказать может, да и пайка лишит.

* * *

И снова день тащится по берегу рядом с нашей илимкой. Мы с Лидой по очереди помогаем мамам, в бечеву впрягаемся. А по берегам – всё поросшие лесом сопки да утёсы. И лиственницы могучие, мохнатые, кудрявые. Говорят, они, как берёзы листву, на зиму свою хвою сбрасывают. Что ж, поживём – увидим!

Тучи разошлись. Солнышко выглянуло. Ветер улёгся. Незаметно вечер накатил. На берегу – камни: красные, розовые, зелёные. Лоцман говорит: «Яшма». Так бы смотрел и смотрел на них, на всю эту завораживающую картину: тайга первозданная, буйство красок, широта, мощь. И тишина, покой. В этой горной таинственной стране и все наши беды как-то притихают, не кричат уже так громко, как прежде, будто волшебная река голубым своим языком песок золотой лижет и всё мрачные письмена с него смывает.

Сидим с Лидой рядышком у костра, таскаем к нему хворост из прибрежной тайги. И так нам хорошо, словами не передать! Лидка оглядывается, видит, что никого поблизости нет, наклоняется ко мне и спрашивает шёпотом:

– Как ты думаешь, когда война кончится?

Отвечаю ей – так же тихо:

– На меня ещё в начале нашего пути по Енисею накатило. Увидел внезапно картинку: будто сидим мы с мамой вдвоём в какой-то комнате, за простым столом без скатерти. Солнце ярко бьёт в окно, а за ним по

улице мальчишки бегут и кричат во всё горло: «Победа! Войне конец!» Мама постарела заметно, да и я, мне кажется, сильно вырос.

Лидка с уважением таким на меня глянула:

– Так ты же настоящий медиум!

– Ну, – говорю, – не знаю... Объясни мне, тёмному, что это такое!

– А это значит – предсказатель, прорицатель, ясновидец, – просвещает меня Лидка.

Я секунду размышляю, потом прихожу к выводу:

– Нет, это не про меня! Я же не по своей воле эти видения вызываю.

А Лидка уже прямо сгорает от любопытства, пристаёт:

– Но расскажи тогда хоть, как они, эти видения, к тебе являются!

– Да что тут рассказывать-то?! На пустом месте всё происходит. Никакой связи с действительной жизнью, работой или учёбой. Занимаюсь я, как и всегда, какими-то своими делами, и вдруг – словно мешком по голове бах! Тут же отключаюсь от всего привычного и вижу какие-то картинки, обычно яркие и со словами. Вот и всё!

– А можешь по заказу что-нибудь подсмотреть?

– Нет – я же сказал уже. Пробовал, к примеру, папу с Алькой пови-
дать, и ничего не получается. Значит, по заказу нельзя.

Очень Лидка огорчилась. Понятное дело, очень уж хочется ей хоть что-то про отца своего разузнать. И я ей в этом, к сожалению, не помощник. Но ведь и меня самого мучает неизвестность, как там, в лагере, и папа, и Алька? Живы ли они? Ведь если у нас тут такие тягости, то им-то каково приходится в лесу, на непосильной работе?! Подумать страшно!

Скачут мысли у меня в голове, как белки в колесе: по кругу и без толку. Про белок, между прочим, я только в книжках читал, наяву никогда не видел. А здесь их, говорят, несчётно много. Тоже интересно посмотреть на них да и на других таёжных зверей вживую!

Ладно, будем ночлег устраивать. На палубе баржи раскинем своё тряпье и попробуем согреться. Благо, комаров и мошек поменьше к ночи, холод их отпугивает и ветерок сдувает. Река только шумит-шелестит на перекате и у огромного валуна-порога, что возвышается недалеко от берега.

Перед сном вновь шепчемся с Лидой, не наговорились за день. Она – мне:

– А ты молодец, что лоцману помог баржу с детьми спасти! Да ещё Виталий большое дело совершил, он о помощи детям бога молил, и всё получилось.

Я переспрашиваю не без скрытого недоверия:

– И как же это его молитва нам помогла-то?

А Лидка мне – на полном серьёзе:

– Ты пока не понимаешь этого, но он, Валентин, тут самый лучший и для спасения нашего самый главный!

Смотрю я на неё: серые глаза, высокий чистый лоб, льняные волосы. И понимаю, нет для меня никого и ничего дороже! И всем словам её верю, она правду знает и судьбу свою верно прочерчивает!

Но всё-таки крутится в голове моей и какая-то отдельная мыслишка, мелкая, скользкая, мерзкая: «А вот в школе нам говорили, что никакого такого “бога” нет и быть не может!» И словно прочитав эту мою мыслишку, Лидка говорит спокойно так и ласково:

– Ты не верь тем, кто говорят, что Бога нет. Они ошибаются! Ведь ты же Его чувствуешь душой? И Он о тебе заботится, видения посылает!

Но я всё ещё в сомнениях:

– А как же Он тогда допускает, что такие беды на нас навалились: и война, и люди гибнут, как мухи?!

Лида же непоколебима в своей убеждённости:

– А это – испытание всем нам великое! Испытует же Господь тех, кого любит и кого спасти хочет для жизни вечной!

Дальше я спорить не стал: и сказать мне нечего, и спать надо укладываться, не то протрешим до полуночи, а завтра носом клевать будем за бечевой! Да ещё и в яму какую-нибудь по пути сослепу-то угодим!

* * *

Глубокая ночь. Прибрежная гора с лысой вершиной уже почти не видна. Одинокий костёр на берегу так ярко полыхает в ночной тьме. Вдали, за поворотом реки, чернеют скалы, а над ними – тяжёлое небо с грозowymi тучами. Мощь несказанная! (Die unaussprechliche Urkraft!) Красота неописуемая! (Die unbeschreibliche Schönheit!) Только не до всей этой красоты нам, «выселенцам»: и сил мало уже, и есть всё время охота!

Ну и ладно! Зато голова ясная-ясная! И не болит никогда! Вспомнил ещё одну русскую присказку: «Не болит голова лишь у дятла». По-немецки это примерно так будет: Kopf verletzt nicht nur den Specht...

Созерцание-3: Как дует ветер

Меня звучание ветра в печной трубе просто завораживает. Вьюжно-метельные порывы накатывают один за другим в долгую и лютую северную зиму. Тут тебе и вой, и плач, и свист... А ты лежишь себе в тёплом доме, плотненько укутавшись одеяльцем ли, тулупчиком ли, и не думаешь ни о чём. Душою («духом») живёшь вместе с этим ветром-певуном. И понимаешь, вот оно, родное тебе! Как и сама эта жизнь, какой бы она ни была, куда бы ни завела тебя, как бы ни перекрутила и ни потрепала! На улице, под открытым небом, там дело совсем другое...

А больше всего люблю я степной лёгкий ветерок, напоённый разнотравьем весной и летом; с морозящим дождём поздней осенью, когда он, ветерок, овеивает лицо, а дождик сыпет прямо в глаза, щеки, лоб, нос. И ты невольно облизываешь губы и чувствуешь вкус этого ветра и этого дождя.

Ветер в лицо! Так здорово иногда! Хочется идти и идти вперед.

4. Байкит

Август. Морошка поспела. Оранжевые и вкусные ягоды. В жизни таких не видал и не пробовал! Такие ароматные! Особенно хорошо, когда мама компот из них готовит на нашей печурке-буржуйке. Так бы пил и пил это кисло-сладкое лакомство без конца! Блаженство! (Wonne!)

А месяц назад добрались-таки мы до Байкита. Все живы. Gott sei Dank! («Слава богу!») – как мама говорит. Теперь тут обосновались. И работаем. Но Боков постоянно грозит, что развезёт всех нас,

«выселенцев», ещё дальше на север по удалённым факториям. А там и людей-то почти нет. Одни тунгусы (они себя эвенками, «оленьими людьми», называют) со своими переносными жилищами (чумами, по-ихнему «яранами») и красавцами-кормильцами (оленьями) кочуют. В Байкит они привозят шкурки пушные (соболиные, беличьи), оленину, рыбу вяленую и меняют всё это в магазине фактории на ружья, ножи, другие охотничьи припасы (порох, патроны), иголки, нитки, соль, муку, спирт (или водку) и прочие необходимые им товары. Живут эвенки только в своих чумах (кто побогаче – в ярангах, это такой же чум, но побольше) и ничего другого не признают.

– В русские дома мы жить не можна! – говорят.

Хотя специально для них на окраине Байкита два больших деревянных барака построили ещё до войны. Но эвенки категорически отказались туда вселяться. Сейчас там высланных разместили, бывших «раскулаченных» в основном.

Мы, несколько пацанов из высланных, любопытства ради сбегали на кочевье эвенков посмотреть, когда они в факторию по каким-то своим делам приезжали. И вправду интересно! К примеру, они, эвенки, при переколёвке детёнышей своих перевозят в берестяных люльках. Внизу туда древесную труху насыпают, чтоб ребёнку не мокро было, если вдруг опадает. самого младенца кладут сверху (если прохладная погода – в меховом тулупчике), а люльку привязывают к оленьему седлу. Олени для них вообще и главное богатство, и смысл жизни.

Хороших охотников-эвенков на фронт не отправляют, они должны пушнину добывать. Её ведь за границу продают, за это золото получают, а на него потом закупают и оружие, и многое другое, что для Красной Армии необходимо. Вот так. Чумы у эвенков (а особенно яранги) вполне пригодны для проживания и в самые крутые морозы-метели. Мне они, эти разборные конусы-шалашы, обтянутые оленьими шкурами, даже красивыми показались. А какие морды у оленей! Мохнатые, замшевые, большеглазые, толстогубые, ласковые!

* * *

Нас, шестерых подростков-«выселенцев» отправили на большой лодке вверх по течению Подкаменной Тунгуски на факторию Турама (это километров 70 водного пути). Будем там, в Тураме, целую неделю траву косить, плоты сбивать, на них сено в скирдах грузить и назад в Байкит поплывём. Уже по течению. Но до этого работы хватит с избытком, не соскучишься.

Вышли из Байкита рано утром, а прибыли в Тураму лишь к вечеру. До полудня топали по берегу, а лодку, пока течение было несильное, лошадь тащила. Потом и мы впряглись. Старшим над нашей сенокосной бригадой – старожил из Байкита. Мы зовём его дядей Андреем. Пожилой уже мужик, седой, говорит очень мало. Но видно по всему – человек добрый. Иногда выцветшими глазами своими приветливо так улыбается! И ещё хорошо то, что он – отменный рыбак: наловит нам рыбки и будет ею вся наша бригада кормиться! А то мы же худючие все до ужаса! Одни мослы во все стороны торчат.

Лошадь наша встала у каменной осыпи. Причалили лодку к берегу. Дальше дядя Андрей осторожно повёл лошадь под уздцы по прибрежным камням, а лодку потащили мы «бечевой». По пути то и дело натыкаемся на острые камни, они тут на каждом шагу, а мы-то все босиком.

И одежда наша вся в заплатках, изношенная, а местами и дырявая. Правда, чистая: мамы и стирают её, и штопают. Да и в воздухе здешнем, сибирском, и пыли-то вовсе нет никакой. Всё тут какое-то яркое, сочное, промытое. Так что если не работать, то ничего и грязниться не будет, даже голова.

Тут же вспоминаю: Лида провожать меня пришла в красивом таком льняном сарафанчике в полоску. Не беда, что выцветший. Так даже лучше. И очень ей к лицу!

Трава здесь, на Тураме, зелёная-презелёная, воздух удивительно чистый, никогда и нигде такого чуда не видел. Говорят только, что вечная мерзлота близко лежит, поэтому многое из того, что нам привычно, на этой земле не родится. Зато в реке, по словам дядьки Андрея, рыбы полным-полно: и окунь крупный, и щуки, и сиги с хариусами. Эх! Скорей бы дожидаться тунгусской ушницы! А ведь можно ещё и шкуру рыбы, и косточки проварить посильнее (притомить) и всё это тоже и тут же схрупать! Вкуснятина же!

Прозвище у дяди Андрея – Рыбак. Он живёт одиночкой в маленькой избёнке на берегу реки, неподалёку от Байкита. И реку от устья до истока со всеми её притоками, и окрестную тайгу знает как свои пять пальцев. Вот местные начальники и «занаряжают» его по всяким своим делам.

* * *

Байкит – посёлок немаленький. По крайней мере, километров на 300–400 в округе больше его поселения нет. Это – «столица» для эвенков. На их языке означает «богатое зверями место». Для них здесь и школа-семилетка с интернатом построены. Мы с Лидой тоже в этой школе будем учиться, я в седьмом классе, она – в пятом, а её сестричка Бенилда – в третьем.

Леонора Павловна, их мама (она же учительница по специальности), ходила в эту школу, просилась принять её на работу учителем немецкого языка или математики. Отказали, не приняли: «Высланная? Нельзя! Не положено!» И кто же это так решил-то, что высланные – значит, вроде уж и не люди совсем?! Мы же все в одной стране живём, с фашистами трудом своим боремся. Всей душой, всем сердцем победы желаем Красной Армии! Как все мы радовались, когда в сводках Совинформбюро про Московскую битву и про наши победы в ней сообщали! Конечно, радио у нас нет, но газеты привозят изредка, не чаще раза в месяц.

* * *

Снова плывём. Но сейчас вниз по течению, назад в Байкит. Идём на вёслах, гребём по очереди. У меня отдых. Сажу у самого борта, гляжу в воду. Глаза сами собой слипаются. Что-то в воде посверкивает, манит, зовёт, усыпляет... Рыбак резко дёргает меня за плечо:

– Пашка, очнись! Кончай ночевать! Страхни сонную-то одурь! А не то ведь, не приведи господь, вниз головой в реку выпадешь!

Да, пригрело что-то солнышко к обеду, вот и разморило меня. А с утра такой густой и тяжёлый туман висел. И холодновато уже по ночам, дело к осени идёт. В это время Виталий-латыш рассказывает

ещё троим отдыхающим пацанам о том, как у него на родине праздник Лиго-Яно (Янов день) отмечали: хороводы, пляски, игры, костры, нарядные девушки, пиво. Ребята слушают, притихли, скучают по мирной жизни. А я вот пиво не люблю! Правда, всего один раз и попробовал-то его ещё в Варенбурге. И не понравилось – горько и невкусно, ну нисколько!

* * *

Пришло письмо с Алтая, от Ольги Васильевны. Ужасная новость – бабушка Эмилия умерла. Через неделю после нашего отъезда. Как пишут, сидела бабуля на своём стульчике целыми днями, руки на коленях и в одну точку смотрела. Ничего не ела, только водички выпивала немного на ночь. Похоронили её хорошо, рядом с дедушкой. Лето же всё-таки, вырыть могилу нетрудно.

Пишет также Ольга Васильевна, чтобы мы не беспокоились: всё, что осталось после нас и бабушки, она сохранит и вернёт нам, когда мы приедем. А когда же мы приедем-то? И куда? Если уж листок сорвался с дерева, его назад на ветку не вернуть, не приделать! Да и неохота мне больше никуда ездить! Хочется на одном месте пожить долго-долго!..

Но главное сейчас для всех нас – не пропасть вообще. Поэтому и живём мы с мамой одним днём. День этот прошёл и слава богу! (Gott sei Dank!)

Созерцание-4: Как растёт трава

Весной начинает травка зеленеть, и сердце у меня при виде этой молодой зелени учащённо бьётся и ёкает. Отчего – не знаю, не ведаю. Может быть, это мою веру в жизнь как-то укрепляет? Ведь только появившаяся трава, она – нежная, мягкая, сочная, как ребятишки малые. А потом она матерееет, становится высокой, густой, сильной. И сколько оттенков зелёного, изумрудного, голубого, синего!.. Ни один художник не сможет на холсте всё это богатство передать!

А какие запахи, ароматы, благовония! Потрёшь между пальцами травинку, к носу поднесёшь, и нахлынет что-то близкое, родное, такое, что кровь в жилах отзовется на это пахучее великолепие. И какое-то своё родство и с этой травой, и с этим небом, и с этой землёй начинаешь острее осознавать. И понимаешь, что ты – тоже как эта вот трава: и топчут тебя, и рвут, и под косилку пускают. А ты наперекор всему живи!

Но помни при этом, вечно расти невозможно. И пробиваться вверх, к свету, как трава, надо в ночной тиши, когда всё вокруг притаилось, присело, прислушалось, а затем вдруг взметнулось ввысь одним мощным и резким рывком. Вот так и люди пробивают преграду над головой. Ведь каждый из нас сам себе потолок устанавливает. А на самом-то деле потолка этого не существует: иди, расти, пробуй!

Но как ты узнаешь, на что способен, а чего не можешь, если не попробуешь этого сделать?! То-то и оно – под лежащий камень вода не течёт!

5. Школа для эвенков

Декабрь. Снег здесь рано ложится. Зимует... Нам с мамой дали для жилья отдельную будочку. Совсем небольшую: полати, столик и печка-«буржуйка». Потолок очень низкий, мама даже выпрямиться не может, головой в него упирается. Да и я тоже вымахал, скоро маму перерасту. Печка, конечно, маленькая. Зато натопить её легче. И пока она топится, в комнатухе нашей тепло, благодать! На улице-то морозы трескучие. А дров мы с мамой вдвоём достаточно наготовили-напилили, на зиму должно хватить. Хотя зимы-то здесь длиннющие.

Лида с мамой и сестрёнкой недалеко от нас живут. Их в гримёрке местного клуба разместили. Там тоже «буржуйка» есть. Каждый день мы с Лидой в школе встречаемся и наговориться не можем. Я уже всё про неё знаю, а она про меня.

* * *

Всех высланных занарядили в местную рыболовецкую бригаду. Наших мам тоже. А командует всем и всеми здесь всё тот же Боков. Живёт он в отдельном домике на окраине Байкита, но бывает там редко, больше по окрестным факториям мотается, где тоже высланные находятся. При редких встречах от него всегда винным перегаром отдаёт. «За воротник шибко закладывает», – так дядька Андрей говорит. Нам, малолеткам, старшие запрещают даже в переулок к боковскому домику заходить. А сам он, Боков, каким был, таким и остаётся – злой, грубый, жестокий. К примеру, мамы рыбу ловят и ловят, нормы выполняют и перевыполняют, а он им строго-настроено запретил хотя бы по рыбке брать на еду себе и детям, а уж варить тем более. Приходится ухищряться всячески: под брюки рыбёшку мелкую прятать, прямо сырой её есть. Правда, местные-то рыбу варят, и сколько душе угодно, а иногда, если начальство не видит, и с нами делятся. Добрые люди, спасибо им!

Между прочим, таких сомов, как здесь в прорубях ловят, я в жизни не видел. Хотя они и в Волге водятся, но таких чудищ там нет. Я специально ходил смотреть: изумление просто, огромные усахи! Ну натуральные брёвна, толстущие, здоровенные!

А вообще-то живём впроголодь. Мне по хлебной карточке иждивенца всего 400 граммов хлеба в день положено, маме – 600: она работница всё-таки – «рыбак». Тут не зажируешь. Мама одной из местных наших соседок (тёте Клавье, с которой вместе рыбачит) помогает иногда по хозяйству управляться. А та маме за это варёную рыбу даёт. Изредка и тайком. Поймают нас за поеданием этой рыбы, могут и в лагерь отправить. Как папу с Алькой.

* * *

Вспоминаю лето! Хорошо в июне. Можно голод постоянный как-то подножным кормом приглушить. Ходим с Лидой на скалы у самого поселка. Там можно, вниз спускаясь, дикий лук и чеснок щипать. Как две козочки пасемся. Хорошо, что маленькие березки тут есть, а то бы давно вниз загребели с этих откосов. А потом бежим дальше пастись в лес ближний: корешки трав ищем и молодые березовые листочки жуем (как здесь говорят, жубряем). Рассуждаем, где бы нам лебеды найти побольше.

В июле еще лучше: голубика, пусть незрелая, налилась. А в дальнем кедровнике за ущельем и черника есть уже. Сходим на «промысел» в лес и назад по тропочке домой. Дни текут быстро, как вода в Тунгуске у Больших Порогов – ключом.

* * *

Зима! Дело другое. Время тихо шелестит. Чем мороз сильнее – тем время медленнее. Это вам не в Европах! Хожу в школу где-то с половины сентября. Только вот с одеждой дело совсем швах. Пальтишко на мне тоненькое, а мороз – под 30 градусов. Пробирает до костей!

По пути в школу захожу за Лидой в клуб. И что же вижу? Весёленькая картина: сидят они с Бенилдой на своём топчанчике и во всё горло песни распевают! Лида и мне предлагает:

– Пауль, давай с нами, подхватывай!

А песня про русско-японскую войну. Её, эту песню, Бенилда недавно в школе услышала, запомнила и нас обучила. Вот теперь и поём все вместе хором:

Синее море, красный пароход.
Сяду, поеду на Дальний Восток!
На Дальнем Востоке – там пушки гремят,
На поле солдатики убитые лежат!

Мама будет плакать, слёзы проливать,
Папа поедет на фронт воевать...
Музыка играла, барабаны били,
Барабаны били – папу хоронили.

Но не грустно нам – ну нисколько! Весело поём! Здорово! И настроение поднялось! В ладоши хлопаем, по перегородке деревянной стучим, всё равно же утром в клубе никого нет!

Кончилась песня. Отдышались... Бенилда – худенькая, всегда бледненькая такая, почти прозрачная насквозь. А тут покраснелась, разошлась:

– Давайте, – говорит, – ещё одну песню споём! Мы её тоже с девочками в школе пели:

Васильки, васильки –
Много синее их в поле.
Помню, у самой реки
Мы их собирали для Оли...

– Ну нет! – надулась Лида. – Это уж совсем малышовая песня! Да и в школу пора!

И в приподнятом настроении отправились мы в школу, все вместе, втроём.

* * *

Во всём Байките лишь один дом в два этажа – райисполком. Там местные начальники сидят. Но они своими, вольными, командуют. А нами распоряжается только Боков. Лицо у него красное, щёки толстые, глазки маленькие и злые. Как уставится он ими, все люди сразу

замолкают. Квадратный он какой-то и всегда над нами нависает. И возражать ему никто не смеет, себе дороже. Ну да ладно, даже думать про него не хочется!

У школы в посёлке два деревянных одноэтажных здания. В одном учебные классы, в другом – интернат. Сегодня у меня первый урок литература. И такой хороший учитель Солодовников Василий Николаевич! Старый, голова вся белая уже (мы так и называем его – Седой). Он ещё в начале тридцатых годов здесь оказался. Говорят, Петербургский университет окончил. Ух ты! Вот бы и мне на этот университет посмотреть, хоть одним глазком! Это же, наверное, храм настоящий науки, большой, светлый, чистый! Там всегда тепло. И солнца много!

Рассказываю Лиде об этом. Она согласна. Только добавляет: «И там никто не кричит. Все вежливо, ласково друг с другом говорят. И улыбаются!» А в школе холодно. Печи по ночам топят, но днём всё опять промерзает, даже к вечеру чернила в лёд превращаются. Так что пишем мы карандашами на старых книгах и газетах.

* * *

Уже почти дошли до школы. Вдруг какой-то гул. Вверху. Смотрим на солнце: маленький самолётик нам крыльями машет, садиться будет. Вот повезло так повезло! Самолёт-то сюда только дважды в год прилетает: один раз зимой, а другой – летом. Весной и осенью ему не приземлиться, опасно – топь сплошная. Ну, конечно, всё население Байкита высыпало на улицу, руками машут, радуются. Все бегут к берегу, самолёт ведь на льду садиться будет, там, где маленькая речка Байкитик в Подкаменную Тунгуску впадает.

Прибежали и мы. А самолет уже сел. Лётчики обедать ушли. Из самолёта всё, что он привёз, выгружают. Потом начали в него же отправляемые грузы и почту размещать. И я думаю про себя: «Ура! Значит, и наши письма родным улетят сегодня. А может, и нам от них весточки пришли?»

Однако так и на уроки-то можно опоздать! Теперь бегом в школу! Но получается плохо, особенно у девочек, сил-то совсем мало. Запыхались. Но успеваем прямо перед звонком. И ладненько! Тем более что урок-то – Василия Николаевича, а мы так его любим! Он объясняет всё как-то спокойно, с душой, от себя. Дети же разные: и наши немцы, и латыши, и эвенки, и русские. И Седой по глазам видит, если кто чего-то не понял. Медленно слова повторяет. И говорит:

– Не стесняйтесь, ребятки, поднимите руку, если какое-то слово вам непонятно! Всё понятно? Нет, вы прочитайте ещё раз, про себя, а затем скажите, если всё-таки то или иное слово не знаете!

А как он русскую поэзию знает! И любит! Это просто удивительно! (Erstaunlich!) И нас с Лидой к этому приуныл. Иногда мы всем классом одно четверостишие пол-урока читаем и разбираем. Каждую строчку подробно расшифровываем. Седой улыбается. Говорит: «Это – техника так называемого медленного чтения».

Мы с Лидой оба легко стихи запоминаем и потом вслух друг другу читаем. И какая-то светлая волна от этих стихов нам передаётся и нас просто оживляет, вверх устремляет от всего тоскливого и серого вокруг. И чего только он, Василий Николаевич, с нами не изучил и по программе и вне программы! Вот, скажем, классическая литература. Мы все, даже самые ленивые, рты пораскрывали, когда он нам несколько

ко уроков подряд «Слово о полку Игореве» наизусть читал, причём на древнерусском языке. И все-все слова по порядку объяснял. А потом – Державин, Пушкин, Лермонтов! Державинскую «Фелицу» заставил нас наизусть учить! Мы, конечно, ворчали, даже ругались, но ведь выучили!

Интересно всё же, а как он, Седой, в Байкит-то попал? Посёлок только в 1927 году создан. Скорее всего, он, любимый наш учитель, тоже из высланных. Но спрашивать об этом здесь не принято, так что пока мы ничего достоверного о многих местных людях, в том числе о наших учителях, не знаем. И вряд ли узнаем когда-нибудь.

Помимо литературы Василий Николаевич много чего и другого нам рассказывает. Ну, к примеру, о том, что не больно далеко (по сибирским масштабам) от здешних мест («всего-то» за несколько сот километров) ещё до революции упал знаменитый Тунгусский метеорит. Один эвенк (из байкитских) оказался тогда поблизости. Он жив, хотя ветхий старик уже. Василий Николаевич его расспрашивал, но тот молчит, как рыба. Только трясётся от страха, когда вспоминает об этом «духе-великане огненном»: глаза безумеют, закрываются, а сам в забытьё впадает...

Говорят, там, в районе падения метеорита, на сотни километров тайга повалена. Интересно, что же это всё-таки было? Может, марсиане прилетали, да у них космический корабль сломался? Ну, как в романе Герберта Уэллса. Поделится этими своими предположениями с Лидой, а она сказала, что я «просто глупый».

– Не надо придумывать всякую ерунду, – говорит, – когда можно всё объяснить более очевидными причинами. Скорее всего – это метеорит. Я ничего на это не ответил. Но про себя подумал:

– Так-то оно так... Да всё же, кто его наверняка-то знает!

Вообще-то у Лиды удивительная склонность к математике. Это у неё, скорее всего, от мамы. Она, Лида, всё, что учительница им в школе задаёт, как-то по-своему решает, другим путём. И в конце концов у неё всё правильно получается. Учительница, Мария Филипповна (по прозвищу Гипотенуза, высокая она и худая очень), хвалит её за самостоятельность. Я видел пару раз, как она Лиде объясняет:

– Вот так решай эту задачку!

А та возражает и делает всё опять по-своему. Гипотенуза ей вновь, не повышая голоса:

– Вот так – лучше!

Очень терпеливая она, всегда ласковая и добрая, никогда не кричит. Лида говорит:

– У меня от Марии Филипповны какое-то доброе чувство в груди!

А однажды мы к ней домой ходили за учебником по математике, она сама велела Лиде зайти. Живёт Гипотенуза в будочке, примерно такой же, как и у нас. Дверь хлипкая, а проём плотно какой-то старой шкурой (на медвежью похожей) завешен. Но в комнатке тепло-тепло: печка-«буржуйка» топится. Мария Филипповна морковным чаем нас напоила, она как-то по-особенному морковь сушит и заваривает. Действительно, очень добрая она!

Почти все учителя у нас хорошие. Вот только физик (у него кличка школьная – Монгол, похож очень: волосы смоляные, глаза – чёрные, узкие, раскосые). Он спирт выпивает, который ему для учебных опытов выдают. А ведь только один раз хоть какой-то опыт для нас устроил: «прямолинейное распространение света» называется. Выбрал

солнечный день, занавесил окна в классе, но в одной шторе оставил узкую щель. Затем достал несколько клочков мха, из того, что лежит между двойными оконными рамами, раздал эти клочки нам, мальчишкам, и велел:

— Закуривайте!

Ну, мы задымили вовсю. А в дыму стало видно, что луч света и в самом деле по прямой идёт. Вот и весь «опыт».

И ещё как-то не по душе нам историчка Елена Антоновна. Ей лет сорок уже. И какая-то она бессердечная, что ли (unherzig). И прозвище у неё соответствующее — Хаммурапи. Вот, например, рассказывает нам она про гибель царской семьи в Свердловске (тогда он Екатеринбургом назывался) и говорит:

— Их неизбежно надо было казнить. Всех, даже детей! Иначе война ещё дольше бы шла!

Мы, конечно, молчим все, никто не возражает. Но про себя многие, как и я, думают: «Как же это так, детей убивать?! Ради чего? Чтобы война короче была? Но ведь дети-то не повинны ни в чём!»

А ещё нам рассказали местные, что за пару лет до войны в Байките здание школьного интерната (для учеников-эвенков) ночью сгорело дотла, и много детей тогда в огне погибло. Мы и спросили об этом Елену Антоновну. И что же? Она заметно обозлилась, нехорошо как-то на нас посмотрела и пробормотала что-то вроде:

— Ох уж эти выселенные!

Думала, никто не услышит. А вслух нам объявила:

— Никакого пожара не было! Это всё злобные выдумки!

И все дела.

Или на днях вот. У нас урок истории. Сидим тихо, ждём Елену Антоновну, она почему-то опаздывает. Через несколько минут входит взволнованная какая-то. Даже указкой по столу громко треснула, когда Петька Чернышов на задней парте («камчатке») сумку свою на пол уронил. Мы вообще замерли, ой, что-то будет? А Хаммурапи вдруг начинает торжественно вещать, только носик её острый подрагивает:

— Ребята! Сегодня, в день рождения нашего великого вождя и учителя всего человечества товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, я вам расскажу про его туруханскую ссылку!

(Я про себя думаю: «А у нас разве тоже Туруханский район? Или Байкитский? Или другой какой? Не знаю, стыдно!»)

А Хаммурапи продолжает и ещё более торжественно:

— Борясь за счастье всего трудового народа, товарищ Сталин был сослан в наш Туруханский край. И какое же это счастье, что мы с вами тоже находимся здесь, в этом крае, где был лично сам великий вождь!

(Все ребята затаили дыхание. Даже самые озорные не хмыкают, боязно! И потом, ведь товарищ Сталин действительно наш великий вождь. Тут и разговора быть не может!)

— В начале 1914 года, — повествует нам Хаммурапи, — товарища Сталина вместе с товарищем Свердловым отправили в село Монастырское, что ниже по Енисею. Но царизм так боялся нашего великого вождя, что его сослала ещё дальше на север, в деревню Курейка. Зима там длится девять месяцев, не растут ни хлеб, ни овощи

(Опять про себя замечаю: «Ну, хлеб-то и у нас здесь, в Байките, не растёт. А зима как долго тут длится? Уж никак не меньше восьми-то месяцев, наверное. На уроке географии нам рассказали, что здесь, по

Тунгуске, как раз проходит южная граница вечной мерзлоты. Она, эта мерзлота, довольно глубоко в земле пролегает. Потому в этих краях можно даже картошку садить. Но всё равно, мерзлота никогда не тает, а значит, и землянки глубоко рыть нельзя, в лёд упруешься.)

А рассказ Елены Антоновны дальше течёт, ну как державинская ода, только в прозе, и в глазах у неё блестят слёзы умиления:

— В этой деревне наш вождь сам сделал все крючки и прочие снасти для рыбной ловли. И сам ловил рыбу в Енисее!

(Ну вот, наши мамы, оказывается, тоже, как и великий вождь, рыбу добывают. Только не для себя, а для Красной Армии, чтобы бойцов на фронте кормить. А ещё интересно, присматривал ли за товарищем Сталиным какой-нибудь там царский Боков? Но такие вопросы только при себе оставлять надо, иначе плохо может быть. И даже очень.)

Как-то быстро этот урок пролетел, и какое-то странное от него чувство осталось, будто с чем-то непонятым столкнулся. И неприятным...

Но всё равно, учиться в школе — это замечательно! Мне здесь всё нравится, даже медный колокольчик, с которым истопник ходит и звонит в коридоре: дзынь-дзынь, трень-брень! И все ребята высыплют с урока, куча-мала, галдёж оглушительный! И среди них мы, семиклассники, самые старшие и самые большие. Школа-то — семилетка, а мне уже пятнадцать лет совсем скоро будет, в январе.

На уроках русского языка Лиде приходится туговато. Но она справляется и не хуже многих русских ребят. Вот недавно у них, в пятом классе, контрольный диктант проводили. А многие же ребята как слышат, так и пишут. Так и соседка Лиды по парте, Анна, не зная, как два одинаковых слова написать с одним «н» или двойным (это суффикс такой), взяла и накарябала в первом случае одно «н», а в другом — два. Ох, и отругала же её учительница и пару поставила! Это вам не Василий Николаевич! А Лида всё правильно написала. Молодчина! Умница! «Усердье и труд всё перетрут» — про неё эта русская пословица.

* * *

Ладно, уроки кончились, идём по домам! Я тащу сразу две сумки: свою самодельную (мама из рогожи смастерила) и Лидину холщовую. Груз не тяжёлый. Ничего-то у нас нет — «голь перекатная». Да нам и не надо, лишь бы рядом быть! «Ага!» — согласно кивает мне Лида. И улыбается. Солнышко моё!

В Байките и библиотека есть поселковая. Мы с Лидой постоянно туда навещаемся. Я беру «Всадника без головы» Майн Рида, любимого своего Жюль Верна, а Лида — Виктора Гюго, Некрасова, Гоголя. И вот как-то библиотекарьша (а она тоже из высланных) сама предложила Лиде одну книжку, о финской войне. Ну, там про подвиги Красной Армии. Книжку эту какой-то наш офицер сочинил. Лида прочитала и спрашивает меня, что ей библиотекарьше-то сказать. Очень уж книжка такая — сомнительная, что ли... Я говорю: «Если сомневаешься — лучше ничего не говори!»

Пришли мы в библиотеку. Приняла библиотекарьша от Лиды книжку и спрашивает: «Ну как — понравилось?» А Лида молчит. Да твёрдо так! Тогда женщина (неглупая, видно) отвела глаза и в свою каморку за книжные шкафы удалилась. И мы ушли — не прощаясь.

* * *

Не обмануло меня предчувствие, когда самолёт-то прилетал: пришло письмо от Альбина, наконец-то! С Алтая переслали. Он, Алька, молодец: выжил-таки в лесном лагере! А вот папы больше нет, погиб! И словно какая-то струнка у меня в душе лопнула... Но я себе даже с Лидой горевать не разрешаю, не хочу этим ни с кем делиться! Да только слёзы всё же целыми днями в глазах стоят. Не думал, что они у меня так близко. А мама словно окаменела после известия о папе. Молчит, всё делает механически, на вопросы не отвечает...

* * *

Ну вот, пришла беда – отворяй ворота!.. Но обо всём по порядку. Итак, сидим вечером мы с мамой, печурку топим, болтушку из горстки муки в жестяной чашке варим. Вдруг распахивается дверь и вваливается в нашу будочку Боков. Собственной персоной, без стука, бесцеремонно, нагло. Огромный, в новом белом овчинном полушубке, в шикарных меховых унтах. Еле втиснулся в нашу каморку, всё в ней заслонил.

Мы, ясное дело, аж оторопели, напряглись, чего доброго от него ждать не приходится. Так оно и есть. Обвёл он нас своими глазами-буравчиками и говорит приказным тоном:

– Завтра с утречка надо всем вам, выселенцам, ехать дальше на север в факторию Ошарово!

Мама ещё больше побледнела и спрашивает:

– Зачем? Мы уже привыкли здесь.

– Это приказ! – пробурчал Боков. – Не обсуждается!

И вывалился из нашей будочки, дальше потопал.

А мы остались, как в воду ледяную опущенные. Декабрь ведь на дворе! Как ехать-то?! Для меня одно ясно, маму я не оставлю такую несчастную и безразличную ко всему! Даже думать об этом недопустимо! Но это значит, накрылась моя учёба: в Ошарове же только начальная школа. Ну и бог с ним со всем!

Побежал к Лиде. У них Боков тоже побывал уже. Всего же человек тридцать он повезёт завтра в северную факторию. Это плохо, хуже некуда! А Лидина мама – молодец! Она решительно так сказала Бокову:

– Свою младшую девочку я оставлю здесь, в интернате для эвенков!

Боков бубнит по-своему:

– Запрещаю! Категорически!

А Леонора Павловна – ему:

– По сталинской Конституции все дети имеют право на школьное образование!

На это у Бокова возражений не нашлось, против Сталина не попрёшь!

Так что Бенилда отправится утром в интернат. Ей там и раньше нравилось. Она особенно любит смотреть, как девочки-эвенки после школы серьёзным делом занимаются: бисером унты меховые вышивают часами напролёт! Теперь вот и сама попробует. Ну а мы все поедем завтра с утра на оленях и к чёрту на рога! Ехать не близко, больше 200 километров. По пути будем в охотничьих заимках ночевать. Среди нас немцы и латыши, женщины и дети. А мужчин в наших семьях давно уже нет. Опять вспомнил папу, и сердце дрогнуло... Но расслабляться нельзя: держи себя в руках, Пауль Клейн!

Созерцание-5: Как падает снег

Выйдешь иногда зимой на улицу и видишь: лёгкие снежинки скользят в воздухе, словно исполняют замысловатый танец, как балерины в Большом театре. Снежинки кружатся и вокруг своей оси, и вокруг земли, скользят по упругому воздуху то быстрее, то медленней. Иногда их даже лёгкими порывами ветра относит в сторону. Но они, так легко и свободно танцуя, всё же неуклонно и неизбежно приближаются к земле, к снежным сугробам, на которые (и это очевидно) им вовсе не хотелось бы садиться.

Вот и наша жизнь среди других людей: она – такой же нескончаемый от рождения до смерти танец. Сталкиваемся, отшатываемся... Относит нас ветром в сторону... Но, может, и в каждой судьбе людской такая же красота сокрыта, как в этом пути снежинки с небес – на землю?

А поразительная гармония идеальной шестигранной формы каждой снежинки! Стоит иногда лишь взять и дожидаться, когда такая снежинка упадёт тебе на ладонь, и посмотреть, как медленно-медленно проступают черты неземной и неспешной красоты при таянии этой небесной посланницы. Набухают, а затем исчезают все линии и углы. И вот на ладони остаётся лишь крохотная капелька воды вместо гордой и нежной красавицы...

А что же останется после нас? И на чьей ладони суждено всем нам приземлиться?

Wie ist das klein, womit wir ringen,
was mit uns ringt, wie ist das groß...
(«Как мелки с жизнью наши споры,
как крупно то, что против нас...»)

6. Ошарово

Поднялись рано. Часов у нас нет, так что время по луне определяем: ночь, утро и вечер. Светлого-то дня сейчас, в конце декабря, всего ничего.

Оленьи упряжки должны у школы стоять часам к девяти. Школа-то в низине, недалеко от реки. Вот мы по льду и поедем. Лучшей дороги, чем замёрзшая река, зимой в этих краях не придумаешь. Да и других вариантов нет никаких. Так мама говорит. Она за то время, что с местными женщинами в одной бригаде проработала, много чего уяснила от них про здешнее житьё-бытьё.

Я к Лиде сразу побежал. Они уже тоже на ногах, все вещички увязали. А Бенилда со своим узелком в интернат уходит, она ведь здесь остаётся. Лида мне тайком, смущаясь так, листочек в руку сунула:

– Почитай! Я стихотворение утром сегодня сочинила. Только вот на латышском оно. Но я специально для тебя на русский перевела. Правда, в спешке, кое-как.

Я глянул. Ух ты! Красотища-то какая! Ещё раз про себя уже в коридоре прочёл:

Тунгус на горé песню поёт.
Не пой, мне завтра в путь.

И лодка причалит там,
Где кровя для меня не будет.

Но не грусти:
Ведь луна на небе
Везде
Светит одинаково.

А листочек пахнет так приятно, как у нас, на Волге, полынь степная! Это от Лидиных рук, наверное, сухих и бледно-розовых. Говорю потом Лиде:

– Да это даже получше будет, чем у Некрасова!

Она смеётся. Но по всему видно, рада, что мне понравилось!

Прибежал назад. Притащили с мамой наши пожитки к школе. Там уже и олени упряжки появились. Всего набралось восемь санных упряжек. Холод ужасный, градусов 30, не меньше. А у нас только пальтишки худенькие. Хорошо, что мама где-то кусок брезента раздобыла, прикроемся хоть немножко. А вот у Леоноры Павловны и этого нет.

Явился Боков, распределил нас по возницам. К каждому лишь двоих. Больше нельзя, олени не потянут. И вот возница, к которому Лиду с мамой посадили, посмотрел, посмотрел на них и сказал что-то Леоноре Павловне. Она головой покачала: нет, мол. Он лишь укоризненно по бокам руками хлопнул. А потом снял себя верхний овчинный тулуп (у него их целых три надето) и набросил на Лиду. Хватило и Леоноре Павловне хотя бы до пояса укрыться. А у Лиды так вообще только нос наружу торчит. Мы тоже кое-как утеплились брезентом да тряпьем всяким. Ну и поехали...

Сначала мне очень холодно было. Но в упряжке же укачивает. И вдруг мне так тепло-хорошо стало: волны ласковые куда-то понесли, звончики в ушах запели. Очнулся и понять не могу, чего это мама тормозит меня:

– Не спи, сынок! Замёрзнешь ведь! И сам не заметишь как!

Остановили упряжку. На пару с возницей давай мне руки-ноги тереть. И вновь мне холодно стало. Но уже терпимо. Я приноровился: как бы внутри себя ворочаюсь, мышцы напрягаю, на остановках хожу-семеню-подпрыгиваю вокруг упряжки. Да и валенки всё-таки спасают: мама их и мне, и себе незадолго перед отъездом из Байкита на какие-то остатки наших вещей выменяла. Хоть старенькие, латаные и подшитые, да вот игодились. А без них мы без ног могли бы остаться! Запросто!

Сбегал к Лиде. Ничего, живёхонька! Под тулупом съёжилась и маму свою спрашивает:

– Почему же ты только ноги под тулуп спрятала?

А та отвечает:

– Да мне не холодно, доченька!

Ага, «не холодно»! Пальтишко-то на ней на рыбьем меху. Просто тулупа на двоих не хватает. А Лиду она жалеет. И бережёт пуще собственной жизни!

* * *

Кое-как добрались к вечеру до охотничьей заимки-избушки на берегу реки. Боков выбрался из саней и объявляет:

– На сегодня – баста! Здесь ночевать будем!

Мы и радёхоньки. Бросились в избушку. Там хорошо: пол и стены бревенчатые, печка. У потолка подвешены кусочек оленины и мешочек с крупой. На полу, у печки – сухие дрова и спички.

Мама с Леонорой Павловной сразу же печку затопили и пошли ещё дров напилить, чтобы после нас осталось и другим людям. Так здесь, в Сибири, принято, суровая жизнь научила. Кругу мы не тронули, а большой котелок снегом набили, воду оттаявшую вскипятили, оленины туда настругали. Выдали нам по куску мёрзлого хлеба. И пили мы мясной бульон, и закусывали его хлебом, и такое испытывали при этом блаженство, словами не выразить! На улице метель, а в избушке тепло стало. Все размякли...

И после ужина тётя Амалия (тоже из поволжских немцев, мама Адьки, моего приятеля в Байкитской школе), набравшись храбрости, вдруг обращается к Бокову. (А он сидит на топчане у печки, курит, глаза ослепели: водочки с собой прихватил и принял свою порцию.) Так вот, тётя Амалия и спрашивает:

– Скажите нам, пожалуйста, товарищ комендант, зачем нас всё-таки в Ошарово везут?

Боков встрепенулся, головой помотал, чтоб пьяную одурь отряхнуть, и отвечает (и надо сказать, по делу, в основном):

– Ну, ещё в начале нынешнего лета было принято решение Красноярского крайкома партии о создании колхозов из выселенцев в необжитых местах на крайнем Севере. Сам секретарь крайкома товарищ Черненко совещание по этому вопросу с нами проводил. Надо увеличивать заготовку сена и добычу рыбы для победоносной нашей Красной Армии. А тут места для этого самые благодатные, богатые. И вам, дуры вы нерусские, повезло, что вас в Ошарово, а не в Агапитово, скажем, или в какую другую приполярную тмутаракань посылают!

– А где оно, это Агапитово? – не унимается тётя Амалия.

– А это – остров на Енисее. У Полярного круга почти, – уже раздражается Боков. – Туда многих из вашего брата на баржах летом ещё сплывили. И жизнь там у них, откровенно скажу, далеко не сахарная. С вашей и сравнивать нечего. Так что, как говорится, держитесь за своё, делайте, что велено, и не чирикайте!

Снова молчим все. А Лида (мы, как всегда, рядышком устроились) мне на ухо шепчет (на полном серьёзе и тревожно так):

– Пауль, а медведи здесь водятся? Могут они на нас напасть?

Я улыбаюсь про себя, а сам-то ведь тоже об этом спрашивал у нашего старика-возницы. Он рассмеялся в ответ:

– Да ты что, парень? Они же все сейчас спят в берлогах своих. Бывают, правда, и шатуны, но это редко очень. Так что не бойсь!.. Хотя был случай позапрошлым летом, в июне, кажись, голодный медведь в Байкитскую школу забрёл. Дверь была открыта настежь, вот он и полюбопытствовал. Ну, для ребятишек-тунгусов этот зверь не в новинку. Зашумели они, загремели в тазы да вёдра. А что делать, ружья-то под рукой нету. Но мишка и без того испугался и дёру дал. Только его и видели!

Вот эту байку возницы я Лиде и пересказал. И вроде успокоилась она. Улеглись вповалку на полу избушки. И сразу отключились все, забылись мертвецким сном. А к утру метель стихла. Потеплее стало.

* * *

Ехали ещё три дня. Ночевали в таких же избушках-заимках. Наконец, прибыли в Ошарово. Боков объявляет: «Фактория Сталино. Будете здесь в клубе жить». Ну, в клубе так в клубе, не привыкать. А там – холодище! Сгрудились мы все полтора десятка человек в одной большой комнате, давай печку топить, углы свои обустраивать.

Меня назначили «главным истопником»: слежу за печкой, чтоб дрова возле неё не переводились. Заметил, жарче всего лиственница горит. Только пилить и колоть её замаешься. Это не дуб, конечно. Но откуда же здесь дубы-то возьмутся? Не выжить им при таких-то холодах да на вечной мерзлоте. Эх, на Волгу бы сейчас!

Спрашиваю маму:

– А почему нас по отдельным домам не селят? Есть же здесь такие, вон почти три десятка избушек в фактории.

А мама отвечает:

– Так нас ведь весной, в мае, наверное, дальше повезут, в какую-то Мирюгу. Потому и обустраиваться нам по-серьёзному не стоит!

* * *

Нас с мамой оформили пильщиками дров, они всем нужны, а нам за это хлеб по карточкам выдают. Да ещё мы и местным дрова пилим, а они с нами за это в основном картошкой расплачиваются. Словом, жить можно. Лида с Леонорой Павловной тем же занимаются. А остальных наших сожителей опять рыбаками занарядили в местную бригаду.

Живём мы в клубе общиной: одиннадцать немцев (большинство из Поволжья) и четверо латышей, точнее латышек. Питаемся из общего котла. И хотя Боков снова запретил нам пойманную рыбу есть, наши рыбаки как-то ухищряются приносить помаленьку то щучку, то сомика небольшого. Ясное дело, варится и поедается это только тайком.

Зима тянется медленно, как время в Библии. Дедушка покойный читал нам иногда в праздники по-немецки и понемногу. Там, в Библии, всё такое огромное, как и в русских былинах, между прочим. Вот и здесь, на южной границе вечной мерзлоты, время как-то истончается, что ли. А «видений» у меня почему-то больше нет никаких!

* * *

Как мы радовались все, когда в марте пришли известия о победе под Сталинградом! Газеты сюда раз в месяц привозят на оленьих упряжках. Вот так и победа к нам приехала!

У Бокова под началом, кроме нас, ещё один «колхоз для высланных». На озере Оморо. Там тоже рыбы много. Но добираться туда не близко, километров 200 будет. И он, Боков, частенько в этот «колхоз» выезжает. А когда нет начальства рядом, и нам полегче немного. Местные же («аборигены»! – вспомнил из Жюль Верна или Фенимора Купера) нам сочувствуют, жалеют даже. Здесь же только старики да женщины с маленькими детьми остались.

А когда известия про победу под Сталинградом пришли, Боков выдал всем нам «ударный паёк». Так и сказал: «В честь праздника!» Мы прямо глазам своим не поверили: на каждого по полкило муки, по 200 граммов сахара и по кусочку сливочного масла. Настоящего! Это же пир-

шество! Как все возрадовались, заулыбались! Оказывается, совсем не много нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым! Многие впервые за долгие месяцы поверили, что выживут. А надежда – она ведь любые стены и двери, даже каменные и чугунные, сокрушить может!

* * *

Белого дня тут, на Севере, даже в начале весны маловато, конечно. Но всё равно светлое время прибавляется потихоньку-помаленьку. А потом, когда снег сходить начал, принялись мы с Лидой в тайгу набегивать, корешки разные съедобные искать (местные этому нас научили), какие-то вытаявшие прошлогодние чёрные ягоды собирать, мягкие, но сладкушие! Наедались ими от пуза! А вот с собой их принести не получается, давятся прямо в руках, в кашу-кисель превращаются. Жалко, мамам их не попробовать! Ну да ничего, скоро уж и дикий лучок появится, и черемша, и другая съедобная зелень. Словом, переживовали, можно сказать!

Чувствую, внутри меня растёт что-то, в стенки руками упирается, жизнь вокруг как бы локтями раздвигает. Никто вокруг этого не замечает, даже мама. Она вся в работе да в заботах, как нам с голода не пропасть? Одна Лида иногда странно так на меня посматривает и странные вопросы задаёт:

– Каким нынче лето будет?.. Не знаешь, когда Бокова сменят?.. А ты на кого бы хотел учиться?.. Если бы у тебя власть была в стране, что бы ты сделал?

Ну, и всякое другое в том же роде. Теряюсь, не знаю, что и отвечать. Отговариваюсь наобум:

– Верить никому нельзя! И язык держать за зубами надо! Не то закатают и подальше Агапитова!.. А лето будет хорошее, выживем, хоть и с трудом!.. Когда власть получу, вот тогда и думать буду, что мне с ней делать!

И правда, насчёт лета у меня нет какого-то плохого предчувствия. Тут примета верная, когда опасность для жизни угрожает или недобрый человек близко, у меня волосы на затылке сильнее топорщатся и мурашки по коже бегают. Это не страх, это – предвидение. Между прочим, давно уже из слегка рыженькой стала моя шевелюра светло-золотистой. Даже седая прядка над ухом (память с Алтая) почти не заметна. Мама говорит:

– Совсем обрусел ты, сынок! Из почти шатена в настоящего блондина превратился!

Ну и что? Хорошо это или плохо? Спросил об этом Лиду. А она опять:

– Глупый ты, Пауль! Разве в этом дело!

Я ей:

– А в чем же?

А она мне:

– Подрастёшь – поймёшь!..

Вот ведь какая!

* * *

Я русские поговорки, пословицы, прибаутки по-прежнему ужас как люблю! Они, словно камушки драгоценные, речь украшают,

как бы расцвечивают её. И запоминаются легко, сами в голову заскакивают, стоит только разок услышать. И не забываются потом никогда и нипочём. А названия некоторых рек, сёл, деревень! Их же так сладко во рту перекачивать, словно камешек гальки, гладенький, ласковый!

*Созерцание-б:
Как плывут облака*

Растянешься плашмя на стерне в редкий перерыв напряжённого сенокосного дня, короткие жёсткие былинки скошенной травы покалывают тебе спину, ноги, затылок... А в ясный летний день высоко в ослепительно голубом небе плывут куда-то над тобой облака: белые, кудрявые, добрые, нарядные, словно праздничные ватрушки! И какое разнообразие форм: вот дракон, а это лягушка, а дальше – причудливая рыбка! Но у тебя нет никаких мыслей в голове. И полный покой для натруженного тела. Улетаешь душой туда, в высоту. И прилепляется она, душа твоя, к этим курчавым небесным тихоходам, и освобождается от земного гнёта, словно цепи с неё спадают.

И так спокойно, радостно и привольно жить становится. И ничего тебе не надо. И дыхание выравнивается. И даже сердце начинает биться медленнее, спокойнее, ровнее, в полной гармонии с этой осеняющей тебя небесной красотой...

Ничего лучше и прекраснее человеку не создать никогда и нигде, ни в живописи, ни в музыке, ни в любом другом искусстве. Но как же славно это – очистить дух свой от всего наносного, мелкого, жалкого, рванувшись вслед за облаками!

Вот тогда-то тяга к искусству в душе и рождается! Вот тогда-то ты и начинаешь становиться художником, писателем или музыкантом, порой сам того не осознавая.

7. Фактория (Мирюг)

Вот и май нагрел и быстро вперёд покатился. Начальник наш куда-то укатил. «Травка зеленеет, солнышко блестит», и жить вроде повеселее стало. Как дядя Андрей – Рыбак – присказывать любит: «Кот из дома – мыши в пляс!» Но вот все это разом заканчивается. Вваливается вечером в наш клуб-общезитие всё тот же невесть откуда взявшийся Боков и объявляет:

– Всё, собирайтесь! Завтра с утречка в Мирюгу отправляетесь. И я с вами поеду!

Для нас эта новость как гром среди ясного неба, будто голой рукой по ране открытой провели. Молчат все, тоскуют. Но деваться-то некуда: за неподчинение приказу могут (опять дядю Андрея вспомнил) и «на цугундер загрести», то есть в лагерь посадить. Хотя, может, в лагере-то оно и не хуже будет, чем здесь, там, по крайней мере, кормёжка обеспечена. А здесь мы, словно звери бездомные, которых «ноги кормят», и что из этого получается, никого не волнует.

Две местные женщины к нам зашли, тётя Маша и тётя Ксения, мы с мамой несколько раз для них дрова пилили. Поговорили душевно о жизни, о войне. У обеих мужья-то на фронте погибли, а ребятёнки еще совсем маленькие .

Смотрят они жалостливо на нас. Передали нам семена капустные, чтоб мы в Мирюге их посадили. А тётя Маша сказала, что срежет ещё и картофельные головки с ростками, тоже нам на посадку. Мама ей:

– Так давайте я к вам пойду, помогу?

Тётя Маша руками замахала:

– Да что ты, Катерина?! Собирайся уж сама тут!.. Ох, господи, и как же вы, бедненькие, жить-то там будете!

А немного погодя Маша и Ксения принесли нам чуть ли не полведра картофельных ростков, на целое поле хватит!

.....

Утром снова, как уже не раз, загрузили мы своим барахлом большую лодку-«илимку». Её лошадь вверх по течению потащила. А мы бредем рядом по берегу, вдоль реки. Добираться (да ещё таким тихоходом) не близко, километров 80, говорят.

* * *

Доплелись лишь на третий день. Тут, в Мирюге, в общем-то, и фактории никакой нет, только название громкое. Одна изба стоит основательная, рубленая, да сарай-склад с пристроем на высоких сваях для хранения продуктов и хозяйственного инвентаря. Вот и вся «фактория». В избе раньше одинокий рыбак жил, но недавно умер. Из местных осталась одна женщина, она складом заведует и в пристройке к нему обитает. Понятно, что ни магазина тут, ни ларька, никаких других благоустройств нету.

Боков разместился, было, в рыбацкой избе, но вскоре же уехал куда-то по своим делам. А нам приказал землянки рыть. Как, спрашивается? Тут же до вечной мерзлоты метра два всего. Но в ответ на все наши вопросы Боков лишь рукой махнул:

– Разберётесь, не первый год замужем-то поди!

Ну что, ничего тут не попишешь. До царя далеко, до Бога высоко, а зима – она не пожалеет. Как говорится, думай не думай, а жить как-то надо. Принялись мы за дело. Вначале вырыли яму под землянку для Лиды с Леонорой Павловной, потом для нас. Я быстренько, но аккуратно жердей в тайге и лапника нарубил. В ямы опоры поставили, перекрыли сверху, на каркас еловые ветки плотно уложили, что-то вроде утепленного шалаша получилось. Внутри, правда, холодновато, промозгло даже. Как непогоду здесь переносить будем? А, не приведи Господь, заморозки? Представить страшно!

Хлёба нам больше не выдают, карточек в Мирюге на него и на всё другое нет. Вместо хлеба получаем со склада ежедневно, на каждую семью по горсточке муки, больше похожей на отруби. Варим из неё жидкую кашу-похлёбку, этим и питаемся. Ну, ещё тайга выручает, собираем в ней грибы, ягоды, дикий лук, черемшу, саранку (это цветок такой, лесная лилия, у неё луковички съедобные) и всё такое, что в пищу годится. Середина лета всё-таки, зелени всякой навалом.

Хватает и лебеды вокруг, ешь, сколько захочешь! Огород возле дома покойного охотника весь этой лебедой зарос, джунгли настоящие. Мы поделили эту «плантацию» между всеми «выселенцами» на равные участки, собираем с них «урожай» и добавляем лебеду (а иногда и щавель, и крапива там попадают) в мучную кашу. Горьковато, но есть можно. «И витаминов в достатке», – успокаивает меня Лида.

А я натрамбуюсь этой похлёбки и сразу ложусь на землю, чтобы на желудок меньше давило. Но когда тяжесть уходит, тут же возвращается чувство голода. Замкнутый круг. Я прошу маму:

— Ну хоть иногда, раз в неделю свари кашу из одной муки, без лебеды этой противной!

— Нельзя, сынок! — отвечает. — А что потом есть будем?

От саранки в желудке не давит, но она не так часто встречается, да и мы её всю быстренько по всей округе истребили.

Капусту посадили. Но Леонора Павловна головой качает удручённо:

— Поздновато уже, до заморозков только одни листья вырасти успеют. Так оно, похоже, и будет. И с картошкой та же самая история.

Основная работа летом у нас здесь немудрящая и не очень тяжёлая: траву косим литовками, сушим, сгребаем, скирдуюм и на плотях, которые сами же и сбиваем из брёвен, что на берегу заранее заготовлены, сплавляем вниз по реке в Байкит. Иногда ещё и рыбу ловим, хотя у нас для этого и снастей настоящих нет. Вот и получается то густо, а то пусто.

Не обходится и без приключений. На днях Лида тут так визжала! Первый раз в жизни такой крик слышал, а уж от неё-то вообще не ожидал: она же всегда такая сдержанная, вдумчиво-тактичная, предусмотрительная. А тут идём мы с ней по тайге, и вдруг вижу: на замшелой кочке как бы ремешок лежит блестящий, колечком свёрнутый. Я даже вперёд шатнулся, подобрать же надо, вещь-то хорошая! А из этого ремешка-колечка — на тебе! — треугольная головка поднимается да как зашипит на нас! Я сперва остоленел, а Лида вот тут и завизжала. Схватил я её за руку и бегом в обратную сторону из тайги, куда подальше. Долго она, бедная моя Лида, после этого в себя прийти не могла.

Удивительно, между прочим, в Байките змей не было видно вообще. А здесь, в Мирюгё, они чуть ли не на каждом шагу. И ненамного ведь южнее-то, но, видимо, разница всё же есть. А вот лягушек и в этих местах не водится. Жаль. Можно было бы ловить их и есть. Говорят, на курятину похоже. А что, французы же едят, и у них лягушатина даже как деликатес почитается. Сказал об этом Лиде. Она в своём репертуаре:

— И правильно французы делают. Любое мясо — кладёшь белков. Они очень полезны, а в нашем возрасте особенно!

А я думаю про себя: «Эх, ножку бы куриную сейчас да с тушёными картошечкой и капусткой, ну, как бабушка покойная готовила!...» Да-а... «Мечты, мечты, где ваша сладость?»

* * *

Заливные луга здесь, в Мирюгё, красивые, загляденье просто. И охотничьи угодья богатые. Не на пустом же месте эвенки на всю страну прославились как знатные добытчики пушнины прежде всего. А у нас и ружей-то нет. И собак тоже. Да и местных псов всех давно уже медведи задрали, так тётка Августа, завскладом, сама тоже из выселенных, бывших кулаков, нам сказала. Можно было бы, конечно, попробовать силками и капканами на птичек да разных там мелких зверушек поохотиться. Многие из местных так и делают. Но для этого нужны знания особые, умение и снасти. А у нас нету ни первого, ни второго, ни третьего. Ну, смастерили мы с Лидой две самые примитивные удочки, ловим на них пескарей и прочую мелочь. Но ничего более солидного

поймать не получается, голыми руками приличную рыбу не возьмёшь. Да и с крючками плохо, оборвешь один — второго найти негде.

Ещё мы с Лидой любим на один ближний каменный утёс ходить, совсем от Мирюгё недалеко. Его особое отличие — курумник: так местные называют осыпь на склоне горы, где не растёт ничего. А вокруг этого курумника грибов видимо-невидимо. И чёрной смородины. Это уже у подножья на самом берегу реки. Да и всякие другие съедобные листы-корешки попадают сплошь и рядом. Жаль вот только, морошка ещё не поспела, это для меня любимое здешнее лакомство. Как и для Лиды, между прочим.

Мирюга-то с языка эвенков — это спокойная излучина реки. Богатый язык! Мы только бедные.

* * *

Лето идёт себе да катится. Уже под уклон. И ура! Морошка поспела. Ух, и поедим же мы тебя, сладость ты наша оранжевая!

А мы работаем и работаем, плоты с сеном в Байкит отправляем. Рыбы мало ловим, да и недосуг, надо ведь все луга здешние выкосить, а этого «удовольствия» до белых мух нам хватит и ещё Деду Морозу останется.

Вечерами сидим на чурбачках возле своих землянок. Подмели во-круг, сделали что-то вроде площадки для отдыха. От комаров и мошки веточками отмахиваемся. Костерок небольшой разводим с наветренной стороны, дымок от него хоть немного гнусь таёжную отгоняет. Чаще молчим, но иногда и рассуждаем о том о сём. Сегодня мама и говорит:

— Лету скоро конец. А в холода мы тут не выживем. Давай, Леонора, отправим детей в Байкит, в интернат, а сами к эвенкам убежим! Я знаю, где у них стоянка.

Леонора Павловна сомневается:

— На одной ложке муки нам, конечно, не продержаться. Да и шалаш от дождей и морозов не спасёт... Но ведь поймают нас и в лагерь отправят! И что тогда с детьми будет?

Мама не отступает:

— Так здесь-то мы всё равно погибнем. Вон ещё одного нашего вчера похоронили, Виктора Коха, он же твоей Лиде ровесник. И какой вроде крепкий был паренёк, а сгорел мгновенно, дизентерия, похоже.

Стали дальше рассуждать, выдадут их эвенки властям или дадут возможность в обмен за работу в стойбище перезимовать? Сошлись на том, что, скорее всего, не выдадут. Теперь надо обговорить, что же конкретно с нами, детьми то есть, делать? Надумали у Бокова разрешения просить, чтобы нас на попутном плоту-сеновозе в Байкит отправили. Мама настроена решительно:

— Мы ему ещё раз строчки из сталинской Конституции напомним о праве детей на школьное образование. Пусть наизусть запомнит!

Тут на Бокова разговор перешёл. Леонора Павловна вопросом задалась:

— И откуда только он, Боков, водку и спирт берёт? Ведь каждый божий день навеселе ходит! И наши, и местные шушукаются, что он продукты, которые ему на нас выдают, на выпивку меняет у эвенков и в других факториях.

— Ну, не знаю, — мама ей отвечает. — Хотя всё может быть, уж чем-чем другим, а заботой о нас его голова явно не страдает.

Вроде, на время и позабылся тот разговор. Но август на исходе, надо что-то предпринимать, иначе поздно будет. И на очередном «большом семейном совете» решаем твёрдо и бесповоротно: завтра наши мамы идут к Бокову и ставят перед ним «вопрос ребром»!

Созерцание-7: Как светит солнце

Мне так нравится степное солнце! И особенно весной и осенью. Тогда оно тёплое, дружелюбное, даже ласковое. Летом оно другое: палящее, знойное, нестерпимое. А уж когда погонит ветер из степи раскалённый воздух, просто дышать нечем.

Там, в степном Поволжье, солнце – хозяин жизни. А вот в Сибири – только гость. Хоть и греет оно здесь иногда летом, но это так, не всерьёз, как бы понарошку. То дожди с тучами всё нахлещут от одной линии горизонта до другой. То холод нагрянет... А затуманенное зимнее солнышко, оно здесь как «волчье светило», то есть словно луна: светит да не греет. И всё равно ждёшь его, родимого! Хоть какого! Любого! Ведь оно, негасимое, нам жизнь-то и даёт! И пропитание – травки-корешки на лугах, грибы-ягоды в лесах, всё прочее, что на земле произрастает, от него! Да и мозги наши от его лучей просветляются и очищаются!

Солнце заряжает нас энергией. Истина всем известная и неоспоримая. А вот что оно взамен берёт? Этого мы не знаем. Да и знать нам не надо!

Есть такие люди, совершенно особые по сути своей. Их называют «солнечными». Я в своей жизни подобных людей встречал, хотя совсем-совсем немного, раз-два – и обчёлся. Но как же они всем нам, обыкновенным, смертным, нужны в этой жизни! Я бы сказал, это – как глоток воздуха в удушье. Они способны полумёртвых поднять с одра безнадежной болезни, разувверившимся Свет небесный вернуть.

А как это здорово отдавать, а не брать, согревать своим искусством, теплом души, горением сердца эту нашу такую холодную, мёрзлую, тусклую жизнь!

В сущности-то и нет в мире для нас, людей, других вечных ценностей, кроме природы, детей и искусства.

8. Дорога в школу

А ранним утром мама и Леонора Павловна уже стояли у «резиденции» Бокова, ждали, когда он выйдет. Нам с Лидой издалека, от землянки нашей, всё видно, только слышно плохо, урывками. Вот мама, склонив голову, спокойно, но твёрдо что-то говорит Бокову. Тот сначала с изумлением смотрит на маму, а потом трясёт своей головой. Надо понимать, нет, – говорит, – ни в коем случае! Тут Леонора Павловна умоляюще поднимает руки к небу и тоже обращается к Бокову. Мама поддерживает её. Боков долго молчит, затем раздражённо рывкает что-то и машет рукой. Разговор окончен...

Мы ждём возвращения мам, сидя у землянки на чурбачках. Вот они подходят, взволнованные до крайности, но довольные. Замечаю, у мамы голубая жилка на виске бьётся от переживания.

– Разрешил! – отвечает она на наши с Лидой немые вопросы.

– И как же вы его уговорили? – всё-таки спрашивает Лида.

– Да всё очень просто, – поясняет нам Леонора Павловна. – Мы ещё вчера от Августы узнали, что нам за работу продукты выделяют, а Боков их на водку меняет. Так он, видно, понял, что мы, как говорится, в курсе и можем, в случае чего, сообщить куда следует. За свою шкуру боится, на фронт-то ох как не хочется, из глубокого тыла да с хлебного местечка!

Мама дополняет:

– Завтра большой плот с огромным стогом сена в Байкит сплавляется. Поведут его наши мужики, немцы-спецпоселенцы Николай и Теодор. Вот с ними вас в школу и отправим. А сейчас за работу, надо к вечеру успеть на этот плот сено сметать и примять хорошенько!

Через минуту мы уже на берегу. Николай попросил сторожары окорить для скирды на плоту. Сидим с Лидой, жерди обтёсываем, а между делом происшедшее и предстоящее обсуждаем. В общем-то, всё пока удачно складывается. Только Лида за маму свою беспокоится, даже боится:

– Как же они до Куюмбы, до стойбища эвенков пройдут? Это ведь двести километров! А что они есть будут? Да и замёрзнут, ночи-то уже вон какие холодные!

Я пытаюсь успокоить её:

– Ну, мамы же с эвенками обо всём договорились. Те недалеко отсюда промышляют и всегда в это время на окраину Куюмбы с охоты возвращаются. У них там дом пустой есть. Но они ярангу свою рядом с ним ставят. Говорят, что не могут в избе жить, не спится им в ней, воздуха мало, задыхаются. Вот мамы и будут в этом доме зимовать и эвенкам во всех работах помогать. Эвенки же и рыбу ловят, и зверей добывают, не голодают. Ну и наши мамы рядом с ними прокормятся как-нибудь, уж никак не хуже, чем здесь-то, по крайней мере.

Но Лида – трусиха такая! – всё равно переживает:

– А если власти узнают? Что тогда будет?!

– Да не паникуй ты! – говорю, хотя что там лукавить, и у самого кошки на душе скребут. – Зима-то ох какая длинная, и всё враз перемениться может. А сейчас главная наша задача – выжить, иначе нам канты, как дядька Андрей говорит.

Вроде убедил я Лиду, и мы более конкретные вещи обсуждать принялись: как поплывём завтра, что из вещей с собой надо взять, примут ли нас в школе в те же классы, откуда мы на «трудовые каникулы» ушли, поселят ли в интернат? Последнее особенно важно, там ведь кормят, худо-бедно, но всё-таки регулярно. А потом решили, чего там голову зря ломать? Да будь что будет, утро вечера мудренее!

* * *

А вот и утро пришло. Тучи низкие, туман. Комарья, мошки – не продохнуть! Ветра-то нет. Разместились мы вчетвером на плоту и в путь! Мамы остались на берегу. Платочками не машут за отсутствием таковых, обносились до крайности. Вот и на Лиде холщовая юбка, порванная до середины, коленки просвечивают. Я стыдливо глаза отвожу, когда она, Лида, вдруг резко вскакивает или поворачивается. Но всё равно тянет посмотреть, приятно ведь! И Лида меня всякий раз, если заметит эти «подглядки», или кулачком тычет, или за волосы треплет, чтоб «глаза не пилил»! А вихры-то у меня длинные отросли, чисто

как у русского попа. Ну, ничего, подстригу их в Байките под «нулёвку», там, в интернате, машинка специальная есть.

По смене одежды (что почище) и по паре обуви (поприличней), а также документы свои мы в узелки увязали и поглубже под сено запи-хали, чтоб дождём не замочило.

А плот плывёт себе и плывёт, в основном лениво, но местами там, где стрежь, побыстрее. Река-то широченная, от берега до берега где километр, а где даже и два будет. Вода чистая-чистая. Но мелей, порогов и скал подводных много. Местами торчат посреди реки, словно кривые зубы какого-то огромного чудовища.

Николай с Теодором рулят плотом по очереди, веслом направляют его по безопасному руслу. Они уже не раз этим маршрутом ходили. Поэтому знают, что к чему, и постоянно настороже. Оба тоже немцы, только откуда-то с Украины, из раскулаченных ещё десять лет назад. Так что они – так называемые «местные спецпоселенцы», постоянно прописаны в Кулумбе, но плавают как плотогонцы по всей Подкаменной Тунгуске. На реке ориентируются, как у себя в доме. Может быть, поэтому их и в трудармию не забрали. Хотя им всего-то лет под сорок, крепкие, кряжистые мужики. Правда, и они порядком измождены, жизнь-то и у них не сахар. Но не доходяги, работать ещё вполне могут. Не то что наши мамы. Бедные, как-то у них там? Всё ли так, как задумывали?

* * *

Тайга вокруг глухая, первозданная. Из деревьев преобладает лиственница. Встречаются и большие заливные поляны, вокруг них густые заросли кустарников, кое-где и родные сердцу берёзки проглядывают. А смородины прорастают сколько – и чёрной, и красной. И откуда она здесь берётся в таком-то изобилии? По берегам скалы и осыпи, вдали горы возвышаются. Красота, покой!

Ближе к обеду достали мужики из своих берестяных заплечных кузовков-рюкзачков пластинки вяленой щуки. С нами поделились. Мы с Лидой уплетаем за обе щеки. Рыба здесь, в Сибири, вообще вкусная. Аппетитнее даже, чем на Волге. А может, это нам просто с голодухи так кажется?

Сток на плоту огромный, почти всё место занимает. Протискиваемся по краям вплотную к сну и осторожно, чтоб в воду не свалиться. Боковины у стога отвесные, вверх не забраться. Постарались мы, сложили на совесть. А брёвна, из которых плот сбит, на дрова в Байките пойдут. Только пилить и колоть эти брёвна сразу же надо, как только из воды их вытащат. Если они хотя бы с месяц полежат, то запарятся внутри, как бы окаменеют. Тогда с ними помучишься до седьмого пота. Уж я-то знаю, столько этих дров за последний год переколол!

А вот колуны здесь отличные: и по весу, и по форме. Разделять ими свеженапиленные чурбаки одно удовольствие! При хорошей кормёжке, разумеется. А на голодное брюхо даже самым хорошим топори-ком долго-то не намашешься.

* * *

На ночь к берегу пристали. В темноте плыть не годится. Местами вода просто кипятком бурлит. Можно и на пороги угодить, и на мель

сесть. И куда в таком разе деваться? Так что, как говорится, тише едешь – дальше будешь.

Берег на повороте реки как-то причудливо изрезан. Развели мы костерок у самой кромки воды, дальше нельзя, там одни камни гранитные да валуны большущие. Сидим у костра, разнежились. И закат такой роскошный! И горная гряда вдали чернеет, вид просто сказочный. Как там у Гёте? Мы ещё в Варенбургской школе учили:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

А как чудесно Лермонтов перевёл! Это уже Василий Николаевич нам читал и объяснял:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Да! И вот она передо мною – воплощённая природой красота! Река – она ведь как жизнь: мощно так воды свои катит, веет на нас и силищей, и лаской одновременно. Только сила-то у неё опасная, страшноватая. Слышно нам, как река на берег волнами поплёскивает, где-то у буруна ворчит, у какой-то скалы с шёпотом поворачивается. Словом, тёмная это мощь, вода, но живая же!

«Как Даугава!» – вздыхает Лида. Не знаю, я там не бывал. Но Лиде можно верить. Она никогда не врёт. А вот интересно, почему? Очень мне хотелось бы это знать!

Теодор на ночь морды поставил. Это такие плетёные корзины, чтобы рыбу в них ловить. Она в них-то зайти зайдёт, а выбраться не сможет. «Будем завтра с ушицей!» – обещает Теодор. Ладно: поживём – увидим! Надо бы ещё и смородины подсобрать для чая. Жаль, морошки поблизости нет, так что опять останусь без любимого лакомства. А вот грибов и здесь навалом. Но они поднадоели уже, в последний месяц в Мирюгэ только ими и питались три раза в день. Можно ещё и саранки, луковицы дикой лилии, в костре запечь. Домашняя-то лилия несъедобная, а саранка эта – очень даже ничего на вкус. В Байките дикая лилия уже не растёт, а тут всё-таки южнее немного.

Холодно, мурашки пробирают, поёживаюсь... И не оставляют мысли, а как там наши мамы? Укладываемся. Ложимся с Лидой рядом на толстый слой еловых веток. Их здесь лапами называют. Шушукаемся. Лида шепчет:

– Боков сегодня должен на озеро Оморо уехать. И мамы завтра утром уйдут из Мирюгэ по берегу реки, чтобы в тайге не заблудиться.

– Так-то оно так! – отвечаю я. – Но до Куюмбы ведь недели две ходу, в лучшем случае дней десять. Что же они есть-то в дороге будут?!

А Лида, как всегда, больше моего знает и успокаивает:

– Ну, им тётя Августа обещала дать муки немного и коробок спичек. Потом будут грибы-ягоды в тайге собирать.

– А вдруг эвенки их не примут? – вновь сомневаюсь я. На что Лида, подумав, возражает:

– Нет, этого не может быть! Они, эвенки, от своего слова никогда не отказываются!

Мне больше возражать нечем. Да и не хочется.

– Ну и хорошо! – говорю. – Спать пора!

– Пора! – соглашается Лида. На том и засыпаем...

* * *

С утра туман над рекой. Лишь часам к десяти прояснилось немного. Тогда на воду и встали. Навалились все вместе и оттолкнули плот от берега. До этого похлебали всласть Теодоровой ушицы (знатная получилась!) и попили всласть чайку со смородиной, хорошо! А плыть нам ещё неделю. Или даже поболее, как с погодой повезёт.

Время течёт, как песок сквозь пальцы. Плывём уже несколько дней. Скоро придём в Таимбу. А оттуда до Байкита ещё километров 130 пути.

День, река, плеск волн, тихое шуршание плота по воде. А хорошо бы забраться на стог и сверху на всё посмотреть! Но это невозможно, боковины скирды идеально вертикальные, твёрдые и ровные. Свалишься в воду, и все дела. Да уж постарались мы, загляденые просто! И получается по пословице: близок локоть, да не укусишь!

Лида мурлычет какую-то песенку себе под нос и по-латышски. А я расспрашиваю Николая и Теодора об их жизни прежней и настоящей. Интересно же! Говорим по-немецки, так всем удобнее. Обычно мы, немцы, при посторонних стесняемся «шпрехатъ», а в последние годы тем более. Обзовут разок-другой фашистами, и заткнёшься. Наглухо!

Чувствую, начал кое-что из родного-то языка подзабывать. Ловлю себя и на том, что всё чаще даже думаю по-русски. Конечно, память возвращается, если тренировать её регулярно. Да вот, если честно сказать, как-то уж и не хочется очень-то. И с Николаем и Теодором серьёзного разговора о жизни не получается. Они от всех моих вопросов, ну там про Украину, раскулачивание, высылку, в сторону уходят, шутками-прибаутками отделиваются да подтрунивают надо мной, на Лиду всё намекают. Я не обижаюсь, понятное дело, мужики они тёртые, битые-перебитые и с первым встречным откровенничать, душу перед ним распахивать не будут. Поэтому и болтаем о разных пустяках, трещим, чтобы просто время убить.

* * *

Вот так и плывём. Ближе к одному берегу. И всё вроде хорошо. Но вдруг толчок! Резкий. Мы все чуть с ног не попадали. Ладно ещё, что Лида сидит спиной к стогу! Тут и наши плотовщики давай ругаться-препираться друг с другом на всех языках, какие только знают. Короче, сели мы на мель огромную, мощную! Хорошо сели, прочно!

И как же они, такие опытные лоцманы, эту мель не заметили?! Да что теперь разбираться, после драки кулаками не машут. Пробуем со всех

сторон шестами наш «тихоход» сдвинуть. Да куда там! Плот со своим огромным стогом как слоновья туша: стоит недвижимо, намертво.

Что же делать? Течение в сторону берега быстрое, вплавь не добратся. Впереди водовороты: утащат и утопят запросто. Посидели, покумекали, обшарили всё вокруг, нашли остатки каких-то толстых досок, топором вытесанных (пилорамы-то в Мирюгё нет), несколько жердей, связали их в маленький плотик. А дальше что?! Вода плещется, день уже к вечеру клонится. Туман поднимается. А река будто вздыхает, сочувствует нашей беде, даже дышит тяжело-как-то, не то что утром.

Решаем, плотик четверых не выдержит, значит, надо на нём к берегу с двумя лучшими шестами добираться Николаю с Теодором. Они покрепче нас с Лидой и местность знают. А мы их тут ждать будем. По берегу до Куюмбы отсюда километров восемь, а до Байкита больше сотни. К ночи мужики уж до Куюмбы-то наверняка доберутся, доложат обо всём куда нужно, а потом вернутся за нами, с подмогой.

На том и договорились. И по-другому тут быть не может, нам с Лидой на таком дохлом плотике из этого водоворота шестами всё равно не вытолкаться. Конечно, одним нам не сладко придётся, но что поделаешь?

Лида говорит мне тихо-тихо:

– Давай, Пауль, помолимся!

Я отнекиваюсь, не умею, мол, не знаю! А она мне:

– Да это же очень просто! Повторяй за мной: «Господи наш Боже! Святой и Бессмертный! Прости и помилуй нас, грешных! И да пребудет на всё Всеблагая Воля Твоя!»

Я повторяю, но по-русски почему-то не могу, перехожу на немецкий:

– O Herr, mein Gott! Heilig und Unsterblich! Vergeben und habe Erbarmen mit uns Sündern! Und sein auf Deinem Heiligen Willen alle!

И Лида вновь шепчет, но уже тоже по-своему, по-латышски:

– Ak, Kungs, mans Dievs! Svēts un nemirstīgs! Piedot un apžēlojies par mums, grēciniekem! Un būt uz tava Svētā Gribas Visu!

* * *

Уселись мы с Лидой рядышком, к стогу вплотную прижались, руками колени обхватили, смотрим. Мужики тоже не железные, понятно, опасаются, хоть и вида не показывают. Подстраховываются, тщательно верёвки вяжут, шесты крепят, чтоб не выронить. Но вот встали на плотик, резко оттолкнулись и к берегу погребли. В одном месте Николай чуть-чуть шест не утопил, в омут им ткнул, а дна-то нет! Хорошо, что шест к руке привязан! А то сгнули бы они оба за милую душу. Наконец, причалили! Gott sei Dank! (Слава Тебе, Господи!)

Я вытер со лба выступивший было пот, а Лида губы облизала (какие они у неё сухие, розовые!) и рот закрыла. Не игрушки ведь, дело нешуточное, судьба решается, жить нам или нет? Но видим, наши плотовщики смотали канаты-верёвки, перекинули эти мотки себе на плечи, помахали нам и скрылись за поворотом реки. Боже милостивый, даруй им удачу! Спаси их и сохрани!

* * *

И стали мы с Лидой ждать своих спасителей и подмогу. Картинка называется: «Ждём у моря погоды». А еды-то у нас никакой: «торическое» пустота, как физик Монгол в Байкитской школе говорил.

– Ничего! – пытаюсь я бодриться и Лиду поддержать хоть морально. – Сейчас уже вечер, а завтра с утра наши мужики в посёлке начальство найдут, и те нам помощь пришлют!

Лида сначала согласно головой кивает, но потом спрашивает:

– А если начальство не пошлёт никого? Какое ему дело до нас, чужих?!

– Да ты что?! – наигранно возмущаюсь я. – Ну, может, на нас-то им и вправду наплевать, но сено, такой огромный запас корма для скота, никто терять не захочет! Это уж точно!

И ласково тугую боковину скирды похлопываю. А сам-то думаю: «В чём-то права Лида! Нужны мы этому начальству как бельмо на глазу: других забот хватает, а тут какие-то малолетки-выселенцы. Да пропади они пропадом! Выживут, если на роду написано, а не выживут – так не судьба, значит, не первые и не последние». Хотя сибиряки, в большинстве своём, люди отзывчивые, добросердечные.

Ну да ладно, слезами горю не поможешь! Отрыли мы в низу стога большую норку, забрались туда с ногами, улеглись. А Лида от меня досочкой маленькой отгородилась.

– В мою каюту – не ходить! – говорит.

Я улыбаюсь, на всё согласен – лишь бы вместе!

* * *

Переночевали славно! Даже мошкарё меньше доставало. Пробудились уже поздненько. Туман ещё клочьями висит, но скоро, похоже, рассеется. Во все глаза на берег глядим: пусто, никого! Давай умываться, я на одной стороне стога, Лида – на другой. Немножко повеселели. Водички попили. Её вокруг много течёт, даже с избытком...

А вода в Тунгуске чистая-чистая, светлая-светлая! Как будто откуда-то сверху, с горных ледников. Да может, так оно и есть? Неподальку с горной стороны какой-то проток в большую реку впадает, вот он-то прямо к нам и течёт прозрачной своей струёй.

На реке да в одиночестве думается хорошо и обо всём. Ну, например, для чего люди живут? Я маму недавно об этом спросил. Она мне, подумав немного, ответила: «А для того, сынок, чтобы жить!» И ничего лучшего я на сей счёт сам придумать не смог. И не смогу уже, наверное. Ну вот, скажем, если мы тут, на реке, сгинем, что в мире-то изменится? Да ничего!.. Но мы не сгинем! Чёрта лысого! Мне уже столько видений про наше будущее явилось! И все они просто бред, что ли?! А вот фиг вам! Всё сбудется! И всё у нас будет хорошо! И никак не иначе!

* * *

Сидим мы с Лидой, на берег в направлении к Куюмбе поглядываем. Сено спинами уминаем, чтобы не так кололось. Болтаем о разных разностях, про детство своё вспоминаем.

– Меня, – говорит Лида, – тётя Текла, мамина сестра, так учила капустную рассаду высаживать. Главный секрет в правильном поливе. При высадке надо его в два приёма проводить. Сперва лишь немножко под росток полить, а через какое-то время во второй раз и уже обильно, по-хорошему.

Про тяжёлые события – арест отца, обыск, высылку – Лида говорить не хочет. Да и не может, сразу слёзы набегают. И у меня при таких вос-

поминаниях язык как бы отключается. Ясное дело, кому охота открытые раны ворошить.

– Мы, – продолжает Лида, – на хуторе жили. Такой там яблоневый сад папа насадил и вырастил! И так дружно-красиво они, яблоньки, все цвели в мае 41-го! Душистые лепестки такие, белые, розовые, словно невесты, когда они при венчании в церкви перед алтарём стоят! Мы, глядя на это чудо, нарадоваться не могли!

А я вспоминаю свой огород в Варенбурге: лук, кабачки, тыквы, арбузы...

Интересно, вышел бы из меня агроном, овощевод или садовод? Или нет? И вообще, кем бы мне стать хотелось в будущей жизни? Если она суждена мне, конечно. Пока ничего определённого я не выбрал. А вот Лида уже всё решила, она хочет учительницей математики стать.

– Я, – говорит с гордостью, – так быстро все задачки решаю, сразу всякое нутро их вижу. А главное, легко могу другим ребятам это объяснить. От детей же вообще душа греется!

Ну, не знаю... Я всё-таки, если честно, школу не очень-то люблю. Ведь это, что там ни говори, а всё равно как бы засада. И когда попадаешь в неё, там тебя просто заставляют что-то делать, из-под палки или лаской, какая разница-то? Так или иначе, а получается в итоге принуждение. Эх, мне бы в институт поступить, хоть какой!

Ага, разбежался! Очнись, война идёт, и конца ей не видать! К тому же, ты – из высланных. А будут ли нас даже после войны в вузы принимать, большой-большой вопрос! Вон даже до войны парней из нашего села в военные училища со скрипом принимали, а потом и вообще перестали. Из-за национальности, и от ворот поворот! А ты размечтался!

Но всё-таки, как же так? Мы же все – одна страна! И один народ – советский! Мы же счастье всего мира строим! Или, может, я что-то не так понимаю? Но ведь нас именно этому в школе учили! Так что же происходит?! Нет, моим слабым умом этого не понять, как говорит дядя Андрей, «с катушек можно слететь».

* * *

Речная рябь на солнышке блестит, волны на борт лодки плещут, успокаивают. Посидим, поговорим, попьем водицы, помолчим. А дело снова к вечеру. Река пустынна по-прежнему – ни баржи, ни лодочки. А есть-то как хочется! Но нечего – «голый вассер»!

Покричали, поаукали. Одно эхо в ответ. А оно хоть и далеко по реке разносится, да толку-то что, даже до ближайшего посёлка ему не докатиться. Подумали, подумали и решили: ложимся спать.

– Главное – мы живы! – шепчет мне Лида перед сном. – А надежда умирает последней, так ещё древние греки говорили!

Второй день ожидания. Он тащится медленно, как и предыдущий. А ведь конец августа уже. По ночам заморозки. Хорошо, что мы можем в сено зарыться, какое-никакое, а укрытие всё-таки. Но на выручку нам так никто и не приходит. И придёт ли кто-нибудь? Похоже, остаётся только на чудо надеяться. Да на Бога...

Облазил я и обшарил весь плот. Убедился, ничего путного и полезного у нас не осталось – ни верёвок, ни шестов, ни досок хоть каких-нибудь. Про еду и говорить нечего – «днём с огнём не сыщешь».

Принялись мы с Лидой опять планы строить, выходы искать. Что делать? Самим в воду броситься и к берегу попробовать вплавь добратся? Не годится, Лида плавает совсем плохо. Честно признаётся:

– Я не выплыву. Я очень мало плавала. У нас на хуторе только пруд небольшой был.

Одному мне плыть? Ну, я, может, и выплыву, а может, и нет. Ослабел шибко после Волги-то. Да и река тут совсем другая, стремнина вон какая, вмиг утащит и утопит. А без меня и Лида пропадет, как пить дать! И допустить этого я не могу! Никак!

Решили, будем дальше ждать! Лида как бы утешает меня:

– Терпеть надо, Пауль! Говорят же русские: «Бог терпел – и нам велел». И в Священном Писании сказано: *Beť, kas pastāv līdz galam, – tīks saglabātas*. Это по-латышски. По-русски примерно так будет: «Претерпевший же до конца – спасётся». Вот и нам терпеть надо и надежды не терять! А Господь нас не оставит: я в это верю!

Хотел было я ответить:

– На Бога-то надейся, да сам не плошай!

Но – промолчал. А что тут говорить? Посмотрел ещё раз на реку: пусто там по-прежнему. Отбой!

* * *

Третий день. Сидим, горюем. Слабеем час от часу. Лида говорит:

– Наверное, начальники послали Николая с Теодором на какие-то другие срочные работы. А про нас или забыли или просто рукой на нас махнули.

– А сено как же? – спрашиваю.

– Ну, это не беда! – отвечает. – Оно же никуда отсюда не денется. А река станет прочно, и в ноябре-декабре сено увезут на лошадях, а плот на брёвна-дрова разберут. Так ведь и проще, и легче, чем сейчас с плотом возиться, лошадей для этого гонять. Их тут не менее пяти нужно. А где сейчас свободных-то взять? Они везде нужны, время-то хлопотное, страдное, уборка урожая, подготовка к зимовке.

«Да, – думаю, – лошадей-то жалко, и куда больше, чем людей! Людоедство какое-то! Видно, не бог с ними, а чёрт со всеми начальниками этими!»

Но вот что странно, однако: никакой безысходности или тоски в душе нет! Наоборот, такое умиротворение в неё льётся! Спокойствие какое-то охватывает и оцепенение. Почему-то мысль промелькнула: «Наверное, так вот люди-то и умирают!..»

И тут вдруг словно что-то в бок меня толкнуло. Растормошил Лиду. Пошёл вокруг плота на реку посмотреть. И вижу: лодочка с верховьев плывёт! Наверняка кто-то с охоты или рыбалки возвращается! Первое желание – кричать изо всех сил, руками махать! А не могу, только писк мышиный да шевеления вялые получают...

Но каким-то чудом человек в лодке нас заметил. Подплывает. Глазам не верю: да это же Рыбак, дядя Андрей! Лёгко на помине! И такое счастье на меня нахлынуло! Глаза, правда, сухие, не плачется почему-то, всё слёзы куда-то внутрь ушли. Перебираемся с Лидой в лодку с трудом, сил совсем нет уже. Она тоже рада-радешенька, спаслись, слава Тебе, Господи!

Рассказываем мы дядьке Андрею о своих приключениях. Он улыбается только понимающе, ласково так. Сам-то весь седой, одни глаза – синие-синие. Головой качает да приговаривает:

– Да, натерпелись, бедные! Ох вы, неруси мои горемычные! Ну, ладно! Отдыхайте покедова!

Сел он за вёсла, а мы с Лидой на корме устроились. Там дядя Андрей ящик соорудил для пойманной рыбы. Открыл, показывает, а там полным-полно: и шуки, и хариусы, и окуни. Да, улов богатый!

Сидим мы с Лидой на лодочной корме, прижались друг к другу, обнялись и задремали в блаженной усталости. И снова меня повело куда-то, накатило опять. Стою я будто бы у какой-то стеклянной стены. Вдали поле, на нём большие самолёты. Аэродром, что ли? Рядом со мной – молодая красивая девушка (или женщина), лет под тридцать. И с удивлением слышу от неё:

– Не горюй, папа! Всё будет у нас хорошо в Германии! Мы же к вам сюда, в Россию, приезжать будем!

Потом различаю свой голос, как бы со стороны:

– Не понравится там, сразу же возвращайтесь!

И с удивлением я, сегодняшней, понимаю: да это же – дочь моя! И так сильно похожая на Лиду – белокурая, белокожая!.. Но тут же отстраняюсь от увиденного: «Полный бред! Ничего такого быть не может! Мы же с Германией воюем вовсю не на жизнь, а на смерть! А тут что же?! Это кто же кого, получается, победил?! И надо же ереси такой привидеться!..»

Не знаю, сколько времени прошло, только вдруг – бах-бах! – треплет Рыбак меня за плечо.

– Подъём, плотогонь-басурманы! Приплыли! – говорит. И улыбается опять.

Смотрим, лодка к высокому крутому берегу причалена. А на берегу – избушка, рубленая, ладная, опрятная.

– Моё становище, – поясняет дядька Андрей. – Милости прошу к моему шалашу!

Он уже всё своё из лодки в избушку перенёс, теперь нас транспортирует. А без него нам бы на такую крутизну и не взобраться. Лида на полпути вдруг рухнула как подкошенная. Ноги-то совсем ослабели, идти не может. Да и я на пределе сил передвигаюсь: голова-то – ясная-ясная, но при любом физическом усилии молоточки в висках стучать начинают.

Подхватили мы с Рыбаком Лиду под руки с обеих сторон и так вот, как раненую, принесли в избушку. Она, конечно, засмушалась вся:

– Такие вам затруднения из-за меня! Извините, пожалуйста!

Вот ведь какая! Но живая же! Живая! Счастье-то какое!

И вот сидим мы с Лидой на лавке в Рыбачьей избушке и дремлем полубессознательно, ни рукой, ни ногой пошевелить не можем. А Рыбак тем временем печурку протопил, ухи наварил. Потом тщательно рыбу из неё отцедил и нам с Лидой одного горячего бульона похлебать из котелка дал, скупно проронив при этом:

– Больше нельзя вам после голодухи-то!

И как отрезал, не обращая никакого внимания на все наши умоляющие взгляды.

Всё равно мы с Лидой так ему благодарны! Мне кажется, от нас вот эти добрые лучики прямо к нему летят. А он только слегка улыбается, да и то лишь иногда. Молчун. И делает всё втихомолку, но легко, без натуги. Сам-то белый как лунь. Говорят, лунь – это птица такая. К старости она из коричневой в седую превращается. Никогда в жизни не видел. Эх, хоть разок бы посмотреть!

Выпили мы бульон. Постелил Рыбак нам на полу избушки две медвежьи шкуры. Места маловато, домик-то крохотный. Ну и что, в тесноте – не в обиде. И отключились мы с Лидой, уснули без памяти!

Просыпаемся, и понять ничего не можем. Темно. Оконце в избушке маленькое, но видно в него – ночь на дворе. Как же так? А Рыбак опять улыбается:

– Ну вы и даёте, целые сутки проспали, с вечера до вечера!

Снова накормил он нас, теперь уже немного варёной рыбки дал и с картошечкой. Наелись мы и давай ему всю свою грустную жизнь рассказывать. Друг дружку перебиваем, за руки хватаем. Отошли, жизнь вновь заиграла.

И вдруг Лида руками всплеснула:

– Господи! Да мы же наши узелки с одеждой для школы и документами на плоту под сеном оставили!

Так оно и есть. На радостях-то, увидев Рыбака, про всё остальное на свете забыли! Но ничего не поделаешь теперь, придётся в школу без узелков этих ехать.

Рыбак успокаивает:

– Не берите в голову! Завтра в обед вниз по реке на Байкит «илимка» должна пойти. Сядете на неё и до места, до школы своей, доберётесь, наконец-то. А я днями опять вверх по реке поплыву, по пути на плот взгляну, вещички ваши отыщу и потом с оказией вам в Байкит отправлю.

«Илимкой» здесь небольшую баржу-лодку называют. Её вверх по течению обычно лошадь тащит: она по берегу идет, а её под уздцы провожатый-ездовой ведёт. А в обратный путь «илимка» уже самоходом плывёт на вёслах или на шестах. Течение-то на Тунгуске, ой-ой-ой какое быстрое! Местами вообще как на горной реке

Мы с Лидой лишь благодарно головами киваем:

– Хорошо! Спасибо, дядя Андрей!

И то – не тащиться же нам самим туда и обратно, пешком да по скалисту берегу! А Рыбак в ответ молчит и улыбается только.

Да... У нас-то, вроде, удачно всё складывается. Пока. Тьфу-тьфу-тьфу! Не сглазить бы! А вот мамы-то наши! С ними-то, что и как? Бредут, поди, теперь по берегу в Куюмбу голодные, холодные, из последних сил. Рассказали мы Рыбаку и про них. Он подумал, бороду свою седую твёрдой мозолистой рукой пригладил и произнёс неспешно:

– Не переживайте, голуби! Присмотрю я и за матками вашими! Учтите только на совесть!

И на сердце как-то легче нам стало.

Вторую ночь в Рыбачьей избушке мы тоже проспали как младенцы. Слабенькие же ещё всё-таки! А ближе к полудню уселись на бережок, на реку поглядываем, «илимку» ждём. Баржа мимо нас, конечно, не пройдёт, но лучше приглядеть за ней на всякий случай. Рыбак у себя на заднем дворе дрова колет. Большую поленицу уже сложил. К зиме готовится. При минус сорок дрова-то ой как пригодятся!

А вот и она, красавица наша ржавая, нарисовалась. Плывёт себе не спеша, строго по фарватеру. К берегам – «ноль внимания, фунт презрения». Как собака-ищейка, глубоководный свой путь на реке прослеживает. И ни на что постороннее не отвлекается. Понятное дело, чуть замешкаешься и тут же на мель угодишь или, того хуже, в порог втюхаешься.

Засуетились мы. Рыбак все свои хозяйственные дела забросил, усадил нас в свою лодочку, к барже доставил и там на борт передал. На

прощанье перекрестил нас, Лиду и меня, да ещё и в лоб поцеловал. А на «илимке» оказалось всего-то два человека: рулевой и его жена – помощница. Встретили они нас как-то не очень приветливо: и не разговаривают почти, и едят отдельно. Воду кипячёную из жестяного чайника, правда, позволяют брать сколько хочется. Ну и на том спасибо! Главное теперь до Байкита добраться!

Созерцание-8: Как лёт дождь

А уж дождей-то в Сибири хлебнули мы досыта! Это вам – не наши степные «дождички по четвергам»: когда покапало немного (да пусть даже и пополивало несколько минут), а уже через каких-нибудь полчаса всё высушило, как будто и не было ничего! А уж слепой дождик, когда капли ещё в воздухе, не долетая до земли, высыхают, вообще не в счёт.

В Сибири же дождь – это настоящая и длинная история, как история жизни. День, два напролёт – не событие. А неделю без просвета не хочешь? Да пожалуйста: серое небо, затянутое плотной пеленой, как одеялом; ветер, не умолкающий, злой, порывистый! И сыпет, сыпет с небес хлябь студёная, в августе ведь уже градусов до семи «прохлада» опускается. Вот это дождь! Даже комарьё с мошкаркой его пугаются, исчезают куда-то.

Хорошо жить в лесу, в тундре или в каком-нибудь сибирском посёлке, там, где нашей европейской или городской грязи нет. Но не приведи господь оказаться в ливень на болоте. Это почти то же самое, что на море в шторм попасть – действует на человека просто парализующе.

И вообще дождь – он же забияка, своенравен и непредсказуем. Он хозяйничает так, как хочет. И плевать ему на все людские заботы и озабоченности: посевы, посадки, уборки. Он показывает, кто в доме, то бишь в природе настоящий-то хозяин, и вызываясь демонстрирует своё полное равнодушие к человеку, самонадеянно претендующему на эту роль.

Хотя в последнее время у нас, в «Европах», дождь начинает постепенно и как-то прилаживаться под человека. Даже своим разнообразным «меню»: тут вам и «морось», и «поток», и «проливной», и «ледяной», и «грибной», и «урожайный», и «дождь с градом»...

Горожане, конечно, ощущение естественной связи с дождём давно уже утратили. Он для них просто предмет окружающего пейзажа, а то и комнатного интерьера: этот стул удобный, а этот – не очень, а этот и вовсе дрянь... А вот у крестьян-селян это чувство кровного родства с дождём, как и с природой вообще, всегда было, а кое-где, пусть крайне редко, остаётся и поныне осколками, обрывками, рудиментами. Ведь как пели сельские дети и не в такие уж древние времена? Да вот так:

Дождик, дождик, пуще!
Дам тебе я гущи,
Хлеба каравай –
Хоть весь день поливай!..

А один мой приятель, родом из деревни, любил мыться в своей маленькой дачной баньке именно в дождь и выходить в перерыве из парилки прямо под дождевые струи. Он, что называется, селезёнкой этот дождик чувствовал, а не кончиками пальцев, как сейчас многие горожане...

Для меня же бесспорно и несомненно: дождь – это счастье! Если оно и внутри тебя присутствует, конечно. А если нет, так ведь чужое-то не положишь. И на базаре не купишь!

Вот так-то, братцы вы мои!

Приложение

Мама бежит из Мирюги

*Стихотворение Лиды Страдини
(перевод с латышского)*

Я убегу. Здесь умирают люди от голода.
Пустите туда, где двое моих детей
На чужих столах собирают крошки жадно.
Фрау Клейн, идите вы со мной!

Прощаемся. Скоро уже не видна землянка,
Впереди дорога по глухой тайге и рассвет.
Как близко подбирается студёный воздух к сердцу!
Не люди, только волки ходят здесь в лесах.

Синие тени ложатся на землю, близится вечер.
Половина дороги пройдена. Вижу заимку.
Загорись, загорись сухая еловая веточка!
Будет в долгу у тебя спасённая жизнь.

Застывшие, сидим без сил, без мыслей.
В этом небытии нам хорошо как никогда.
Так забываем о своей большой беде.
Но уснуть нельзя. Надо поддерживать огонь.

Почему я вижу, как по земле в инее пробежала тень?
Почему опять как будто камень сердце давит?
Как во сне я слышу равнодушный голос Бокова:
«Беглянок надо в Мирюгу вернуть!»

Нет, не вернемся мы обратно! Не дождетесь!
Пустите к детям! Пустите к детям вы моим!
Если живы, я их вытяну, как кошка!
Если умерли, разрешите похоронить!

9. Снова Байкит

Уже два дня плывём. Сидим на барже в своём уголке. Опять на одной водичке: вяленую щучку и пару картофелин в мундире, что Рыбак нам на дорогу дал, почти сразу же умяли. Но мы его, дядю Андрея, только добром поминаем. Если бы он нас не подобрал, не накормил и

не обогрел, пропали бы мы уже. Наверняка! И плыть по реке на барже – это не пешком по берегу брести. К тому же заморозок как раз ударил, побелело всё от инея.

Ну, вот и Байкитская пристань! Прибыли! Направляемся по дощатым мосткам к школе, она рядом с рекой, в низине. А там, оказывается, новый директор. Средних лет. Фронтовик, говорят. И похоже, что действительно так, прихрамывает, инвалид, наверное.

Идём сразу к нему. Рассказали, что и как.

– Ладно! – говорит. – Определим вас в те же классы, где вы полгода уже проучились. И в интернате местá дадим. У нас ведь с сентября, с нового учебного года, школа-десятилетка будет. Райцентр всё-таки. И учителей молодых пришлют, выпускников Красноярского пединститута. Так что учитесь да не ленитесь! И с поведением чтоб всё в порядке было! Смотрите у меня!

Строгий, видно, директор-то! И прозвище-то у него какое-то зловещее – Кощей (от фамилии, наверно, Кощев).

Ну а мы с Лидой нарадоваться не можем. Ещё бы! В интернате же кормить будут, пусть два раза в день всего, но для нас и это благо, давно не бывалое. На обед 200 граммов хлеба (два кусочка) и суп мясной (самого-то мяса в нём, правда, нет, бульон один, но картошечка присутствует и крупы немного), на ужин тоже хлебушек и каша. Словом, жить можно, не то что в Мирюгё.

А тут заходит в директорский кабинет училка-географичка Анна Петровна (у неё прозвище ласковое – Аннушка, добрая она и справедливая). Посмотрела она, как Лида рваный подол платяница своего стыдливо рукой придерживает, да и обращается к директору:

– Пётр Иванович, а нельзя ли этим ребятам что-нибудь из одежды-то выдать? Вы посмотрите только, ведь места живого на них нет!

Кощей строго так сначала на нас, потом на неё глянул и процедил сквозь зубы:

– Не могу, не положено! У них же матери живые. А разрешается только сирот верхней одеждой за счёт государства обеспечивать.

Ну что ж, на нет, как говорится, и суда нет.

Вышли мы втроём от директора. В коридоре школьная уборщица копошится, тётка Пелагея. Географичка – к ней. Пошептались они о чём-то, после чего Пелагея к Лиде подошла, по плечу её погладила и говорит:

– Пойдём, дочка, ко мне на фатеру! Я тебе кой-чего из детской одежды сыночка своего младшего, Илюшеньки, отдам. Он у меня взрослый уже, на фронте воюет. А у нас-то ведь скоро зима тута нагрянет. Как же ты будешь тогда в этих дырявых башмаках да платье драном ходить? Ой, беда!

Лида, понятно, устеснялась вся, на меня смотрит вопросительно.

– Иди, иди! – говорю. – Я тебя в интернате подожду. На ужин вместе сходим.

Возвращается Лида примерно через час: в брюках, в пиджаке мальчишеском и в крепких ботинках. Выглядит всё это не ахти, конечно. Даже можно сказать, ужасно. Однако я нахваливаю:

– Очень идёт тебе! А что, новый и современный стиль! Война ведь!

У меня и самого с одеждой-то туговато. Всё изношено и потёрто до последней невозможности. Ботинки, правда, без дыр ещё пока. Но всё равно холод пробирает. Придётся, видно, по улице зимой бегом передвигаться, чтоб не замерзнуть.

А вот и Бенилда появилась, узнала, что мы приехали, и тут же примчалась из школы. Тоненькая совсем, хрупкая, как веточка ивы. А в глазах такое счастье плещется! Хотя вслух ничего не говорит, молча прижалась к Лиде, обняла её обеими ручками, да так крепко, что не отцепить. Лишь прошептала ей что-то на ухо по-латышски. И у обеих слёзы тихими ручейками катятся. Я давай их успокаивать, что-то невнятное бормотать, бессмысленное. Да и смысл тут, в общем-то, ни к чему: главное – тембр голоса, а не слова. Ну вот, вроде и перестали носами хлюпать мои красавицы. И правильно, не плакать надо, а радоваться!

* * *

Жизнь своим чередом идёт. Мы с Лидой снова учимся. Я опять в седьмом классе, она в пятом. Второгодники, так это называется. Но никто над нами не подсмеивается, не издевается. В классах народу немного, самое большое человек под двадцать. Среди них нас, высланных, добрая половина. Сразу обратил внимание, многие прежние учителя куда-то пропали. Поувольняли их, что ли? Непонятно... Больше всего лично мне жаль, что Василия Николаевича (Седого) из школы убрали. Для меня же это – золото чистое, свет в окошке, живительного воздуха глоток!

А на днях такая история приключилась. Плюхаемся мы с Лидой из школы. Она в сумке своей холщовой что-то ищет, копуша! Я по сторонам глазею. И вдруг вижу, по деревянному настилу вдоль улицы, прямо нам навстречу Василий Николаевич идёт и парнишку маленького, лет шести за руку ведёт. Седой – старый наш учитель! Но какой же он красивый! И гордый!

Мы с Лидой дружно с ним поздоровались. Он улыбнулся нам в ответ. Видно, однако, что ему не до нас, о чём-то своём глубокую думку несёт, расплескать боится. Прошёл он к крылечку дома, где новый директор живёт с молодой женой. А тот как раз из двери появляется, собрался по своим делам куда-то. Не пригласил даже старика в дом зайти, а так на крылечке с ним и разговаривает. Уже нехорошо, неинтеллигентно как-то... Мы отошли подальше из вежливости, но продолжаем смотреть во все глаза. Тоже не совсем хорошо, конечно, да любопытство всё остальное пересиливает.

Василий Николаевич что-то объясняет Кощей спокойно, с благородными даже какими-то жестами. А тот резко машет руками и в раздражении слюной брызгает. Мальчуган держит руку деда и весь съёжился, как воробышек на холодном ветру.

Лида мне шепчет:

– Директор-то – бывший зять Василия Николаевича. А мальчик – директорский сын. Кощей, как с фронта вернулся, с дочерью Василия Николаевича развёлся и вновь женился, на другой – молодой, местной. И Василия Николаевича из школы уволил.

Удивляюсь, и откуда ей, Лиде, всё это известно? Ведь она никого, никогда и ни о чём не расспрашивает. А просто с ней все наши интернатские девчонки прямо обожают секретничать! Потому что знают, она не подведёт, дальше слух не распустит, сохранит все тайны в себе намертво. Надёжный человек! Кремень!

Смотрим дальше, что там, на директорском крылечке, происходит? А там посередине тяжёлого, видно, разговора Василий Николаевич

вдруг поворачивается через левое плечо, как-то молодцевато даже, и размеренно уходит с внучонком своим назад, по дощатому тротуару, к себе домой. Спина прямая, походка спокойная, уверенная, достойная. Мальчишка о чём-то спрашивает деда, тербит его за руку. А тот просто смотрит на ребёнка молча и ласково да о своём потаённом думает, горе горюет. Кощей, похоже, опешил прямо, стоит на крыльце, рот разинув.

А Лида мне снова шепчет, кивая на уходящего учителя:

– Смотри, Пауль! Смотри и запомни! Вот тебе ещё один урок от старого русского интеллигента, урок достоинства и чести!

Да я уже и без того осознал! И действительно, Кощей рядом с Василием Николаевичем – это словно беспородная шавка-дворяня рядом с благородным колли!

Ну и побежали мы с Лидой к себе в интернат.

* * *

Учиться, по правде говоря, скучновато. Материал за первое-то полугодие мы уже раньше проходили. Подзабылось, конечно, кое-что, но это дело поправимое.

Вот так октябрь прошёл, ноябрь пролетел. Зима прочно установилась. А снегу навалило! О-го-го! Разгребаем его каждый день, а то и не по разу, руки все выворачиваем. Но самая большая забота и печаль – о мамах. Как они там, в Куюмбе-то этой? Живы ли? Надежно ли эвенки их спрятали?

И вот вам радость неожиданная-негаданная! Адька появился! Из Мирюги! Это наш парень, тоже из поволжских немцев. Его вообще-то Адольфом зовут. Но никто не дразнит, не намекает – тёзка, мол. Нет, его все любят – и ребята, и учителя. Он же прирождённый лидер. Высокий, широкоплечий, красивый, сильный! А ведь пятнадцать лет ему всего, как и мне (правда, скоро уж и шестнадцать будет). Он, Адька, честный, справедливый и принципиальный, как скажет – так оно и есть, так оно и будет. Мы с ним раньше за одной партией сидели. И теперь, надеюсь, соседями будем!

А вечером пришёл Адька к нам в интернат чуть живой, но весёлый и обо всём подробно рассказал. В Мирюге, конечно, после нашего отъезда ужас что творилось! Боков всех заел окончательно. Убийца настоящий! Продуктов не давал никаких. Корешки, грибы-ягоды и прочий подножный корм после того как снег выпал, в тайге недоступны. Рыба плохо ловится. Хоть волком вой!

Надо бы при таком положении людей назад вывозить в Байкит. Но Боков одно твердит: «Без приказа не имею права!» А сам в это время те продукты, что работающим предназначены, на водку и спирт меняет. И стали люди умирать, один за другим.

– Утром выйдешь наружу, – говорит Адька, – смотришь, опять из какой-нибудь землянки следов нет. Значит, и там умерли все...

Передохнул он немного и продолжает:

– А как-то гляжу спозаранок, прямо возле землянок – следы лыж на снегу. Широких, на каких эвенки ходят. Они обычно охотятся здесь: поблизости соболей особенно много водится. Эвенки-то все следы – и звериные, и птичьи, и людские – легко читают, да и стрелки они отличные, снайперы, можно сказать. Ну и я у них кое-чему научился, пригляделся, прислушался, порасспрашивал.

Мы слушаем, дыханье затаив. А Бенилда – та вообще, как рот открыла, так и не закрывает. Слово боится пропустить. Лида водички Адьке поднесла. Отхлебнул он пару глотков и дальше рассказ свой ведёт:

– А умирать мне так неохота! И маму жалко до слёз! Нет, решаю, надо жить! Надо отсюда ноги уносить! Ну и смастерил я из старых досочек подобие широких лыж для себя и для мамы. Примитив, конечно, но по снегу передвигаться можно потихоньку-помаленьку. И пошли мы на этих лыжах прочь из Мирюгí вслед за эвенками, прямо к их стойбищу. Там нас приняли без возражений. Хотя им, эвенкам, власти строго-настрого запретили с нашим братом, высланными, яшаться, даже близко подходить не могли! Но ведь люди же – и мы, и они!

Короче, отвели нам место в чуме, покормили. Хлеба у них нет, одна похлёбка – мясная или рыбная. Мне один старик отдал старое сломанное ружьё. А я его починил, можно и в дело пускать. Подивились мужики-эвенки, языками поцокали. Потом патронами снабдили и охотиться разрешили. Но предупредили, чтобы я только в белок стрелял.

– Соболь – нельзя! – говорят. – Ему в глаз попадать надо. А ты пока мазать будешь, шкурка портить.

Ну а белок-то я только так щёлкал, пачками. Шкурки – эвенкам, тушки – нам, на пропитание. Так и отъелись мы с мамой понемногу. А в Мирюгé к тому времени все, кто там остался, уже поумирали от голода. Кроме Бокова и кладовщицы Августы. Да и они тоже съехали Таимбу.

– Ну а потом-то что? – тороплю я Адьку.

А он неторопливо так слова перекачивает (подустал уже, видно):

– Да что потом? Самое интересное, кто-то на Бокова стукнул. Кто это был, до сих пор неизвестно. Но начали-таки краевые власти следствие против нашего «коменданта»: почему так много народу в Мирюгé и в других факториях поумирало? И докопались, что он, Боков, продукты получал на выселенных, но им (нам, то есть) почти не выдавал.

– И что дальше? – спрашиваю.

– Да ничего серьёзного. Ну, сняли Бокова с должности, и всё. А потом, говорят, отправили служить на новое место, куда-то на юг Красноярского края.

Мы с Лидой прямо запрыгали от радости:

– Ура! Нет больше этого паразита над нами!

А потом давай опять Адьку тормозить:

– Ну а с мамами нашими что? Ты их видел? Слышал что-нибудь о них?

И тут Адька поведал нам просто невероятную историю. А ему об этом эвенки подробно рассказали.

Так вот. Бежали наши мамы из Мирюгí по берегу реки. Ещё не холодно было. Но путь-то огромный, сотни километров. Ночевали на еловых лапах, ими же укрывались. Ближе к середине дороги решили сократить её и пошли по лугу, напрямки. Но ведь сентябрь уже. Подмораживает. Развели костерок, чтоб согреться немного. А тут, откуда ни возьмись, Боков на лодочке с напарником по реке плывет. Как на грех! Увидел мам, пристал к берегу и давай орать:

– Ага! Беглянки! Стервы фашистские! Да я вас в лагере сгною! И суда никакого не надо, сам сейчас застрелю, к такой-то матери!

И наганом своим машет. Пьяный же, негодай, на всё способен. Потом успокоился малость, командует:

– Садитесь в лодку, вы арестованы! Обе!

Но тут напарник его вмешался:

– Не годится! – говорит. – Лодка больше двоих седоков не потянет! Да и куда эти бабы денутся, куда дойдут? До любого жилья не меньше сотни километров. Да по тайге, по болотам. Сами здесь подохнут как пить дать. И чёрт с ними, нам забот меньше!

Согласился Боков. Сели с напарником в лодку и с глаз долой.

Мамы дух перевели, к реке вернулись. А там, на их счастье, Рыбак на своей лодке навстречу им выплывает. Обещал же он помочь и помог! Разыскал беглянок по их же следам, он ведь следопыт-то ещё тот, не хуже эвенков будет! Посадил Рыбак наших мам в лодку, привёз в свою избушку, отогрел, накормил. Передохнули они там и уже надёжно до Куюмбы добрались.

А эвенки наших мамочек не выдали, спрятали в своих чумах, снабдили одеждой из оленьих шкур, но добротной и тёплой. Так что, живут наши родненькие там спокойно в сытости и в тепле.

– Но почему же они вестей-то о себе никаких не подают? – недоумевает Лида.

– Глупая! – говорю. – Правильно делают! Чтоб себя не обнаружить! Чтобы разные там новые Боковы их не отыскивали! А так, здорово же всё получилось! Повезло нам всем и сказать нельзя как!

Лида соглашается и добавляет:

– Не зря мы, значит, Господа молили! Не оставил Он нас. И нашего Рыбака я до конца своих дней не забуду! Он ведь и нам, и нашим мамам жизни спас! Я за него каждый день молиться буду!

И нечего мне тут сказать. Хотя я и не молюсь по-серьёзному-то. Но, видимо, что-то такое всё же есть там, над нами!

* * *

Узнал, что нас с Лидой занесли в разные там школьные журналы и прочие гроссбухи не по документам, а так, со слуха. Вот и стал я, уже по бумагам, не Паулем, а Павлом, а она осталась Лидией. Хотя нас так все давно уже по-русски называют. Не знаю даже, огорчаться этому или радоваться? И без разницы мне, вроде. Но иногда чувствую, какая-то важная часть старой жизни от меня ушла, навсегда...

И ещё. Теперь мы с Лидой официально числимся как сироты. Проверяющий из Красноярска, ну, тот, который Бокова отстранил, прислал в Байкитский райисполком бумагу о гибели на Мирюгé большинства отправленных туда прошлым летом «выселенцев». И наши мамы тоже оказались в этом смертном списке.

На днях Кощей вызвал нас и сообщил, что мы должны получить у кладовщицы положенные нам как сиротам вещи. Ясное дело, мы тут же мигом сбегали и получили. Мне достались стёганные брюки, фуфайка и пиджак, а Лиде – тоже фуфайка и брюки, а также ещё платье и зимняя обувь, что-то вроде утеплённых башмаков. Как же она платьё обрадовалась! Уж так надоело ей в парнячем-то пиджаке щеголять!

* * *

Зима лютует. Морозищи в январе за минус пятьдесят перебирались. Но воздух-то сухой. А потому легче всё это переносится, чем во влажной какой-нибудь местности, ближе к морю, скажем. Февраль наступил, а зиме конца и края не видать. У нас, в степях, в это время уже весной во всю пахнет. А здесь...

Прибегает Лида, запыхалась вся. Я ей говорю:

– Да не спеши ты, все новости проглотишь – не выплюнуть потом!

А она не улыбается даже, так взволнована, дальше некуда.

– Ну, чего там? Выкладывай уж! Что случилось-то?»

Тут она, наконец, разродилась, выпалила:

– Мне знающие люди сказали, что недавно решение крайкома о создании колхозов из высланных отменили!

– Ну и что? – говорю. Она сердится:

– Да как же ты не понимаешь?! Теперь наши мамы могут сюда вернуться, и на законных основаниях!

И только теперь до меня дошло, дотумкал наконец. На самом же деле, ведь они, наши мамы, больше никакие не беглецы. Раз поселенческие колхозы эти проклятые распустили, значит, спасайся кто может! И кто уцелел. А потом подумал: «Так-то оно так. Но сколько же народу заморили зазря, по глупости и жадности! Гнали всех – и нас, немцев, и латышей, и кулаков – да мало ли кого ещё! – даже и на Таймыр, говорят. Сколько средств на это вбухали! А сколько разворовали всякие-разные Боковы?! И самое страшное – погибших-то уже не вернуть, сгинули, и от многих даже могил не осталось».

И всё-таки новость хорошая, добрая. По нынешним временам – редкая. Порадовались мы с Лидой и давай планы строить, как будем жить, когда мамы вернутся.

– Но пока никому ни слова, – предлагаю я. – Мало ли что ещё приключиться может! Все мы как по тонкому льду ходим.

Лида соглашается. Да, совсем задёргали нас последние лихие времена!..

* * *

Слава богу, 1944 год уже идёт. Война, вроде, переломилась. Гонит фашистов Красная Армия везде и всюду. И союзники всё больше помогают. Даже до нас эта помощь доходит, иногда вот нам в интернате яичный порошок дают, он ведь из Америки через Игарку на Енисее поступает.

Учимся мы старательно. Даже уроки домашние делаем. Ну, в основном... Лида ещё и Бенилду обихаживает: косички ей заплетает, платице латает, в баню водит. А та удивительно послушна и серьёзна. И на старшую сестрицу такими влюблёнными глазами смотрит! Даже нежнее, чем я (гм-гм!)... Хотя, если уж по делу, я за Лиду жизнь готов отдать! И не задумываясь! Вот такая штука!

* * *

Ну вот и февраль пролетел! Идём по улице после уроков. Болтаем без умолку обо всём, что в голову взбредёт. К примеру, о том, как вчера на утёс прибрежный ходили. Оттуда вид на реку и окрестную тайгу классный просто! Дух захватывает!

Уже почти до интерната дошли, и тут навстречу нам какой-то незнакомый мужчина. Подходит и говорит:

– Бегите быстрее к школе! Там ваши мамы вернулись в Байкит и вас ждут!

Мы и помчались со всех ног! Прибегаем. Точно, стоят наши мамочки ну как две эвенкийские матрёшки в своих кухлянках! Обнимают

нас, целуют. Слёзы сначала сдерживали, но потом разрыдались в голос. Ещё бы! Ведь чуть ли не с того света вернулись!

Принялись мы все вместе думать, как и где нам дальше жить? Решили, пойдём к Кощей просить для мам работу. Есть в школе свободные места истопника и ночного сторожа. А ещё неплохо бы получить домик для жилья. Имеется такой рядом со школой, пустой, маленький, ветхий, но зато на два входа и с разных сторон.

Пришли. Высказались. Посмотрел Кощей на нас, подумал, попытался недовольно, а потом говорит:

– Ладно, уговорили! Но будете ещё дрова пилить и колоть! И в классах прибираться, за уборщиц. Тогда я вам, так и быть, две хлебные карточки выдам, рабочие.

Господи! Да неужели?! Ушам своим не верим!

– Конечно, конечно, мы на всё согласны!

И пошли восвояси, как на крыльях полетели!

К вечеру уже поселились в домике. Рады не рады, болтаем без перерыва, всё-всё своё житьё-бытьё в разлуке вспоминаем. И мама, и Леонора Павловна как девчонки себя ведут: покраснелись, разговорились, пошучивают даже. Обычно ведь они такие строгие, замкнутые. Смотрю на них и думаю: «Будешь тут строгим, когда детей своих от гибели сохранить – проблема почти не решаемая!»

Кое-как обустроились в своём домике. Он же заброшенный, с забытыми окнами стоял. Пришлось и двери утеплять, и пороги подколлотить. С каждой стороны домика по одной комнате с отдельным входом-выходом на улицу. Кухни нет, но в нашей с мамой половине напротив входа есть печка-плита с большим щитком, он выходит и на вторую половину к соседям. Тепла на всех достанет, дров бы только хватило.

Потолки в комнатухах низкие, чуть повыше моего роста, но это для сбережения тепла тоже неплохо. Около печного щитка соорудили нары вплотную и повыше, чтоб спать потеплее. Около плиты у нас – стол и две табуретки, то же самое и у соседей, хотя у них ещё и чурбачок небольшой имеется для Бенилды. Вот и вся наша мебель.

Одно из трёх окон застеклили, а два так и оставили забытыми. Насыпали в оконные проёмы опилок. Кусками брезента затянули изнутри. От морозов и вьюги защита неважная, конечно, но всё-таки. Мама говорит:

– Топить печку будем и ночью, и днём, чтобы щиток тепло держал. В нашей комнате ты, Пауль, будешь спать между стенкой и плитой, а у соседей – Лида. Нас ведь с Леонорой по ночам не будет дома, надо печи в школе топить. И как только остынет домик ночью, вы оба просыпайтесь и опять огонь разводите! Для этого нужно просто золу в топке разгрести и на горячие угли дровишек подбросить.

Мы с Лидой, понятное дело, на всё согласны, лишь бы мамам угодить да помочь им хоть чем-нибудь!

И взялись мы за работу все вчетвером, да ещё и Бенилда на подмогу. Дел, конечно, много, выше крыши! Электричества-то в школе нет. А работает она в две смены. Но день-то короткий, темнеет рано. И вторая смена уже при керосиновых лампах занимается. А их нужно заправлять постоянно и стёкла у них чистить тоже регулярно. Потом, после занятий, это уже почти ночью, надо прибраться, подмести и вымыть полы в классах. И в коридорах тоже. А с этим – свои трудности. К ночи-то классные комнаты, а коридоры тем более, выстывают, да так, что вода на полу замерзает... А дрова пилить и колоть? Это вообще работка о-го-го!.. Но как-то всё же мы приспособились мало-помалу.

А мы с Лидой ещё и дрова таскаем с улицы в коридор. Печи-то в школе с коридора топятся, все. Наша мама по ночам закладывает эти дрова в топки, заправляет в них берёсту с лучиной и разжигает. Горят они хорошо и жарко, топят-то почти одной лиственницей. Сначала мы с Лидой занимались доставкой дров по ночам. Получалось как-то нескладно. И решили, что удобнее этим делом в дневное время заниматься, на большой перемене и после уроков.

Но тут я, как на грех, захворал. И крепко: жар, горло распухло. Леонора Павловна говорит:

– Лихорадка! Надо бы Паулю дня два полежать. И пить побольше. А там посмотрим.

Ну и вот, лежу пластом, и, значит, Лиде я не помощник.

Но тут Адька опять молодцом оказался! Увидел он, что Лида одна с дровами таскается, мучается, и организовал ей в помощь группу одноклассников. Разделил их на две бригады, распределил между ними печи поровну. И даже на время игру такую придумал, соревнование – кто быстрее за перемену дрова к своим печкам натаскает. Лида рассказывает:

– Столько шуток и смеха было! То одна бригада победит, то другая! За два дня они дровами чуть ли не весь коридор завалили!

Правда, Кощей, как увидел такие завалы, сразу же вызвал Адьку к себе и запретил «эту дурацкую благотворительность». Но тут я уже выздоровел, и всё стало на свои места.

* * *

Весна! Проталины появились. Новое занятие для нас: прошлогоднюю мороженую бруснику, что из-под снега показалась, в окрестной тайге собирать. Как-никак, а тоже к столу прибавка, витамины. А если серьёзно, за все эти страшные годы не припомню, чтобы хоть когда-нибудь голод не мучил. Всё время есть хочется, и никуда от этого не денешься, желудок не обманешь!..

На днях Кощей вызвал к себе Леонору Павловну. Из нашей школы уехала куда-то учительница немецкого языка Ирина Ивановна, и Кощей предложил Лидиной маме занять освободившееся место. Она же на родине, в Латвии, этим как раз и занималась. Но Леонора Павловна отказалась категорически. И правильно сделала! Ну, займёт она это место, а через какое-то время приказ придёт: «Учителей-выселенцев – уволить! Немедленно!» А такое уже бывало. И что тогда?! Нет уж, в истопниках-то и поспокойнее, и понадежнее!

* * *

Ведём с Лидой ненаглядную нашу Бенилду в спортзал. Он рядом со школой, небольшой, но уютный. Учительница физкультуры жалуется, что она, Бенилда, очень слабая, на турнике даже один раз подтянуться не может. Хотя весу-то в ней, как у цыплёночка, худенькая до прозрачности, одни кожа да кости. Ну, подвели мы её к турнику, подвесили, а она не то что подтянуться, удержаться-то на нём не может. И смех и грех! Ладно, летом всё-таки полегче с едой-то будет, откормится немного, подрастёт, глядишь и силёнок наберётся!

Спросил у Лиды, как её фамилия с латышского переводится? Она улыбнулась и отвечает:

– Скворчик. Или скворец.

– Ага! – говорю. – Значит, по-русски ты – Скворцова? А почему тогда песен не поёшь?

А Лида мне:

– Вот весна придёт настоящая, и запою! Пока ещё очень много темноты, а света мало. А мне солнце нужно, чтобы петь. И много-много, море солнца!

– Ладно! – соглашаюсь я. – Будем ждать весны! Придёт же она и к нам когда-нибудь!

Созерцание-9:

Как пахнет земля

Вспоминается: иду я за пахарем и его лошадкой и вижу, как железный лемех плуга переворачивает земляной пласт кверху тёмной, влажной, блестящей его стороной. Происходящее завораживает, и только размеренный скрип плужного колёсика как бы гонит время вперёд. А так ведь не сразу и поймёшь, в каком ты веке?

Пласт земли парит, от него, словно лёгкое дыхание, дымок идёт. Грачи важно переступают по свежей пашне и вытаскивают из неё ленивых, полусонных, толстых червей. Пахнет чем-то влажно-свежим, живым и очень важным, какой-то первоосновой жизни. Словами этого не выразить и никакой, даже самой грандиозной, мыслью не объять, не постигнуть...

Наверное, эта земля и есть первооснова всего сущего? Поэтому и веет от неё таинственным этим ароматом, запахом первоизначальной самой!

Время остановилось, вопреки бегущему вперёд плужному колёсику. Мужик-пахарь в конце борозды резким движением разворачивает плуг, встряхивает прилипшие к нему комки почвы, граница участка-надела не пропахивается, а только очерчивается лежащим на боку лемехом...

Я зачарован этой землей, этой пашней. В крови начинает бродить какая-то исконно-древняя память. Внезапно всё реальное и все мысли оставляют меня, словно удар какой по голове пришёлся. И видится: на таком же вот поле иду я за плугом, примитивным, деревянным, мну босыми ногами дымящуюся, свежевспаханную землю... А вдаль, со степной стороны, возникают на шляхе силуэты всадников на низеньких лошадках, в мохнатых малахях и со смешными кривыми саблями наголо.

Всё это было уже? – Да!

И ещё будет? – Да!

– Вот и хорошо! Двум смертям – не бывать! А бог не выдаст – свинья не съест!

10. Клятва

Дожили до лета, июнь уже. Благодать! Лида отличницей учебный год окончила, а я – ударником. Я с учителями не спорю, даже если не согласен, а просто всё делаю по-своему. Но это не беда. Папа говорил:

– Четвёрка – тоже хорошая оценка, а главное, честная, объективная. На пятёрку мало кто из людей знать способен. А по некоторым предметам и вообще никто.

Половина 1944-го года почти прошла. Скоро война кончится. Красная Армия уже в Европе воюет. Союзники второй фронт открыли. Добьют фашистов, и мы все свободно заживём!

Пошли мы с Лидой к скале над рекой. На вершину забрались. Видом окрестным ещё раз налюбовались. Потом, как настоящие скалолазы, давай спускаться вниз, к реке. А там, по пути, дикого лука – заросли целые. Собираем его, уплетаем за обе щёки, вкусно же!

Спустились, передохнули. Смотрим, гидросамолёт прилетел! Сел на воду за Байкитом. Значит, почта пришла! Говорю Лиде:

– Бежим к школе! Может, и нам от Альки письма пришли!

Он, Алька, – молодец! Чаше нам писать стал. Наверное, и цензура там, в лагере, не такая строгая стала в последнее время?

Дела у него, старшего брата моего, судя по письмам, как-то наладились. Можно уже всерьёз надеяться, что выживет он там, в Вятлагере. Живёт уже не в самом лагере, а рядом – на спецпоселении. Отмечается раз в месяц у коменданта, Семёна Семёновича какого-то, который там над всеми выселенными и царь, и бог, и начальник. Все документы он оформляет и выдает: о рождении, женитьбе, смерти. На работы распределяет. Уходить с поселения дальше, чем на пять километров, запрещено. Ну, в общем, всё примерно так же, как и здесь, в Байките.

Лида отказалась со мной к школе идти. Говорит:

– Я тут ещё на берегу погуляю!

Ну и ладно – оставил её одну и пошёл за письмами. И не зря! Сразу два письма от Альки прилетели! Пишет, что живёт нормально. Хотя работа, конечно, тяжёлая, в лесу, на трелёвке брёвен. Вывозят их на лошадах. И к этим «лесовозам» отношение хорошее, лучше, чем к людям, надо понимать. Кнут в обращении с ними запрещён, только «словесное понукание и доброе обхождение». Кормят лошадок три раза в день, норма – шесть кило овса на голову.

«Мы, возчики, – подшучивает Алька, – всегда при кормёжке лошадей пристраиваемся у корыта, и только конюх отвернётся, тут же по горсточке овса в карманы распахиваем. Потом отпускаем лошадей размяться немного, а сами зёрна жарим на костре и уплетаем за милую душу! Это нас хорошо поддерживает. Я думаю, что и лошади на нас не в обиде, им корма хватает...» Весь Алька в этих письмах, ну как будто рядом стоит, то ли улыбается, то ли подсмеивается.

А мама читает их и плачет. Я понять не могу, почему? Спрашиваю её. Она отвечает:

– Да как же ты не понимаешь? Альбину учиться надо, а не брёвна возить! Это и к тебе относится, между прочим! Разве о такой судьбе для своих сыновей мы с папой мечтали?!

Я успокаиваю маму:

– Мамочка, ну не переживай ты так! Скоро война кончится, домой поедem, и всё наладится у нас!

Она берёт себя в руки, сдерживает слёзы. Вообще-то ведь она очень стойкая и плачет ну редко-редко.

Возвращаюсь на реку за Лидой. Что-то нет её долго, а дело к вечеру уже. Гляжу, бежит мне навстречу, весёлая, счастливая. Но вся мокрая с головы до ног! Изумляюсь:

– Ты что?! В одежде купалась?! Вода-то ведь ещё холодная!

– А, ерунда! – отвечает. – Сейчас дома переоденусь. Да не сердись ты, Пауль! Я же не по своей воле искупалась.

– Как так? – что-то история эта начинает мне всё больше и больше не нравиться.

– А вот так, – поясняет Лида. – Гуляю я по берегу, подхожу к лодке, а там две незнакомые девочки сидят, постарше меня на год-другой. Говорят, «Хочешь покататься на лодке – до Байкитика?» Я ответила, что не отказалась бы. Вспомнила, как мы с тобой и с Адькой на прошлой неделе ездили туда, на противоположный берег, за черёмухой. И на такой же точно лодке. Ну, посадили меня девочки в лодку на корму. Гребут вверх по Тунгуске, туда, где в неё Байкитик впадает. И так хорошо мне! Отвернувшись лицом к берегу. И вдруг одна из девчонок подбегает ко мне и резко толкает меня прямо в воду. Я сначала растерялась, руками-ногами машу, чтоб хотя бы на поверхности удержаться. И слышу, как вторая девочка первой кричит: «Ты зачем её из лодки вытолкнула?! Потонет ведь!». А та ей со злорадной такой ехидцей отвечает: «А что? Так ей и надо!» Но я уже успокоилась немного, начала размеренно грести, как могу, по-собачьи, и поплыла к берегу.

Я, понятное дело, в ужасе:

– Но ты же и на воде-то с трудом держишься! Утонуть ведь могла и легко!

А она мне с каким-то бесшабашным весельем:

– Вот и нет, я уже вполне прилично плаваю. Ты же меня сам ещё в прошлом году научил. А там до берега недалеко было. Течение, правда, сильное, и меня чуть не снесло в залив, ну, к устью Байкитика. Но на берегу там лётчик гидроплана оказался на моё счастье. Он увидел, как я барахтаюсь, тут же бросился в воду, быстро подплыл ко мне и на берег меня вытащил. Молодой такой мужчина и красивый!

Игнорирую последнюю фразу, во мне и без того всё кипит.

– Покажи, – требую, – мне ту ведьму, что тебя утопить хотела! Я ей все рёбра пересчитаю!

– Да ладно тебе! – говорит Лида. – Успокойся, Пауль! Ерунда ведь, я уже через сто метров об этом и думать забыла! Расскажи-ка лучше, что брат твой пишет?

А я продолжаю кипеть, словно чайник на огне: злость и обида через край плещут!

Тут Лида уже строго одёрнула меня:

– Ты, Пауль, прямо как та дырявая кастрюля, что у нас в Мирюгё была!

Я недоумённо посмотрел на неё, а потом вспомнил: там, в Мирюгё, у нас ведь даже котелка настоящего-то не имелось. Картошку варили на две семьи, на всех четверых, в железной, ржавой и дырявой кастрюле. А дыру в ней перед каждой варкой глиной замазывали. На один раз замазки хватало. Но иногда глина отваливалась, и вода попадала на угли. Вот тогда-то – шипение, пар на всю землянку! Вспомнил я всё это и прыснул. Лида тоже. Она рада, что мне шутка её понравилась и не в обиду пришлась!

Идём дальше к домику своему. Вообще-то, мы с Лидой о чём-то таком тяжёлом из прошлого, о высылке и прочем в том же духе, предпочитаем никогда не говорить. Больше шутим, о разных приятных мелочах вспоминаем. А страшное, мрачное, ужасное – ну зачем его в памяти-то держать? Его забывать надо! Хотя и не всегда это получается. Да и невозможно, наверное. Тогда нужно его в какую-то отдельную каморку внутри себя затолкать и ключ от неё выкинуть!

Ведь столько дел впереди! И так жить хочется! И нравится на этом белом свете быть несмотря ни на что! Правда-правда! Потом люди,

может, и не поверят, что нам до такой вот восторженной степени жизнь нравилась со всеми её изъятиями, трудностями, неприятностями. Даже когда мы дёгтем от мошки намазывались сутками напролёт, а особенно – вокруг глаз, там эта гнусь больше всего жалит. Никакие, даже самые замысловатые фабричные накомарники – а о самодельных и говорить нечего! – не спасали. Их носили, конечно, но скорее так, для самоуспокоения.

О разных житейских мелочах вспоминать даже приятно иногда. К примеру, о том, как мы в той же Мирюгэ землянки для себя соорудили. Дело это непростое. Поначалу не знали даже, с чего начинать-то? После команды «Рыть землянки!» – собрались в кружок, давай обсуждать, что и как? Все худющие, но подвижные ещё, трудоспособные. Подумали хорошенько и за дело принялись. Сначала вырыли квадратную яму в земле, примерно в человеческий рост глубиной. Сверху покрыли её жердями. На них положили еловые лапы. Какая всё-таки ель-то тяжёлая! Замазали весь этот настил глиной, снова утеплили ветками и дёрном. Сверху поставили шалаш, тоже из жердей с еловым лапником. Потом выровняли и утрамбовали пол. Вот и готова землянка! И ведь нормально всё сделали-то! Если, конечно, не думать и не помнить о том, что многие там, в таких вот землянках, навсегда остались, как в могилах...

Лида переделалась, и побрели мы с ней снова по Байкиту. А небо – чёрное, да с гнилого угла. Значит, завтра на весь день дождь зарядит. Пришли опять на ту же «нашу» скалу над рекой. Вода в Тунгуске бурлит. Воздух чист, как в храме! Видно со скалы далеко окрест. Тайга не зеленеет, а синее к вечеру. Горная цепь вдали возвышается, словно в сказке какой, про Белоснежку и гномов. И разговор получается душевный, доверительный, откровенный.

Я Лиде говорю:

– Вот кончится война скоро, отпустят нас всех по домам. И что же мы с тобой делать тогда будем?

Она подумала и отвечает:

– Да на родину, конечно, надо съездить. Но ты не сомневайся, мы с тобой обязательно вместе будем! Мы ведь жить-то друг без друга не сможем! Выучимся и опять соединимся, станем мужем и женой!

Я просто задохнулся от счастья. И предложил:

– А давай клятву дадим, что никогда ни на ком постороннем не женимся, а только друг на друге!

Лида рассмеялась и по носу меня легонько щёлкнула:

– Ну и глупый же ты, Пауль! – говорит. – Это ты женишься, а я замуж буду выходить!

Тут мы взялись крепко за руки и три раза прокричали на всю округу: «Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!..» И эхо той клятвы над рекой прямо в тайгу улетело, куда-то далеко-далёко, в тёмно-синюю её бесконечность... От этого эха, видно, из распада большой серый беркут внезапно вылетел. И давай, вверх подымаясь, над нами круги нарезать. Крылья его – просто сказка. Красота несусветная!

Назад в посёлок вернулись такие счастливые! Я был готов весь этот мир обнять! Ну, кроме Гитлера и прочих фашистов, понятное дело. Зашли в свой домик. Темновато уже. Первым делом нужно коптилки в комнатах керосином заправить. Это ведь только в школе лампы со стёклами, а у нас – маленькие открытые коптилки с фитильками. Света от них немного, но нам хватает. Не в этом оно счастье-то наше!..

Созерцание-10: Как светят звёзды

Да, ничего более утешительного, чем звёздное небо, я в жизни своей не видел и не знаю. Это – Вечное... Оно спокойно-ласковое, трепетно-нежное, живое и удивительное. Оно хранит в себе все тайны и чудеса, до которых нам никогда не дотянуться. А наверное, и не надо даже покушаться на это, ибо наивно и бесполезно...

Этот робко-мерцающий звёздный свет не согреет нас и не заморозит, отнюдь, но он питает нашу слабую душу, даёт ей силы вынести все муки и тяготы земных испытаний и искушений. Ведь для одних из нас жизненный путь – испытание, для других – искушение, а для третьих – и то и другое в одном стакане. А это вечное небо со своими звёздами в ночи хранит наши горячие головы, ну, словно тёплая шапка зимой.

Вглядимся в мерцание самой тусклой, едва заметной звёздочки, чей свет в наших глазах то прерывается, то появляется вновь! Возможно, это какой-то сигнал для всех нас? А может, эта звёздочка предназначена только мне одному и никому больше, и там, в её свечении, зашифровано нечто очень важное для меня?

А что если попытаться всё-таки прорвать завесу звёздной сети и, пронзив мыслью своей эту бездну, выйти навстречу одной-единственной СВОЕЙ звезде, которая только мне и дарована судьбой.

Поэзия

Дмитрий МИЗГУЛИН

Родился в 1961 году в Мурманске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. Вознесенского и Литературный институт им. А. Горького.

Автор пятнадцати поэтических книг, многочисленных публикаций в литературных журналах. Отдельными изданиями выходили книги на французском, английском, сербском, чешском, украинском, греческом, венгерском, болгарском, татарском и белорусском языках. Лауреат ряда литературных премий имени, премии Правительства РФ в области культуры (2013). Кавалер ордена Преподобного Серафима Саровского Русской православной церкви.

Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук и искусств, Российской академии естественных наук. Сопредседатель Попечительского совета альманаха «День поэзии – XXI век». Президент литературного фонда «Дорога жизни». Живет в Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийске.

СОГРЕЕТ ДУШУ ПРОСТОТА...

* * *

В суете, в круговерти,
В суматохе разлук
Я подумал о смерти
Неожиданно, вдруг.

И как будто очнулся –
И качнулся перрон,
И вокзал пошатнулся,
И отчалил вагон.

Я исчезну во мраке
Беспросветной ночи,
Не залают собаки,
И луна промолчит.

В мельтешенье столичном,
В ритмах сумрачных дня
Жизнь пойдет, как обычно,
Разве что – без меня.

Но не сгинут – хоть тресни
Хороши ли, плохи,
Непутевые песни,
Путевые стихи;

Да, плутала дорога
В суете и грехах,
Только все же – от Бога
Слово в наших стихах,

Он рассудит бесстрастно
Мир больной и большой.
Ведь унынье не властно
Над бессмертной душой.

Рождество

В церкви тихо. За окнами синими
Хлопья снега неспешно летящего,
В серебристо-березовом инее
Очертания города спящего.

Снегири, как шары новогодние
Украшают столетние ели,
И сомненья тревожат – сегодня ли
Вдруг отступятся злые метели,

И рассеется темень вселенская,
И застынет, притихнув, природа,
И зажжется звезда Вифлеемская,
Озарив полумрак небосвода.

* * *

Не думать, наверное, проще.
Но лучше ль печалиться зря?
Мерцает в осиновой роще
Багряный закат сентября.

Промчались июльские ливни.
Царят затяжные дожди.
Ну что же поделать, скажи мне,
Коль звонкий июль позади?

Возможно ль теперь возвращаться
В те дни, где звенела листва?
Как мокрые листья, кружатся
Такие простые слова.

И все – кутерьма и морока.
И впредь никого не вини,
Когда заалеют до срока
Каленой калины огни.

* * *

Скоро мы оставим мир подлунный,
 Чтоб потом преданиями стать...
 Всё равно мне – готы или гунны
 Будут эти земли населять.
 Птица пролетит легко, беспечно,
 Зазвенит в ручье лесном вода,
 Многое останется навечно,
 Многое исчезнет навсегда.
 Здесь же всё останется, как было,
 Это небо, роща и река,
 Это многоликое светило,
 Эти грозные облака.
 Не решай судьбу иных столетий,
 Не гадай о будущем в тоске,
 Слушай, как степной полынный ветер
 Говорит на русском языке.

* * *

Весна. Раскисшие дороги.
 Чернеет снег. Мутнеет даль.
 Мои привычные тревоги
 Вернул оттаявший февраль.

Привычно сердце разболелось
 И раздражает птичий гам.
 И вдруг внезапно захотелось
 На время очутиться там,.

Где откружившие метели
 К утру сугробы намели.
 Где спят рождественские ели,
 Склоняя ветви до земли.

* * *

В эпоху лжи и суеты,
 В преддверии упадка
 Не потерять бы простоты
 Как главного достатка.

Иду, сбивая сердце в кровь,
 Судьбы не проклиная,
 Но счастлив, что нашел любовь,
 А не ключи от рая.

Хвала пророку и вождю,
 Внемлю журчанью речи,
 Но больше радуюсь дождю
 Летящему навстречу.

Смеюсь и плачу невпопад,
 Когда введет в смятенье
 То мимолетный женский взгляд,
 То яблони цветенье.

Богатство, слава – все тщета
 Коль смерть всему итогом,
 Согреет душу простота,
 Дарованная Богом.

* * *

Дождём и снегом небо плачет,
 Привычной жизни суета.
 Воспринимаешь всё иначе
 Во дни великого поста.

Твой путь сомненьями завьюжен,
 Идёшь, преодолая тьму,
 Тебе уже никто не нужен,
 И ты не нужен никому.

Тебе на целом белом свете
 Уже не надо ничего...
 И только звёзды,
 Только ветер
 В пустыне сердца твоего.

* * *

Разверзлись и хляби, и воды.
 Мир тонет во мраке и мгле.
 Ужаснее этой погоды,
 Наверное, нет на земле.

Куда только не затекает,
 И где только не намело...
 В такую погоду спасает
 Любви позабытой тепло.

Но утром холодным и ранним
 Луч солнца не тронет окно,
 А если и ждёт расставанье,
 Без муки минует оно.

И Путь затуманится Млечный,
 Померкнет надежды звезда,
 И если остаться –

навечно,

А если уйти –

навсегда.

Алексей ОСТУДИН

Родился в 1962 году в Казани. Учился в Казанском государственном университете на филологическом факультете. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. М. Горького.

Автор восьми книг стихотворений, многочисленных публикаций в литературных журналах и альманахах. Выступал организатором трёх Форумов современной поэзии (2004, 2005, 2008) и поэтических вечеров в Казани, в которых приняли участие ведущие российские поэты и видные литераторы из ближнего и дальнего зарубежья. Соучредитель двух ежегодных казанских поэтических мероприятий, фестиваля имени Лобачевского и Хлебниковского фестиваля (2011–2017).

Живет в Казани.

ИЗ МОДЕМА ВЫГНАЛИ АДАМА...

Бодрое ультра

Огнетушитель приготовь, пока не вспыхнула рябина – ей осень полирует кровь закатом из гемоглобина, забейся в норку и – молчок, быть на виду – себе дороже, где дятел, как дверной крючок, в ушко сосны попасть не может,

вся дичь, в предчувствии стряпни, ленивей и вдвойне пушиста, расходятся кругами пни – следы от пальцев баяниста, тяжёлый заяц, на скаку, на двести градусов духовен печётся, с дырочкой в боку, и блеет одинокий овен

в тумане моря, где облом гремит ведром из-под сарая, в витрину упираясь лбом замрешь, игрушку выбирая, пришла пора в бутылку лезть, давить на клавиши штрих-кода – не посрамим былую жесть, родной захват для электрода,

торчит из ходиков орёл, ему сто лет гореть в гареме, на белку стрелку перевёл и за цепочку тянет время, мы за него поднимем лай в гранёных рюмках, холодея, – давай за статую, давай опять за голую идею,

где банных шаек перестук, прилипший листик на затылке, посмотришь с ужасом вокруг – одни будёновцы в парилке, и, наблюдая молодёжь, пока страна впадает в спячку, с губы улыбку сковырнёшь, как надоевшую болячку.

Поколение

Даже дворники смотрят влюблённо – не чатланин, зачётный пацак, нахватавшийся звёзд из бульона, выхожу, сукин сын – весь WhatsApp,

путь кремнистый блесит, как бетонка, только миг, за него и держись, нос похож на зародыш цыплёнка из журнала «Наука и жизнь».

Ко всему, что возможно исправить, сам давно оборвал провода, обновить бы короткую память – надоело сгорать со стыда.

Иногда пробивает на жалость к тем, кого оболгал WikiLeaks, мы попкорном, как кони, заржались кока-колой под нимб упились.

Пусть светило и больше не блещет – не спешим уходить на покой, хоть ломаемся чаще, чем вещи, и гарантии нет никакой.

Сила привычки

Из модема выгнали Адама – торрент Евы скачивал взасос. Месяц, словно ручка чемодана, к туче на колёсиках прирос. Посыпают звёзды из солонки Эйфелеву башню без корней – как у непослушного телёнка ноги разъезжаются у ней.

Сена под мостом синей Сенеки, у химеры иней на хвосте. Видеть сквозь опущенные веки мне удобней даже в темноте, здесь любая статуя носата, то ли дело – в солнечном раю, где не спят Роскосмос и Росатом, обнимая родину свою,

ласточки с весною в чьи-то сени прилетели брызгами с весла, будто и не гложет червь сомнений этот мир, испорченный весьма, будто не ослабла нить накала у всего, что двигает людьми – ни старалась как, ни намекала на пустые хлопоты любви.

Милая, ты тоже заскучала над последним яблоком в меню. Дочитаю Библию сначала, а потом, ей-богу, позвоню.

Сон программиста

Не первый день скакал в степи монгол, качалось солнце колосом на стебле.

Мы думали, сначала был Алгол
или Фортран, а вот и нет – Ассемблер.

Шуршал ковыль вскипевшим молоком,
стучался в небо жаворонок звонко,
натруженной печёнкой ёкал конь,
а вот и нет, он ёкал селезёнкой.

Затея в этом квесте непроста –
поймать ногой упущенное стремя,
где стрелки разошлись вокруг шеста,
как будто на шпагат упало время.

Всё поперёк здесь – кроличья нора,
языческие боги с аватара,
и Галь, и Оль на выдумки хитра,
и горизонт на линии загара.

Пусть алкоголем воздух возмущён,
шершавый свет забился под ресницы.
И сальса не рифмуется с борщом,
а помогает жить, кому не спится.

Пора на Марс

Мороз, сорвавшийся с домкрата,
летящая в пургу страна –
ничё, что ночью темновато,
вдруг солнце – бац, и – обана!

Спиртовый воздух режет дёсны,
коптят далёкие миры,
и острозубые, как блёсны,
в квартирах ёлки до поры.

История заходит с тыла,
кипит её густая взвесь –
а ты забил на всё, что было,
поэтому сейчас и здесь,

но, как шахтёры из забоя,
наощупь, тянутся на свет
газеты из прорех в обоях,
которых не было и нет –

как нет земли большой и плоской,
вестей состроек и полей,
пусть эти жёлтые полосы
почти развел столярный клей,

гудят встревоженные дали
и ледяные провода.

А может, это я в подвале,
где хлеб и горькая вода,

и, в новом опереньи фарса,
шагаю к свету по хвостам,
пока рукой подать до Марса,
и запускает Казахстан.

Тугеза

Запрета не было в указе на чилибуху и мышьяк,
но за буйки забрался Разин и бортничеством промышлял –
за ним враги смотрели в оба, судачил, кто не при делах,
зачем бросать подругу в воду, сказал бы попросту: «талах».

И я в любви, порой, небрежен – плыву с прокисшего вина:
знакомый остров, тот же стрежень, и подходящая волна,
пытит костёр, завален тиной, дым растянулся над рекой,
на ветке сохнет мой ботинок, другой, поменьше – на другой.

Что чертим на песке прутками – не бойся, вечером сотру,
упершись подбородком в камень, на Волгу до-о-о-лгую смотрю.
В плену условности не маюсь, согласно сдерживаю смех:
чтоб небо не пробить, сдаваясь – не поднимаю руки вверх.

Кем хочешь стану на допросе – я, сам себе невыносим –
и Волга тоже не выносит, не открывается Сим-сим.
Гуляет солнце с перегрузом, горит пыльца на языке,
посмотришь в щит, а там Медуза мнёт косметичку в рюкзаке.

Юность

Всё ясно, если первый встречный
принцессу взял за полцены –
сим-сим, не дьют фри, конечно,
но держат те же пацаны.

А мне пора компот из вишни,
нарзан на пике склона лет:
на циферблате третий лишний –
секундной стрелки тоже нет.

А было, в поле – сплошь татарник,
грозы нечаянной компресс,
и дышишь, как сквозь накомарник,
входя в густой и жирный лес.

Грибов и ягод запах винный,
далёкий топот, как извне,
и, вдруг, забрызганная глиной,
меня догонишь на коне,

тебе, в шестнадцать – всюду место,
доверчиво прильнёшь к плечу,
конечно, чья-нибудь невеста –
но я такую же хочу!

Коммунальная карма

На девятом живу этаже, на разошедшемся лифте катаюсь,
а вокруг провода в неглиже намекают на скорый катарсис,
вверх поедешь – вин руж де бордо предпочтёт плотоядным бесплотных,
жмёшь на первый – опустишься до поедания вкусных животных,

недобитый резиной дверной, слышишь – капает время из крана,
а в заплёванный пол пятернёй уперлась кожа от банана.
Если в горле от счастья першит, перегрузок других не имея
не впросак попадёшь, а на щит, или в щит, если станешь левее,

а когда у одной из подруг локоток – и стоим, как бараны,
кто напомнит, сгустившись вокруг: мы – опилки его пилорамы,
только он пожалеет бедняг, насылая чуму и цунами.
Вот и голос диспетчер наяр, собираясь не чикаться с нами.

Дауншифтинг

Кажется, зима – насмарку и, по-русски, ни хт ферштейн.
Бузины электросварку не раскрасил Эйзенштейн.

Оставляю город людный, и – туда, прости, жена,
где, как в зачехлённой лютне, абсолютна тишина.

Примем беленькой по махонькой, без традиции нельзя,
всё бы хиханьки да хаханьки – до свидания, друзья.

Здесь, скажу я вам, не Дания, и меня, как кур в ощи,п,
вдруг толкнуло на создание – а оно не верещит,

расправляет молча простыни и перины тормозит,
и простых желаний россыпи исполняет от души.

Вытянусь на банной полочке, покурю в густую ночь,
где не волчье слышишь – сволочь ты, а поморское – сволóчь.

Утром, погремев засовами, через лес начнём грести
прямо – к Богу, невесомые, у него же из горсти.

Незнакомка

Пока не замечаешь, как ты дышишь,
затылку далеко до потолка –
любовь-морковь не сразу сносит крышу,
полы и стены двигает пока,

и чем она слабей, тем ты целее –
сиди себе, в бутылочку гуди,
одна беда – похрустывает шея,
то горячо, то холодно в груди,

догадываюсь, будущее близко,
и вижу, как, попутав берега,
компьютер гладит ногу программистке,
дай бог, чтоб не толчковая нога,

в сети гуляет вирус приворотный –
одно из двух, влюблённость или грипп,
системный Блок, не гопник в подворотне,
мигнул глазами кролика – и влип.

Каким антибиотиком ни брызни,
нерукотворный образ не спалишь,
бесплатно отливают только в брызге,
чтоб накормить компьютерную мышь,

пластмассовой эпохе скажешь: здарсьте,
мне более надёжны и близки
часы – когда заводишь, на запястье
колёсико цепляет волосы,

поэтому, фантазии без лишней,
плевать, во что одета, хоть в лаптях,
но – губы, как наклюнутые вишни,
и мягкие морщинки на локтях.

Владимир ИЛЬИЧЕВ

Родился в 1981 году в селе Курмыш Горьковской области. Учился в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Работал сторожем, охранником, грузчиком, занимался предпринимательством, сейчас монтажник-отделочник экопокрытий.

Автор нескольких поэтических сборников. Член Российского социально-экологического Союза, участник экспертно-просветительского сообщества SEU-International.

Живет в деревне Коробцово, Ярославская область.

ПО ПИСЬМЕННОЙ СТОЛАКТИКЕ БРОЖУ...

* * *

Над прикидом пять минут колдовал:
с братом-солнышком играя вничью —
у рубахи оторвал рукава...
Будет холодно — обратно пришью.

Над обедом пять минут ворожил:
луговых надёргал ягодок в горсть;
мне чужие — в городах торгаши,
а лугам я — дурковатый, но гость.

Над собою пять минут хохотал,
отражаясь в молодильной воде,
и заплакал: крановуха-вода
где-то кончилась в трубе, в темноте.

Над обрывом пять минут подремал,
не боясь, что улететь можно вниз,
мне не выйти даже в чудвертьфинал,
но со мною делит солнышко приз.

Надо мною — ты... чудная... чуди:
пять минут буди меня тишиной,
а потом — куда захочешь иди
по планете нашей, круглой, чудной.

Маришка

Мария — из тех, кто закончит без троек,
кто смотрит на птичек и ловит перо их,

кто помнит по отчествам главных героев
из школьных и маминых книг.

Еще один вечер, еще одна книга
с флеш-карты, которая — космос без гига...
На улице жлобствует снежное иго,
отняв у спортсменов турник.

Мария мечтает о теплой погоде
и с этим — звонит баритону Володе,
Володя поет о цветах на баркоде —
меж черных полос аккурат...

Девчонка не верит — мальчишка фальшивит,
ошибки не то чтобы очень большие,
но в песнях его — не теплей, чем в Алжире,
а надо в Дубай, в эмират.

Входящий звонок на резервную симку,
Мария меняет Володьку на Димку,
с которым она танцевала в обнимку
два раза последней весной.

У Димки, наверное, теплится совесть —
опять позвонил, обсуждают, не ссорясь,
как жить — не тужить, богатея и строясь...
И все-таки градусов — ноль.

Не поздно приняться за новую книжку,
но... стала мечта походить на ледышку,
и пальцы отчаянья греют Маришку —
безудержно злые притом...

Всего-то — мечтала о теплой погоде,
а видятся сны о великом народе —
широкими лбами в пассивном доходе...
А утром звонит баритон.

* * *

Витиевато выражаясь
(как предпочёл и предпочту) —
ушёл я в минус, умножаясь
на плюсотворную мечту.

И у меня одно осталось:
надежда — каменнее львов —
на недосчитанную малость,
на разделённую любовь...

Но я ужасный математик,
а ты — психолог (лучше всех).
И только сны... мне понимать их
искомой суммой наших вех?

А львы сидят у входа в Числа,
невозмутимы и белы.
Над нами действие зависло,
а им – спокойно... ибо – львы.

На сине-белом и чёрно-звёздном

Устали небо на руках
держат атланты,
ушли, земное обругав,
ушли от мантры,
нашитой наспех там и тут
поверх молитвы.
Они обратно не придут.
Нет, не обидны,
законны – глыбы-облака
на годы фантов.
Но... на твоих уже руках
дела атлантов.
Стоишь, босая, на песке,
и небо держишь,
воссоздавая в лампе свет –
в перегоревшей,
мне показалось, навсегда:
привычно это.
Но почудеснее – звезда
дневного света.
Как много воздуха, воды,
песка... под небом,
и облака тобой горды
на сине-белом.
Кометной ниткой о тебе –
на чёрно-звёздном
строчит идеи кутюрье
для бренда «Космо».

Столактика

Меня всю жизнь хотят «приосадить»
пустые клетки серенькой тетрадки,
они и впереди, и позади,
есть верхние, есть нижние порядки...

Но я, когда наскучит, ухожу,
сначала на поля, потом – с орбиты,
по письменной столактике брожу,
где автор – не весёлый, не сердитый –

тетрадок разных столько разбросал,
что – мама дорогая, не ругайся.
Среди знакомых слов на них: «Роса»,
«Любовь», «Добро», «Цветок», «Тургенев»...
«Ася»...

А стол стоит у самого окна,
в котором столько звёздного простора,
что мне уже смешна, а не скучна
родная одноклеточная свора.

Родных не выбирают. Я ползу
под серую обложку, в тошный кризис –
любить... и ждать... ведь автором внизу
приписано: «Тетрадка-самописец».

* * *

Первым делом с утра – помолись,
как сумеешь, не драя речей...
Попроси, чтобы рос тамариск
и бежал без одышки ручей.

Не бумажек себе попроси,
а удачи планете своей,
да не только родимой Руси –
а планете, вот именно, всей.

Заставлять я тебя не берусь,
если взялся бы – вряд ли бы смог,
но останется в трещинах Русь –
где ни вырви планете кусок.

Наше время – не время любви,
наше племя – отродье Земли,
ну а ты по-земному живи,
это право себе – отмоли...

Небесам перед сном покажись,
отчитайся, грустя и шутя...
Помолись непременно за Жизнь,
ведь она встанет раньше тебя.

Сосна

Сосна... Огромная сосна...
Почти незыблемые корни...
Стоит, сто лет стоит она –
вдали от Фрейда, Юнга, Хорни...

И к ней не ходит почтальон,
и ей не пел ни разу Коэн –
а ствол живицей вдохновен,
и бор спокоен...

Мир спокоен...

Из будущих книг

Александр ХОРТ

Родился в 1941 году в Москве. В 1964 году окончил МИНХ имени Г. В. Плеханова. Работал по специальности, затем перешёл в журналистику, занялся литературой. Работал в «Московском комсомольце», «Литературной России», журнале «Юность».

Автор двадцати книг. Живет в Москве. В настоящее время пишет биографию выдающегося артиста Игоря Ильинского. Предлагаем вниманию читателей главу из будущей книги.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

20 июня 1937 года от причалов Московского южного речного порта отчалила экзотическая флотилия. Возглавлял кавалькаду пароход «Память Кирова». Здесь имелись оборудованное операторское помещение, зал для звукозаписи, костюмерная, фотолаборатория. На верхней палубе был сооружён павильон для съёмок. Через громкоговорители с «Памяти Кирова» доносилась новая песня Дунаевского и Лебедева-Кумача:

Много песен про Волгу пропето,
Но еще не сложили такой,
Чтобы, солнцем советским согрета,
Зазвенела над Волгой-рекой

Следом за «флагманом» на буксире шли бутафорский пароход «Северюга» и парусник «Лесоруб». «Северюга» представляла собой ветхое сооружение со ставнями на окнах и двумя трубами, украшенными сверху затейливыми металлическими финтифлюшками. Не менее экстравагантно выглядел парусник, приспособленный, в случае безветренной погоды, для передвижения на вёслах. При виде необычного каравана капитаны проходивших мимо судов нервно хватались за бинокли, а пассажиры высыпали на палубы, не скупясь на язвительные комментарии по поводу вида этих посудин. Успокаивались, лишь когда, подойдя ближе, замечали вымпел со всё объясняющей надписью «Мосфильм. Киноэкспедиция «Волга-Волга»». (Кстати, первое время название картины писали через запятую, что весьма логично.)

На протяжении всего творческого пути режиссёра «Волги-Волги» Г. Александрова порой обвиняли в чрезмерной осторожности. Тем не

менее Григорий Васильевич иной раз вольно или невольно поддерживал находящихся в опале знакомых. Например, в 1936 году, вскоре после выхода «Цирка» он привлёк к сотрудничеству находящегося в томской ссылке драматурга Эрдмана, блестяще проявившему себя на прежней совместной работе, фильме «Весёлые ребята». Предложил тому сообща потрудиться над сценарием картины к 20-летию Октября.

Когда в октябре следующего года срок ссылки закончился, Эрдман получил на руки справку Томского горотдела НКВД с формулировкой «минус шесть», то есть без права выбора местожительства в шести крупнейших городах страны. На первых порах в качестве «порта приписки» драматург выбрал областной центр, максимально приближённый к столице – Калинин, бывшую и будущую Тверь. Здесь его и разыскал Александров, предложивший уже вплотную засесть за сценарий своего очередного фильма.

Григорий Васильевич и рад бы поработать один, только драматургия не самое сильное его место. В лучшем случае он может продумать тематику фильма, общую направленность, фактуру. Для подробной разработки сценария ему требуется соавтор, способный превращать высказываемые режиссёром пожелания в литературное произведение, написанное по законам киножанра. Причём все лучшие сатирические перья страны Г. Александров уже использовал: в «Весёлых ребятах» это В. Масс и Н. Эрдман, в «Цирке» И. Ильф и Е. Петров, а также В. Катаев, и даже подключающийся во время отсутствия основных авторов И. Бабель. Отношения со всеми были не блестящими, однако других привлекательных комедиографов не оставалось. В тот период профессиональных сатириков можно было пересчитать по пальцам одной руки. Жанр такой, что со строгой цензурой тут не очень-то развёрнёшься. Перспектива же писать, что называется, в стол, без надежды на публикацию своего труда мало кого привлекала. Раз отсутствовал спрос – не было и предложений.

В отчаянии Григорий Васильевич пригласил в соавторы Владимира Нильсена – своего оператора. Человек остроумный, с хорошим вкусом, может, что-либо получится. Прикинули – в качестве фактуры раньше ими использовался джаз, потом цирк. На чём теперь остановиться? Разве что на художественной самодеятельности. Партия поощряет развитие народного творчества, об этом много говорят и пишут. Уже существует Центральный дом самодеятельного искусства имени Н. К. Крупской, состоялось Всероссийское совещание работников краевых и областных Домов самодеятельного искусства, открыт Театр народного творчества. Получается, тема и важная, и оригинальная, в художественных фильмах не отражена. А новаторство в искусстве, считай, половина успеха.

Легко убедив руководство «Мосфильма», что картина с подобной тематикой удачно впишется в рамки празднования двадцатилетия Октябрьской революции, Александров и Нильсен вскоре после премьеры «Цирка» отправились в длительную командировку по республикам Закавказья. За время поездки они убедились, что хорошая фактура для будущего фильма имеется. Художественная самодеятельность существует, в каждой республике она носит свой колорит, для фильма это всё выигрышные моменты. В сентябре они ходили на предоставленной киностудией яхте на Урал, где выбирали места для будущих натурных съёмок, а заодно знакомились с местной художественной самодеятельностью. Однако сочинение сценария подвигалось со скрипом.

С каждым днём становилось яснее: придумывать сюжетные повороты и диалоги – для этого нужен особый дар, тут требуется специалист. Только где ж его взять?!

Осенью выяснилось, что феноменальный выдумщик сюжетов Николай Эрдман после ссылки живёт сравнительно близко от Москвы – в Калининe. Для опального сатирика приглашение Александрова было большой радостью: он опять занимался любимым делом, возвращался в творческую среду, появился источник дохода. Режиссёр вдобавок был доволен и тем, что Николай Робертович привлёк к работе своего товарища – остроумнейшего и обаятельного Михаила Вольпина.

Тематическую направленность будущего фильма Александрову подсказали газеты, освещавшие каждую идеологическую кампанию, затеянную партией и правительством. В то время на первом плане были материалы о борьбе с бюрократизмом, поддержке народной инициативы и приобщении трудящихся к культуре. Эти лозунги и решил проиллюстрировать режиссёр в будущей картине, первоначальное название которой пугало своей серьёзностью – «Творчество народов».

Мудрые люди вроде уже хлебнувших лиха Михаила Вольпина и Николая Эрдмана понимали, что бороться с государственной машиной, подминающей под себя всех и вся, нужно крайне осмотрительно, в пределах дозволенного. В «Волге-Волге» есть сатирическое начало. Сейчас разрешена борьба с бюрократизмом. Вот соавторы и направили весь свой дар на высмеивание отрицательного персонажа – Бывалова, начальника управления кустарной промышленностью захолустного города Мелководска. Это представитель правящего в СССР класса – номенклатуры, тип советского руководящего работника. Нынче такие правят бал. Тут высмеивай, не высмеивай – с них всё как с гуся вода. Они неистребимы, их нельзя ликвидировать, так дадим рядовым людям возможность хотя бы посмеяться над ними.

Фамилия Бывалов перекочевала из фильма «Дом на Трубной», одним из соавторов которого был Н. Эрдман. Видимо, сам же её придумал, не стал бы Николай Робертович эксплуатировать чужую фантазию. (Каждый раз спотыкаюсь при упоминании гайдаевской троицы во главе с Бывалым.)

Вольпин и Эрдман кардинально переделали бессвязный сценарий Александрова и Нильсена. Они сделали стройный сюжет, уменьшили количество персонажей, некоторые эпизоды сократили, иные вообще убрали, заменив их новыми. Появился придуманный ими водовоз, чья лошадь останавливается возле каждого пивного ларька. А главное – драматурги создали по-настоящему сатирический образ бюрократа Бывалова. Именно эту роль сыграет Ильинский.

...В 1918–1919 годах, когда институт фотографии не стал совсем обыденной вещью, как в наши дни, было принято дарить знакомым на память снимки со своим изображением. Сохранились фотопортреты, подаренные начинающим актёром Игорем Ильинским начинающему писателю Коле Эрдману. На одном из них артист написал: «А всё-таки скоро мы будем работать вместе». (РГАЛИ. Фонд 2570, оп. 1, ед. хр. 155). Это «скоро» растянулось почти на двадцать лет – после неудачно сыгранного Гулячкина в захиревшей Александринке, следующая общая работа случилась в «Волге-Волге».

Сценарий комедии строился как история песни-частушки, которую сочинила молодая почтальонша Дуня, по прозвищу Стрелка. На эту историю нанизывались все сюжетные линии, конфликты и аттракционы.

Действие начиналось в затерянном на уральских просторах маленьком городке Мелководске, находящемся в отдалении от крупных культурных центров. Однако и в этом медвежьем углу творческая жизнь бьёт ключом. Тут много поистине талантливых людей, которые в свободное время охотно занимаются в различных коллективах художественной самодеятельности. Дворник – танцор, официант ресторана – певец, постовой милиционер виртуозно исполняет на свистке музыкальные мелодии, водовоз играет на тромбоне, счетовод Алёша Трубышкин – дирижёр «неаполитанского оркестра». Среди этих талантов особенно выделяется писмоносица Дуня Петрова, то бишь Стрелка – организатор и душа самодеятельного коллектива, у которого идёт спор за «культурное» лидерство в городе с оркестром, возглавляемым Трубышкиным. Дуня и Алёша влюблены друг в друга, и только разные взгляды на музыку не позволяют их отношениям достичь полной гармонии.

Здоровых увлечений мелководцев не замечает только махровый бюрократ Иван Иванович Бывалов, озабоченный лишь своей собственной карьерой. Когда из Москвы прибыла телеграмма с предложением послать на Всесоюзную олимпиаду художественной самодеятельности какой-нибудь коллектив, Бывалов посылает ответ: «В соревновании участвовать не могу из-за отсутствия в моей системе талантов».

Эти слова настолько возмутили Дуню, что она отказывается передавать такую телеграмму. Она решает поехать вместе с друзьями в Москву и на деле доказать, что талантливые люди в их городке имеются.

Предварительно Стрелка хочет доказать эту очевидную истину близорукому Бывалову. Тут в фильме происходит феноменально смешная сцена, низкий поклон за это Александрову – мелководцы буквально повсюду преследуют Ивана Ивановича, демонстрируя бюрократу свои способности. Обслуживающий его в ресторане официант поёт, повара танцуют; милиционер, к которому Бывалов обратился с жалобой, вывистывает музыкальную фразу; заливчато пляшет дворник; обиженные начальником управления кустарной промышленности посетители играют на струнных инструментах, мчащиеся по вызову пожарные – на духовых; дети устраивают вокруг спрятавшегося от преследователей Бывалова многолюдный хоровод. Горшечники играют на горшках, каменщики на булыжниках...

Честолюбивый Бывалов сломался лишь тогда, когда счетовод Алёша предложил ему взять в Москву «неаполитанский» оркестр, считаясь на бумаге его руководителем. Они отправляются в путь на допотопной «Севрюге». Тогда Стрелка собирает свой коллектив, её компания плывёт на паруснике, который обгоняет худосочный, кое-как отремонтированный пароход. По пути «отверженные» Иваном Ивановичем репетируют сочинённую Стрелкой песню о Волге. Мелодия понравилась оркестру, плывущему на «Севрюге». Музыканты записали ноты и разучили её. Потом из-за сквозняка листочки с записанными нотами разлетелись по сторонам, и удачная песня быстро стала популярной.

Основной конфликт фильма разгорелся в борьбе между Дуней и её друзьями с махровым бюрократом Бываловым. При разработке эпизодов сложилось естественное распределение сил: Александров и Нильсен занимались лирической линией, Вольпин и Эрдман взяли на себя сатирическую, в основном связанную с образом Бывалова. Велись частые телефонные переговоры с Ленинградом: музыку сочинял живший там Дунаевский.

На роль Бывалова пригласили соскучившегося по кино Игоря Владимировича. В написанном В. Лебедевым-Кумачом прологе его представляют следующими бесхитростными словами:

Вот Бывалов перед вами,
Бюрократ он исполинский.
Играет эту роль
Артист Ильинский.

Раньше выдающийся комик снимался в основном в немых фильмах и то получил всесоюзную известность. Это произошло благодаря тому, что у него выразительная мимика, актёр в совершенстве владел искусством пантомимы, причём её можно охарактеризовать как гротесковую. У Ильинского играли все части тела: руки, ноги, плечи, голова. Всё уморительно двигалось и дёргалось в самых замысловатых направлениях, вызывая у зрителей гомерический хохот. А лицо: нижняя губа поверх верхней, по-кошачьи шмыгающий носик, скошенные к переносице глазки... Публика восторгалась артистом. Его дебют в звуковом кинематографе был в малозаметном «Однажды летом». В «Волге-Волге» он мог уже говорить «во весь голос».

Ильинский в роли Бывалова блистал. Чувствовалось, артист наслаждается ролью сатирического персонажа, набросился на неё как голодный. Найдена точная маска бюрократа, каждое движение выверено, отточено, все репризы произносятся с таким смаком, что без промаха попадают в яблочко – не прореагировать на них невозможно. Ильинский даже прыгнул с верхней палубы, вместо того чтобы доверить опасный трюк дублёру. А ведь была середина октября, вода холодная, съёмки проходили в акватории Химкинского порта. Причём сначала предполагалось, что Бывалов прыгает со средней палубы, всё же не так опасно. Однако артист вошёл в раж и снялся в крайне рискованной для здоровья сцене.

Плюхаться в воду перед камерой Ильинскому не привыкать. Чай, не впервой. Он вдоволь нахлебался в «Папироснице», спасая снимавшуюся в кино «утопленницу» Зинаиду; едва не перевернулся в лодке, будучи закройщиком из Торжка; проваливался в яму с водой в «Кукле с миллионами»; его Сен-Вербуд чудом удержался за доски рухнувшего моста... Так что к эффектному прыжку Бывалова с верхней палубы морально Игорь Владимирович готов давно. Можно сказать, с подросткового возраста. Когда ему было 15 лет, мальчик активно занимался спортом, в том числе и греблей. Однажды ранней весной его скиф, дощатая плоскодонка, столкнулся с прогулочной лодкой. Игорь упал в ледяную воду и долго добирался до берега.

Пароходы поплыли по Москве-реке и Оке к Горькому, так с октября 1932 года назывался Нижний Новгород. В городе и окрестностях были проведены первые съёмки. Верхневолжское пароходство выделило в помощь «Памяти Кирова» буксир «Добролюбов», который постоянно маневрировал, переставляя и устанавливая в нужных местах декоративные суда.

Через три недели киношники отправились на Каму, снимали в районе Сарапула. Затем переместились к Перми, в устье Чусовой и на реку Вишера. Одна группа снималась на плотях. Другая сразу отправилась на Волгу, снимали возле Казани и Жигулёвских гор, где экспедиционная часть съёмок закончилась. Лишь в октябре и ноябре уже на Мо-

сковском море и канале Москва – Волга успели захватить солнечные деньки, чтобы доснять всю необходимую натуру.

Длительная отлучка из столицы, эпицентра политических инициатив, была ещё хороша тем, что позволяла абстрагироваться от сгущающейся мрачной атмосферы. Приятно было очутиться вдалеке от московской суеты. Вдобавок в столице суета не простая, а пугающая.

После убийства Кирова требовалось прилагать немало усилий, чтобы избавиться от тревожных предчувствий. Наступило такое время, когда лучше держать себя в узде, помалкивать. В августе 1936 года смертельный удар обрушился на политических соперников Сталина – Зиновьева и Каменева. В январе нынешнего на скамье подсудимых оказались Пятаков, Серебряков, Радек и другие старые большевики. Ещё зимой народному комиссару внутренних дел Н. И. Ежову было присвоено звание генерального комиссара государственной безопасности. Ежовщина всё больше входила во вкус, энкавэдэшники охотились за неугодными со сноровкой хищных обитателей джунглей. С львиной долей бывших троцкистов уже расправились, большую часть приговорили к смертной казни. Теперь номенклатура перешла к превентивным действиям – в угоду Сталину велась показательная чистка.

18 февраля 1937 года скончался один из близких соратников вождя – Орджоникидзе. Через несколько дней по городу гуляли глухие слухи, что товарищу Серго грозил арест как троцкисту и он покончил жизнь самоубийством. В марте появились сообщения о гнусной антипартийной деятельности Бухарина, Рыкова и иже с ними. Через три месяца весь цвет высшего командования Красной Армии был обвинён в измене, несколько крупных военачальников были расстреляны. Второго июля того же года по регионам была разослана уже упоминаемая выше телеграмма о необходимости арестов и расстрелов враждебных стране элементов.

Обстановка в стране была катастрофическая. Страх пронизал все поры общества. Мудрые люди советовали сидеть и не рыпаться.

22 сентября съёмочный коллектив «Волги-Волги», закончив, вернулся в Москву. Через несколько дней тень ежовщины скользнула по группе – 8 октября был арестован оператор Владимир Нильсен.

«Волга-Волга» значительно отставала от календарного графика. Первоначально планировалось закончить картину к 20-й годовщине Октябрьской революции, однако из-за плохой погоды не успели, во время экспедиции было много дождей. Финал снимался в Химкинском речном порту, на акватории которого было тесно от пароходов, барж, буксиров, яхт и клиперов. Остальные съёмки, главным образом крупные и средние планы, пришлось перенести в павильон. К середине сентября фильм был готов на 41 процент вместо 57 по плану. Премьера же состоялась лишь 24 апреля 1938 года.

Игорь Владимирович на премьеру не пошёл. Посчитал, что всё будет вертеться вокруг Орловой, до Бывалова никому дела нет. Стой как бедный родственник.

В данном случае интуиция подвела Ильинского. Его начальник управления мелкой кустарной промышленности тоже оказался в центре внимания зрителей, и они уже никогда не забывали его. Сам фильм безоговорочно причислен к сонму классики. Всё способствует этому: режиссёрские находки, игра артистов, музыка, песни.

В фильме остроумный текст, тут, очевидно, сказалось сатирическое мастерство М. Вольпина и Н. Эрмана, виртуозов отточенной репризы.

Неслучайно некоторые афоризмы из «Волги-Волги» прочно вошли в лексикон советских людей, раздёрганы на устные и письменные цитаты. Многие выразительно прозвучали из уст Игоря Владимировича. Это и «Благодаря моему чуткому руководству», и «Я на улице самокритикой заниматься не позволю», и «Примите у граждан этот брак и выдайте им другой». А гениальное в своей простоте выражение «Спасайся кто может!» настолько органично перекочевало в народный лексикон, будто существовало там веками.

Своим Бываловым актёр нанёс оглушительную оплеуху бюрократизму. Даже забулдыги вроде Никеша или Тапиоки вызывали у зрителей меньше гнева, чем глупый напыщенный чиновник.

...Этот мелкий случай упоминается во всех материалах, посвящённых жизни Игоря Владимировича. Не станем отступать от традиции и здесь. «Волга-Волга» стала одним из немногих фильмов, безоговорочно принятых «кремлёвским цензором» – Сталин смотрел её бессчётное количество раз, цитировал наиболее остроумные реплики. Когда на одном из приёмов вождю представили Ильинского, он шутливо сказал: «Здравствуйте, гражданин Бывалов. Вы бюрократ, и я бюрократ. Мы поймём друг друга. Пойдёмте побеседуем».

Долгая жизнь была уготована весёлому фильму. Каждое новое поколение радушно принимало персонажей «Волги-Волги» в свою компанию, не считая произведение устаревшим. Поэтому всенародно любимая картина до сих пор живёт полнокровной жизнью. Выпущена на дисках, показывается по телевидению, фигурирует в художественной литературе. Например, в повести Семёна Липкина «Декада» описывается, как после одного из кремлёвских приёмов члены правительства и гости стали смотреть кино. «Крайним во втором ряду, у самого прохода, сидел Каганович, около него – Сталин, далее Берия, Маленков, Молотов и прочие. Свет погас. На полотне начался фильм “Волга-Волга”. Примерно в середине фильма послышался голос Сталина, весёлый, высокий:

– Сейчас он упадёт в воду

И действительно, Игорь Ильинский свалился с палубы в воду. Сталин в каком-то неистовстве стал бить Кагановича по коленке».

Порой картина напоминает о себе в самых неожиданных контекстах, вплоть до анекдотов:

– Штирлиц, какой ваш любимый фильм? – спросил Мюллер.

– «Волга-Волга», – чуть было не выпалил Штирлиц, но вовремя спохватился и сказал: – «Баден-Баден».

Публицистика

Владимир КУТЫРЁВ

Родился в 1943 году в деревне Высокая (Сорокино) Чкаловского района Горьковской области. После окончания Заволжского строительного техникума служил в Советской армии, учился на философском факультете МГУ, там же в аспирантуре. Преподавал в Костромском педагогическом институте, в Горьковской высшей партийной школе, в Нижегородском архитектурно-строительном университете. В настоящее время профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор философских наук.

Автор ряда книг и многочисленных публикаций. Дважды лауреат премии Нижнего Новгорода за книги «Естественное и искусственное: борьба миров» (1995) и книгу «Бытие или Ничто» (2010). Трижды лауреат Всероссийского конкурса научных публикаций по гуманитарным дисциплинам: за книги «Философский образ нашего времени» (2007), «Время Mortido» (2012) и «Последнее целование. Человек как традиция» (2015). Награжден серебряной медалью С.Н. Булгакова (2008). Живет в Нижнем Новгороде.

ТЕХНИКА РЕШАЕТ ВСЕ(X)

Я хожу среди людей как среди обломков будущего, – того будущего, что вижу я.

Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра»

Самое большое зло нашей цивилизации

Какое? Ее успехи. Дальнейший прогресс в том же направлении. История как детская игра в классики. Скакали, скакали по клеткам-формациям и вот – «Отдых». Рай. Стоим обеими ногами и не знаем, куда скакать дальше. Не знаем и зачем. Изобретатели-по(ис)треблятели. Заговорили о конце истории. Да, это так и есть. Вместо нее – история техники. Прогресс как технос. Который, подавляя жизнь, несет цель в себе. Под безудержно наращиваемые богатства и средства придумываются цели чуждые действительному благу человека, его жизни как стремлению к внутренней радости (счастью) и духовно-физическому самосовершенствованию. Люди истощаются сначала в их достижении, потом в борьбе с последствиями, когда достигнут. Мы все менее счастливы, все более депрессивны. Кенозис – истощение творца в своих творениях. В построении тотального рая как электронно-цифрового безопасно (благо)устроенного концлагеря. Рай как легкая паразитическая жизнь – ловушка для человечества. Значит, ад. *Райад*. В нем живут виртуальные люди. Без тела, одним сознанием. «Люди». Полу-мертвые. Мы становимся undead = живыми умершими.

Люди – вон из рая. Будьте реальными – мучайтесь.

Путь в компьютер

Главный аргумент, которым прикрываются все не желающие думать, что действительно происходит, обычно тот, что защитники природы и человека – алармисты, они все преувеличивают и пугают. У них «эмоции». Поэтому «пугание» правдой, целесообразно предварить расписанной по годам оценкой ближайших перспектив прогресса, данной известным футурологом Рэем Курцвелом. Он технический директор Google, значит, не просто фантазирует, а работает над практической реализацией конкретных программ. Это ярчайший образец гениально без(д)умного технизма, без всяких сомнений принимающего программу The Road to Hell (движения по дороге в ад), к суициду человечества, не желая в этом отдавать отчета. Причем он очень мало, почти не лжет насчет будущего человеческого «бессмертия», которым упорно обманывают себя рядовые технократы и не смотрящие дальше своего носа обыватели, особенно ученые.

Итак, вот как *технический директор Google* расписал будущее мира: выдержки из его прогноза:

2020 – Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом.

2024 – Элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в автомобилях. Людям запретят (! – В. К.) садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными помощниками.

2039 – Наномашины будут имплантироваться прямо в мозг и осуществлять произвольный (! – В. К.) ввод и вывод сигналов из клеток мозга. Это приведет к виртуальной реальности «полного погружения», которая не потребует никакого дополнительного оборудования.

2040 – Поисковые системы станут основой для гаджетов, которые будут вживляться в человеческий организм. Поиск будет осуществляться не только с помощью языка, но и с помощью мыслей, а результаты поисковых запросов будут выводиться на экран тех же линз или очков.

2043 – Человеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы будут заменять кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества.

2044 – Небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический.

2045 – Наступление технологической сингулярности. Земля превратится в один гигантский компьютер.

Таковы прогнозные радости превращения человека и его феноменологического мира в нечто «Иное». Оно будет «в миллиарды раз более разумным». Судя по тому, что этот факт, который для людей должен был бы быть главной тревогой, мало кого заботит, – может, уже стал. Кто в него не верит, осмеивайте думающих и озабоченных, говорите, что у них «пессимизм», «алармизм», «еще не», кто верит и хочет продолжать быть человеком, боритесь с этой перспективой или хотя бы о(б)суждайте подобные идеи. Ведь так близко. Вот он, конец света по-научному. Но ничего, кроме восторгов телевизионно-компьютерной толпы, легкого ёрничания «о возможных опасностях» и призывов скорее заменить «гуманитарными» технологиями все человеческое, в философской антропологии, не говоря об обществе в целом – не слышно.

Путь в космос

20 января 2015 г. Лондон. Известный *физик-теоретик* Стивен Хокинг заявил, что больше всего человечеству угрожают плоды науки и технологии, сообщает Gurdian. «Мы не остановим прогресс или обратим вектор его движения, поэтому должны признать его опасности и контролировать их», – сказал Хокинг.

Так я об этом (же). С принципиальной разницей. Хокинг, признавая угрозу нерегулируемого прогресса техники для человека (в отличие от Курцвейла, не думающего о последствиях и трансгуманистов, культивирующих само/обман), ищет выход в его переносе на другие планеты, в космос, куда бы отправился и человек. А я, как любой человек, чье сознание не сужено до технизма, говорю, что поскольку мы живые существа, то сохранение земной природы является условием продолжения нашего существования. Мертвому, безжизненному космосу, который известен, адекватна безжизненная форма разума. Не ч(т)еловек. В космосе Гагарин не был, никто не был. Люди в нем только «присутствуют». В скафандре из земной среды. А вот нечто другое, в виде в «миллиарды раз более разумных» роботов – будут. Но это – не мы. Я – представитель рода «человек». О ком и о чем должен заботиться?

Все так очевидно. Но поскольку трагично – видеть не хотят. Забалтывают(ся).

* * *

Для существующей технологии содержание человека становится все более дорогим и нерациональным делом. Не говоря уже о том, что он крайне несовершенен как субъект производства – допускает много ошибок, быстро устает, не успевает, не выдерживает, не справляется, является «узким местом», короче говоря, нетехнологичен, из-за чего приходится ставить «защиту от дурака». На самом деле это начинается защита от человека. Перед лицом Hi-Tech-технологий мы все дураки. Человек вообще невыгоден и уже мешает слаженному функционированию общества в целом. Система стремится превратить его в свой элемент, лишив индивидуальных особенностей и свободы (непредсказуемости поведения), преследуя его самость в максимально возможной степени, организуя ее.

Острые удара обычно направляется против эмоционального начала жизни и «фаллоцентризма», так как тут прорываются остатки сопротивления. Глобальное же условие дальнейшего развития цивилизации – **демонтаж человека** как естественного существа, его замена рациональным робототехническим устройством. Это тайна всех пост/транс/модернистских «деконструкций» и «смертей» – субъекта, творца, автора, человека. Содержание так называемой 4-й (четвертой) промышленной революции, о которой начали говорить как о том, зачем надо как можно скорее успеть, но абсолютно не задумываясь, что это будет успехом в саморазвитии производства. Несоразмерного человеку. Когда оно будет не человеко-машинное, а только машинное. Какое-то время люди будут его паразитами. Паразитами техногенного разума. Потом погибнут. Вы(пере)родятся. Жизнь без человека. Постжизнь. Бессмертие как абсолютная смерть. **Технос.** Тогда будут пойманы сигналы и найдены следы других мертвых цивилизаций.

Где живем

В постиндустриальном обществе наука стала постклассической, вступили в постисторию, вера постхристианская, в культуре постмодернизм и т. д.

Поствремя какое-то? Или «конец времен»? Конец истории, как провозгласил известный американский социолог Ф. Фукуяма. Провозгласил, первый, правильно, вообще он заслуживает всяческого уважения за то, что не побоялся назвать трансгуманизм самой страшной идеей нашего времени, чем вызвал в среде роботообразных настоящую ненависть, объявивших его «предателем». Провозгласил, но все-таки недостаточно глубоко, без понимания бытийного смысла происходящего. И так же, не задумываясь, по-попугайски за ним стали все повторять. Или бездоказательно отрицать.

На самом деле это конец собственно (исключительно) человеческого времени, вступление цивилизации в человеко-машинное состояние. Человек существует, действует, однако не как автор, а как агент или фактор («человеческий фактор») Системы. Или Сети. Несоизмеримо более мощной, чем человеческое общество. **Постчеловеческий мир!** И все остальные «пост» вытекают отсюда. История продолжается, но человек перестает быть ее субъектом. А скоро, может быть, и элементом.

То, что называют проблемами технологической революции, – это проблемы современного этапа цивилизации, вопрос о судьбах человечества. Подземный гул кризиса цивилизации великие люди слышали давно (Руссо, Толстой, Торо). Они кричали, но мало кто им внимал. Обычные люди стали его чувствовать, когда начались толчки. Некоторые же счастливы, наверное, так и умрут во сне.

* * *

Поступать в соответствии с **разумными** требованиями современной технической цивилизации – это и значит двигаться к гибели. Ее «разум» – в безудержном, то есть без(д)умном новационизме, то есть в бессмысленном возрастании искусственно придумываемого и навязываемого, в результате чего петля на шее человека затягивается все туже. И затягивает ее он сам – своей деятельностью. Разум-но затягивает. По большому счету, человечеству ничего не угрожает. Кроме самоубийства. А болтовня, например, насчет угрозы астероидов, нужна для отвлечения внимания от этой земной перспективы и, что немаловажно, для увеличения финансирования такого рода научно-теоретических игр. Суть современной драмы «техника и человек»: горшок восстал на горшечника. Тварь превзошла творца. И оставляет от него – черепки.

Биотопливо. Жизнь на топливо. Обсуждают условия применения, где-то уже применяют. Чудовищно истощая почву, засевают и обрабатывают машинами поля, выращивают живое (рапс и т. п.), чтобы кормить машины. Вместо людей. Как доить коров, чтобы заливать молоко в тракторные баки. На нем пахать землю, чтобы выращивать коров. А что – литр молока (Х руб. – из бочки) теперь дешевле литра бензина (У руб. – на ближайшей заправке). И у кого-то поворачивается язык называть эту цивилизацию разумной? «Ноосферой»? Перепили(сь) бензина, что ли.

Технологизация жизни приобрела столь чудовищный характер, что от продуктов отделился даже вкус. Пища дистиллированная, пресная – как американский хлеб, а носитель вкуса – разные соусы и химические добавки, с помощью которых какой-то вкус ей как-то возвращают. И извращают. Стали жаловаться на «дисбактериоз», который стал массовым. Особенно у детей. Потом диагноз уточнили: дисбиоз. То есть отсутствие в желудке (пока в желудке, животе) – жизни (био, с греч. жизнь = живот). Объясняют избытком применения лекарств и искусственных добавок. Но выход видят в том, чтобы давать другие искусственные добавки и лекарства. Обеспечивающие «пребиоз». Вместо призыва не травить себя добавками и лекарствами, в основном симптоматическими, фактически призывают устроить в желудке соревнование двух футбольных команд «дис» и «пре». «Пре», мол, победит, оно современное, на базе нанотехнологий и быстрее «бежит» (проникает и нейтрализует), уверяет какое-то научно-исследовательское светило. Темнело. (Читатель, почему я об этом должен говорить один, оценивайте эту мудрость сами).

* * *

Изоощряемся в количестве сортов и оттенков продукта, а скоро кислое от сладкого отличать не будем. Искусственный – иску(с)ный, иску(с)шенный (все попробовал) вкус: всевозможные красители, ароматизаторы, подсластители. И все «яблочнее яблока», «земляничнее земляники». Горько думать, но образовалась какая-то всеобщая аллергическая корпорация «Сладкая жизнь».

Современные тенденции: кофе без кофеина, сигареты без никотина, вино без алкоголя, секс без партнера... человек без души. Вещи без своей сути – только имена вещей. От вещей – к «симулякрам». По-русски – подделкам. Жизнь «как бы». И человек – как **название человека**. Знаковая революция!

Как приспособливаемся

В начале XX века царила общая уверенность, что все проблемы человечества разрешат наука и новая техника. Ее разделяли самые выдающиеся мыслители. В течение века были сделаны миллионы открытий и изобретений, сменилось несколько поколений техники. Но стал ли человек лучше, убавилось ли у него проблем? Угроз ему? Сейчас уверенность в том, что эти проблемы разрешит новая техника, разделяют только выдающиеся идиоты. Но их по-прежнему много, их все больше, и все озабочены «ускорением» развития техники. А вернее, она сама развивается. Самостоятельно. Наконец, волны технического прогресса превратились в девятый вал. Цунами. **Стали высокими (технологиями), то есть пре-вышающими возможности человека. Стали сверх-пост-человеческими.**

А пока: с барского стола, за которым пируют машины и технологии, человеку, их творцу и лакею, перепадает крохи. **Под видом человеческих** выступают потребности производства. Они искусственны для человека и естественны для искусственного мира.

Предлагают применять компьютеры в поэтическом творчестве. Например, для заготовки рифм или «составления полного словаря

русских рифм». Обсуждается это серьезно и с чувством удовлетворения за успехи наукотехники, имея в виду, что с ее помощью «на-гора» можно будет выдавать гораздо больше стихов. Не говоря о том, что компьютер сам «пишет стихи» и что с помощью динамического чтения их можно больше и скорее прочитать. Динамическое чтение. Соблазняют, что любой текст можно прочесть в несколько раз быстрее. Но после овладения основными навыками, скорость чтения определяется, «тормозится» прежде всего, чувствами и образами, которые при этом возникают. Их обилием и яркостью. Потом мыслями, которые приходят в голову. Их глубиной и серьезностью. Это-то все и надо отсекал, чтобы не задерживаться на тексте.

* * *

Для творческого человека чтение только средство, возбуждающее его чувства и мысли, а цель и смысл – переживание и духовное преобразование мира. При динамическом чтении остается одна голая информация. Более быстрое овладение ею, действительно полезно в некоторых сугубо технических ситуациях. Но их переносят на все. Тогда, может, стоит быстрее прослушивать музыку? С большей скоростью петь? Посещать за один день не одну страну, а две? Видел рекламу: «Вся Италия за 6 часов». Просматривать в кинотеатре за полтора часа не один фильм, а три, в музее за 10 минут не одну картину, а десять?

Вообще, все это не поддается здравому объяснению. Кому, зачем – даже не задумываются. Если истерия потребления приостанавливается, а скорость распада уменьшается, вопят, что «наступил кризис». В страны, где остаются элементы сопротивления разложению, посылают войска интервентов. Чтобы под лозунгами демократии и прав человека навязать им свой прогресс к смерти. Они, видите ли, «верят». У них, видите ли, сохранилась «семья» и культивируется мораль. Они смеют различать «мужское» и «женское», считая, что у них разные роли и продолжают рожать детей, а стариков, вместо того, чтобы отсылать в благоустроенные резервации, почитают. Ну не возмутительно ли! Все как в Библии или Коране. Как не осчастливить их благами свободы сексуального воспитания, порнографии с толерантностью и ювенальной юстицией. Чтобы они тоже – вырождались. Не только духовно, но буквально, демографически. Как «цивилизованные». Это какая-то постигшая человечество шизофрения. Постигшая в целом, как целое. Шизоумие(я). «Новый абсурдный мир» – так можно скорректировать предвидение О. Хаксли.

Сколько переводят название его книги: «Новый прекрасный мир», «Новый дивный мир», «Новый brave мир» – и все неадекватно. Конечно же, надо сказать: «Новый удивительный мир». И добавить: «Удивительное – рядом». Новационное общество. Его главные ценности, точно такие же, как были у Хаксли («общность, одинаковость, стабильность»). То есть это и есть глобализм, его цели и идеалы, кроме, пожалуй, стабильности. Или «стабильность хаоса» перехода к нему. Но подобному совпадению почему-то не удивляются. Если рядом – никогда не удивляются. Вот моя любимая, которую я готов всегда повторять, самая трагичная и горькая мысль о сладкой смерти, мысль-эвтаназия: **мы не будем знать, когда нас не будет.** Не знаем.

На пути к постчеловеку

Современная технология на Земле, а тем более в далеком космосе требует как минимум киборга, а не этого водянисто-хрупко-телесного существа, подверженного к тому же эмоциям, волнению и ошибкам, которое сейчас есть и которое называется человеком. Горе побежденным! **Человека никто не разрушает извне. Он самоотрицается в пользу Разума**, который может распространяться универсально, если меняет субстратные оболочки. Материя бесконечна, и, чтобы осваивать ее, Разум тоже должен быть бесконечным, то есть бесконечно изменчивым. Останется ли и на какое время биологический человек наряду с другими носителями Разума? Может быть, у него будет своя «ниша»? Как мы снисходительно относимся к детям, так более высокий искусственный Разум будет терпим к собственному детству – человеческому состоянию? Может, компьютеры нас сохраняют? Хотя вот в Пентагоне, как радостно сообщает пресса, уже создали робота-людоеда. Но пока человек есть, биологическое начало является в нем источником творческих потенций. Оно незаменимо. Любовь и Эрос – топливо Жизни. Биологическое начало глухо бьется во все утолщающейся социально-технической скорлупе.

Человек ко всему привыкает и со всем смиряется. Даже со своей ненужностью. С тем, что он стал «фактором», который везде виноват, «капиталом», который «по определению» есть средство для получения прибыли. Даже с перспективой поглощения нано(ро)ботами и превращения в «серую слизь», о чем сначала говорят всерьез, с теоретическими выкладками, а потом «просто так» – о(т)говариваются. Механизм адаптации: **любая патология в конце концов возводится в норму.**

Человек – это бесполезная страсть, говорил Сартр. Теперь наоборот, это бесстрастная полезность. Живет он по интенсивной технологии. Новый, мультипликационный человек. К-липовый человек. Постчеловек. Его появление требует расширения терминологии: вещество-существо-тущество; вместо человека – техновек, а человечество – техночеловечество. «Все прогрессивное техночеловечество...» – так будут начинаться передовые статьи и блоги в III тысячелетии. В них будут громить недобитых реакционеров, разных экологов, гуманистов, традиционалистов и прочих живых людей. «Живых» будут обязательно брать в кавычки. Как сейчас уже берут «природу», «естественное» или лишают имени, давая отрицательное определение: *unmade* – неслеланное. В постмодернизме «природа» неприличное слово. Ненормативная лексика. Начали доказывать, что искусственное это естественное, а отсюда вытекает, что естественное надо считать искусственным, то есть чем-то необязательным, незакономерным, что касается человека, то он всегда был искусственным, да и вообще: «люди ли мы?»

Растворяют... размешивают... превращают в материал. Не только фактически, но и идейно.. И, наконец, появились сторонники генетического, нейронного и прочего «у-совершенствования» человека – трансгуманисты. *Пятая колонна машинообразных, до сих пор маскировавшаяся под человека, под заботу о нем, вышла на улицы и открыто подняла свои знамена* (следите за литературой, за успехами ка(о)мпании по расчеловечиванию человека и дискредитации гуманизма, их замене «гуманологией», «персонологией» и вообще – антропофобией). Символический универсум захватывают гуманоиды. **Началась революция мутантов.**

* * *

Для современной цивилизации человек, прежде чем станет ненужным совсем, остается нужным на момент, в пик своего развития. Когда он дает высший результат – но поддерживать его долго не может. Начиная со спорта, где имена чемпионов мелькают с калейдоскопической быстротой. Большим спортсменом можно быть только раз, а потом в тираж. В искусстве, науке та же тенденция, старые академики не ученые, они не в счет. Сверхзвуковые летчики уходят на пенсию как балерины. В сложных технологиях человек вообще не способен работать в течение всей жизни. Постепенно он и вовсе не будет способен угнаться за гонкой технологий, которую сам же «ускоряет». И либо будет выбрасываться на обочину, либо должен стать смешанным существом, «кентавром», сначала духовно, а потом и телесно. Его будут пытаться «развивать», «улучшать». Human Enhancement (усовершенствование человека) – таков теперь идеал прогрессивного человечества. До какого состояния, где, на какой модели остановятся? Бессмыслица какая-то. Нет, это не бессмыслица, а переход цивилизации в фазис умирания. Через безумие, если оценивать это с точки зрения естественного и жизни. А если с точки зрения будущих «информационных ландшафтов», о чем мечтают те, чье сознание уже перезагружено в пользу иного, то вполне разумно. Что безумно для жизни, то разумно для техники. Безумие = Разум. В футурологии и фантастике об этом целая ветвь: о гибели цивилизаций в процессе развития. Прогрессоры все читали, но лгут себе и людям, что будет им благо. **Безнадежное соревнование с техноэволюцией.**

Земля, Цивилизация, начало Третьего тысячелетия от Р. Х. **Крик о небытии.** Отчаянный – тех, кто понимает, восторженный – тех, кто вычисляет. И мы -(ол)чание ягнят.

Как среди обезьян в свое время появились человекообразные, так среди людей сейчас уже есть роботообразные. Роботы становятся как люди (искусственный интеллект), а люди как роботы (бесчувственное тело) – процесс снятия человека идет с двух сторон. «Снятый человек» – снятое молоко, обездушено, обезжирено. «Обрат», если вспомнить деревню.

Как живем

Переход от деревни к городу: культура поноса (от бактериальных инфекций и сырой во(е)ды) сменяется культурой запоров (от медицинского дисбактериоза и искусственных добавок), культура грыж (от тяжелой работы) – культурой геморроя (от тягостного сидения). Когда «удобства были во дворе», люди пользовались ими два-три раза в сутки. Как взрослые собаки. С появлением ватерклозетов стали ходить туда раз пять-шесть. Как малые дети. В богатых домах/квартирах туалетов теперь много – не на семью, а каждому, индивидуально. А как иначе? (еще у последнего русского царя на летней даче туалеты были в виде прорезанной дыры в доске) – думают их обитатели. Ну не рай ли, а мы все ноем. Шикарные, вплоть до полочек для одновременного (!) питья кофе. И на «свой» толчок бегают то и дело. Как старые утки. При социализме, когда общественные туалеты были бесплатными и грязными, их посещали надо и не

надо. «Для чего папа, заходить, для профилактики, да?» – спрашивал меня мой маленький сын. «На всякий случай», – строго говорил я. При капитализме, когда они стали чистые, но за деньги, когда под девизом «клиент всегда прав» в них начали исполнять классическую музыку (под кого вы желаете, под Шопена или Чайковского), желающих стало много меньше. «Не хочется». Вот какие умные у нас организмы, даже мочевой пузырь считать умеет. И понимает, в отличие от основной массы своих голов, как надо себя вести. А в гуманитарных науках все темнеет: «мы не знаем общества, в котором живем». Мочевой пузырь и то(т) знает. Ученым и политикам: слушайте пузырь, и вам откроется Истина.

Современные культурные люди: в сравнении с прошлыми и необразованными они чистые снаружи и грязные внутри. Не потеют, не плачут, перестали плевать, не пользуются платками. «Сопляк» было когда-то возрастной категорией. Синонимом подростка. Как моложе – молокосос. Когда в деревне молодежь постарше не хотели нас куда-то брать, говорили: «обойдемся без сопливых». Лет до 12. Теперь сопливых нет, бактериальный мир в основном побежден. Его заменили вирусы. А воспаления спасаются в еще недоступных для мазей и спреев местах. В «простате». До нее добраться трудно. Это их последний бастион. Оставшиеся от побежденных инфекций бактерии возвращаются в организм в целом. Потом приходится лечить гаймориты, аллергии, почки. И простатит. Зато моемся каждый день (судя по американским фильмам, они вообще живут в душе), упорно вымывая из кожи и волос оставшиеся элементы жизни. Потом, применяя изощренную косметику, их опять как-то вносят. Гламурны-е. Ё!

* * *

В век развития химии борьба с запахом жизни завершается полной победой культуры. В Японии сейчас культ чистоты, чистого дома и улиц, когда кажется, что единственным мусором в/на н(ем)их является сам человек. Культ чистого тела, ибо там, вопреки туристскому взгляду, дальше всех продвинулись в подавлении природы. Но иногда людей охватывает тоска по естеству, и они прибегают к его имитации: изготавливают духи под запах разгоряченного тела, трудового пота и т. п. Скоро на улицах специально будут разбрасывать мусор. А в центре города время от времени выпускать побегать собаку. Чтобы немного очеловечить. Но для безопасности под непрерывным наблюдением, кастрированную, очипованную и только потом – таких же людей. Сначала преступников, потом – вообще – по программе «безопасный город».

Далеко простирает химия руки свои в дела человеческие, говорил Д.И. Менделеев. Когда-то посуду мыли горчицей, а полы с песком. Потом стали содой и мылом – первоначальная химия. Потом изобрели намного более эффективные средства, но они были ядовиты, раздражали кожу и сильно пахли. Их надо было опасаться, осторожничать, тщательно избавляться от следов контакта с этим веществом. И только современная химия стала благоприятной к человеку. Ласковой и заботливой. Стиральный порошок отдает лимоном, а чистящие пасты земляникой и яблоками. Так вкусно пахнут, что того гляди захочется съесть. Или воспользоваться как косметикой. Натерся стиральным порошком – и в гости. Намазался «Фейри» – на бал. Тщательно смывать

с посуды все эти приятно пахнущие вещества кажется излишним. Так, по минимуму. Даже дихлофос перестал вонять. Не то чтобы «и вдоль не мог надышаться», но падающие мухи вызывают удивление. С чего бы это?

Весьма древний фактор культуры в борьбе с природой – духи и дезодоранты. **Здоровое тело хорошо пахнет**, оно нормально пахнет. Запах – его естественное продолжение, воздушная оболочка. Но цивилизация выводит запах за рамки приличия, **преследует его**. Духи – набедренная повязка человеческого запаха, его одежда. Теперь настолько хорошо одеваются, что появились ароматизированные презервативы. Цветные и чтобы красивые. Мода на них, и чтобы от лучших фирм. Смотрят на бренд. Да на то ли смотреть-то надо! Это выражение полного, абсолютного отчуждения человека от своей природы. И его полного социального оглушения. «Потр(д)ебилизации». (Совсем с-бренд-или!) Уверен, обо что и чем угодно готов биться, что они провоцируют, порождают импотенцию. И нужны они импотентам, явным или будущим.

Критики твердят, что наша цивилизация бездуховна. Неправда. Пахнет. Царица Клеопатра задохнулась бы от зависти, сравнивая ее бытовые освежители со своими притираниями для лица. Правда, в других местах, «на свежем воздухе» дела обстоят не столь благоприятно – гарь, вонь. Никак не начнут забивать ее на улицах. Так, кое-где, в ресторанах, магазинах и появились машины, «окутанные запахом ванили». Но тут препятствие. Не всем, видите ли, нравится, боятся аллергии, астмы. Не понимают, что химия опять придет на помощь – глубокая диагностика, полное подавление иммунитета, мощное усиление иммунитета, модулирование иммунитета и прочая игра на организме. Заигрываемся. «Дауны» прогресса. Задушенные комфортом, занюханые удобствами.

* * *

В подсознание – основную творческую лабораторию человека – попадает только то, что прошло через чувства. Через чувства проходит прежде всего живое, непосредственное воздействие другого человека, природы, мира. Информационное воздействие затрагивает только мышление, «кору». От хоккея по телевизору остается легкий поверхностный след, который, как от самолета, быстро рассеивается с новыми впечатлениями, смешивается с ними. Хоккей на стадионе, даже наблюдение, а тем более собственную игру, особенно когда избили, помнит все тело, весь человек. Она остается в нас. И так – любые события. По телевидению и компьютеру мы были везде, в любых городах и музеях, в Антарктиде и пустынях, на всей планете. И слышали обо всем. Но что это дает? Общее впечатление без переживания. «Мы многое из книжек узнаем, а истины передают изустно» – пел В. Высоцкий. Теперь вот все узнаем из компьютера, в основном ложь. Чтобы не передавать устных истин, минимизируют живое преподавание. Дистанционное образование, которое тут же забывается, когда «сходят с дистанции». Многие удовлетворяются жизнью без и(е)стины – живут как наблюдатели, **«рядом с бытием»**. Некоторые уже и не нуждаются в переживании – роботообразные, другие, напротив, прибегают к искусственной имитации переживания – наркообразные. Принцип дополнительности.

Коммуникация или жизнь?

Почему люди все время недовольны телевидением, этим величайшим даром цивилизации? Потому что **это дар данайцев**. В нас бунтует подавленная, не находящая реализации часть нашего живого существа. Даже в новогоднюю ночь, как невольники на галерах, мы прикованы к ящикам – телеэкранам и компьютерам. Сами не способные ни петь, ни плясать, ни кричать, ни смеяться, ни флиртовать, ни любить, ни касаться или играть и разыгрывать друг друга – фактически не общаемся, а только смотрим, смотрим, в промежутках немного пьем и жуем, жуем. Коровы! Изредка перекидываются критическими замечаниями по поводу того или иного номера. А после общее чувство раздражения в оценках передач – неинтересные, скучные, ужасные. Даже если они были очень интересными – тогда говорят, что это за счет пошлости, вздора и порнографии. Спроси брюзгу, какие передачи, какого рожна ему еще надо – толком не знает. Пусть они будут сплошь смешными, наблюдать чужой смех с собственной кривой улыбкой как отдаленным откликом на него все равно скоро надоедает. У ног телезрителя весь мир, а он недоволен. Его развлекает вся планета на ста пятидесяти+ каналах, а он раздражается. «Смотреть нечего», «Одни и те же рожи», «Все надоели». Да ты не смотри все каналы и целыми днями. Не может. Есть прекрасные передачи, классическая культура, но она не воспринимается в контексте уг(д)арного господства пошлости. Которая все забивает.

Тут по Фрейду: **живые люди недовольны своей полужизнью** и переносят это раздражение на объект. Наблюдателю, в отличие от участника, деятеля, в конце концов, всегда скучно. Деятель, работник устает, а не скучает. Скучают праздные, посторонние. При телевизоре мы все – «Посторонние». А. Камю это предвидел. Е. Евтушенко в свое время написал хорошие строчки, мечтая о будущем, когда

Телевизор понесут
под колокола
на всемирный страшный суд
за его дела.

Телевидение, экраны – символ всей современной аудиовизуальной культуры. Виртуального (не)бытия. И дело, повторимся, не в том, что дают плохие передачи. Или вредные. Когда интересные и даже познавательные – еще хуже. Гибельная суть этой новой «культуры», что она лишает человека его собственного предметного мира, унося туда, где он существует только как фантом. И есть уже телевидеоманы, (не)жители сетей, которые забыли о естественных потребностях живого активного существа, чувствуя себя вполне хорошо без них. Умерли – и довольны. Хакеры в квартирах как «клетках для орхидей». Впереди – интернет-наркомания, которую называют пока «пребыванием в виртуальной реальности». Это будет наркомания как образ жизни – мы ее не заметим.

* * *

Парадокс существования в Интернете. Он связывает дальних и разделяет ближних. Благодаря анонимности каждый человек может

высказать все, что хочет, не боясь осуждения других. Это значит – наиболее полная его реализация. Появляется много оригинальных, острых и неожиданных мыслей. Максимум бытия, по крайней мере, «в сознании». Но он аноним, то есть безымянный. Мистер Икс, в виде мысли. Концепт, аватар. Для мира *этого* человека в его специфически собственном качестве – нет. Есть некто, почти никто. Даже указав фамилию, он может не краснеть, его стыд будет абстрактным, другие все равно не увидят. Это значит – минимум бытия, отчуждение (от) социальности. В «текст», в «письмо», в «виртуал». В (не)бытие Иного.

Техника соединяет людей информационно (мысленно) и разъединяет телесно (жизненно).

Человек мобильный. С мобильником. Который сначала был игрушкой, подсобным телефоном, а теперь стал смартфоном, то есть мини-компьютером. С человеком. На человеке. Но вот-вот будет «человек на компьютере». Который его отслеживает и им управляет. Читаю в интернете: «Вы не можете приобрести дорогую шубу, если в/на ней нет чипа». Спрашивается: почему только шубу? А трусы. Вы не можете надеть трусы, если на/в них нет чипа. А как иначе, ведь там главный вычислительный центр. И вот, наконец, Билл Гейтс запатентовал человеческое тело как элемент беспроводной связи, объявив его «объектом интеллектуальной собственности». И получил лицензию № 6 754 472. А я не лицензированный. Имею ли теперь право на существование? Буду продолжать писать против прогресса – объявят контрафактной продукцией. А засекать будут заранее: по программе «прозрачный мозг» так называемые превентивные детективы (в списке профессий XXI века такие уже есть) будут отслеживать людей, наводя на их мозг (как гаишники на машину) особые устройства, дабы узнать, кто против чего возбужден, особенно кто против прогресса. А потом стирать у них эти «отрицательные мысли». Любые. Так хвастаются достижениями переднего края науки. «В Сколкове», мол, будут разрабатывать.

Все подобные прелести цифрового мира-концлагеря так ужасны, что я уже завидую идиотам, их подавляющей массе, которые смотрят на все это широко закрытыми глазами и не возражают. Воспринимают как должное! Что они готовы глупеть и их стремление к комфорту дошло до ума. Умные удобства привели к удобствам ума. К удобному уму! Значит, тупому, а не острому. Пора ввести новое понятие: комфортный ум. На нем хорошо сидеть. Стоять на голове? Уже нет. Думать головой? Не обязательно. Сидеть на голове и, конвергируя, думать... вставленным под кожу «дружественным компьютером», слиться с ним в информационно-комму(ника)ционных объятиях, перейти от коммуникации к коммутации, чтобы даже не через экран, а прямо по программе нейроинтерфейса, «от чипа к мозгу», – вот настоящее приобретение мобильного потребительского общества.

Долго сопротивлялся этой дружественности. Отсталый человек. Вместо того, чтобы получать как можно больше информации, все пытался рассуждать. Сам. Между тем как чувствовать и размышлять – это такая же кустарщина, как работать руками, считать и ходить пешком. Техника избавляет нас от того и другого. После первого избавления говорят: из гвоздя забить не может. После второго: он до ста не сосчитает. После третьего придется сказать: он двух слов не свяжет. Но, слава Технике, благодаря этому процессу деградации – преуспевает. **Деградации в новое!** Впереди – американцы, тупость которых стала уже опасной. У нас реформа образования еще не закончилась.

* * *

Ирония прогресса. Цель: выше, сильнее, умнее. Результат: ниже, слабее, глупее. Но опять, слава Ей, знать об этом результате человечество не будет. Будет нечем. Антропология заме(стя)щается технологиями. Нас ждет светлое будущее (неприменно с чтением мыслей и стиранием памяти), восторженно галдят инновационисты, память которых действительно стерта. В общем, что происходит на Земле, если говорить «по большому счету?». Эволюция живого уступает место эволюции техники. Жизнь де(э)волюционирует. Я, как представитель жизни, удручен. Боялись, предлагают бояться, что прилетят инопланетяне и нападут на нас. А они делаются из нас. Потому и крик. Тех, кто слышит эту поступь смерти. Беспольный. **Они пришли.**

По телевидению, в рамках некоего «русского проекта» призывают: «Позвоните родителям». Благородно, даже умилительно, если только забыть историю. А если помнить, то уже грустно. В традиционных обществах дети жили вместе с родителями. Обычай требовал их уважать, в старости кормить и почитать. В Новое время дети начинают жить отдельно. Моральным требованием было: «родителей надо навещать». Прошло время и в XX веке молодежь стали наставлять: «Пишите родителям». И вот, наконец, теперь: позвоните. Я жду последнего благородного призыва: «вспомните о родителях». Что они у вас где-то были. А может, еще и есть?

В программах передач ТВ начали писать: «17.40 – выступление ансамбля “живой музыки”». И так, есть музыка живая и мертвая – техническая. О чем и предупреждают. О живой, ибо она становится «на любителя». Остальная обрабатывается в специфической тональности. Звук получается идеально чистый, но странный, холодный. Хотя постепенно к нему привыкают. **Через несколько лет мы не сможем услышать человеческого голоса.** И никто этому не будет удивляться. Но главное в другом: недалеко время, когда придется предупреждать, что выступают «живые люди». Все больше появляется образов компьютерно-сконструированных, мультипликационно-графических. В Европе недавно вошел в моду какой-то рок-певец, но поклонники с ним встретиться не смогли. Оказалось, что он «рисованный». И потому в ближайшей перспективе придется объявлять, что «выступают люди». **Просто люди. На любителя.** Так как кругом будут машины и информационная техника. Они будут петь, плясать, говорить, но иногда – показывать и людей. Мы не заметим, когда нас будут «показывать». А потом – не будут.

«Осязаемая» форма жизни сужается как шагреновая кожа. На котором-то Давосе даже банкиры жаловались, что практика виртуальных платежей делает ненужными их банки как учреждения. Но все равно, мол, надо готовиться к наступающему новому миру. Думаю, что если дело пойдет к тому, что наука предложит заменить всю предметную реальность, включая людей, какими-то электронными полями, то люди скажут, что надо готовиться к наступающему новому миру, ни на миг не задумавшись что-либо предпринять вопреки этим тенденциям. Чтобы не прослыть консерватором. Это неудивительно, ведь сейчас быть атехнистом – то же самое как атеистом в Средние века. Правда, еще не сжигают. Пока.

Жизнедеятельность перед экранами телевизоров и на экранах компьютеров становится деятельностью. Без жизни. А потом и без-деятельностью. Со-зерцанием. При-сутствием. Если жизнью, то в «блогах».

(Не)жизнью в «живых журналах». (Не)бытием внутри комп/теле/ящика. От-сутствием. Что вне его/их, людей интересует все меньше. Таких – все больше. Некоторых предметный мир и близкие не интересуют вообще. Все их сознание, по-старому, душа – «Там». Отлетела. **Человечество сыграло в ящик.**

* * *

Говорят: «искусство кино». Киноискусство. Но все это инерция. На экранах господствуют американские фильмы. Киноиндустрия. **Кино-техника.** И не случайно, даже расхваливая их, критики прежде всего подчеркивают качество изображения, чистоту звука, яркость пленки и грандиозность спецэффектов. А высший эпитет – дороговизна постановки. Денежно-технологическое сознание ничего другого не воспринимает. Эстетическая ценность таких фильмов – стрелялок и взрывалок – для мальчишек-подростков, потом они от него уходили, из него вырастали. Теперь к этому уровню все приходят, до него (п)р(о)егрессируют. «Для нас важнейшим из искусств является кино» – таков был лозунг социализма. Его наследники, оппонировавшие буржуазной культуре, критики, ругают нынешнее кино как «плохое искусство». Да не искусство это вовсе. (Не)обыкновенная техника, но только в кино. Спецэффекты. Так же музыка – «техномызыка». Стала звукотехникой. Так же живопись. Стала техно(фото)графией. Как всегда, самых главных потерь люди не замечают. В условиях трансмодерна культура остается в виде цитат и пережитков. Как традиция. Подобно личности. Вот потеря!

Рекламируют соревнования по шейпингу. Это что-то вроде конкурсов красоты, но гимнастические упражнения, долженствующие сформировать гармоничную женскую фигуру, исполняются по программе компьютера. Самое интересное, однако, в другом: результаты определяет тоже компьютер. «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее» решает наше новое волшебное зеркальце – техника, оставляющая человека в роли постороннего даже в таком вопросе. Что же говорить о прочем!

Например, о душе. Благодушные люди говорят, что компьютер никогда не заменит душу человека. Правильно. Он ее не заменяет. Он ее – отменяет. Овладевая жизнью, техника овладевает и сознанием. Даже когда обед или продавец хочет пойти в туалет, вешают объявление: «технологический перерыв». Конечно, машина притомилась и надо слить воду. Возникло **техническое бессознательное.**

Молодые родители говорят, что главное, о чем говорят их маленькие дети, придя из школы – безопасность. О безопасности. Удивляются. Да это просто подготовка к тому, что вам предложат детей непрерывно контролировать, чтобы всегда знать, где они. Естественно, ради безопасности. А запуганные дети и родители, с минимальными сомнениями, в основном удовлетворенные, согласятся. Всем поставят чипы, как теперь собакам. Но эти чипы будут более «совершенные», чтобы можно было ими, и вообще людьми, управлять. Отслеживать и анализировать кто, что, где и как делает. На работе «белых воротничков» так уже проверяют. Хозяин теперь всегда может знать, чем подчиненный занимался в рабочее время, на что была направлена его активность. Это будет перенесено на все сферы жизни. «Большой брат» должен знать, что делают его под-данные, люди. Это и есть Internet of everything, «интернет вещей», к которому так стремятся прогрессисты. Вот где собака зарыта в истерии с безопасностью. А «свобода», «самость», «совесть», «субъектность», «творчество» – забудьте о них.

* * *

До XX века в европейской культуре обычно считалось, что Алгебра не совместима с Гармонией. Алгебра сухая рациональность, а Гармония – живой дух. Сальери и Моцарт. Теория и Жизнь. Логика и Интуиция. Однако теперь мы вступили в мир, где интуиция из чувственной превратилась в интеллектуальную, жизнь вытесняется информацией о ней, а Моцарт сел за пульт музыкального автомата. Стал Сальери. Больше нет Моцартов. К концу *нашего* века не будет и Сальери.

Гармония стала геометрической. Дизайн! Нам нравятся функциональные обводы автомобиля, строгая симметрия высотных зданий, хищные линии сверхзвукового истребителя. Появляются «страсти по технике», люди, влюбленные в машину, хакеры. Можно сказать, что возникает «технический эрос». **Техноэрос.** Если на технику не надеть эстетического намордника, она перекусает всех, говорил В. Маяковский. Надели. Дизайн – ее эстетический намордник. Теперь она «мягкая» – душит и давит. Разговоров о гармонии природы и с природой больше не слышно. Это XIX век. Более того, природа стала какой-то ущербной, неуклюжей, а в городах прямо болезненной. Концентрирует в себе яды и несет вред. Ее еще терпят. И все славят. Но скоро она будет вызывать раздражение. Аллергию в буквальном и переносном смысле слова. Аллергию к себе. Многие от нее уже прячутся. От себя прячутся. Да так, что скоро никто никого не найдет.

Спасение там, где опасность

Деяние – начало бытия. Деяние будет и его концом. Вступление в технический универсум деятельности поставило перед человечеством проблему – удержаться от безудержной деятельности. Считаться с ее мерой. Из-мерять и дозировать. Направлять и регулировать. «Ликвидатор» – такова будет самая нужная профессия XXI века.

Знаменитую фразу М. Хайдеггера «Наука не мыслит» нужно интерпретировать. Получается, что ее носители – «дураки». Это не правда. Ученые мыслят, часто тонко, изощренно. Больше, чем кто-либо. Но «не размышляют». Не философствуют. Раньше это было не страшно, да и размышляли больше, особенно великие – сравни Эйнштейн, Бор, Вернадский. Теперь такое без(с)мыслие опасно. Через него/них говорит Иное. Ученые мыслят, но, особенно теперь, – **не в своем уме.** Мыслящие зомби. Появился новый тип человека – «инноваторы». Инноватор – смотрит далеко, не дальше своего носа. Мыслит глубоко, на глубину своей могилы. Хочет как можно скорее перестать быть человеком. Болтает о бессмертии. *Прогрессивно(е,) глупеющее, слепое, несчастное человечество. Счастливо только непониманием того, что делает=ся.* **Техноиды.**

* * *

Всякий мыслящий человек, глядя на современные тенденции развития, должен быть пессимистом. Но он живет. Значит, живет или механически, или надеется. На что: «мы не доживем до этого, до полной деградации». Это называется «оптимизм». Но есть и настоящий оптимизм, без кавычек. Каков его механизм?

Техноиды-мутанты не переживают свою дегуманизацию как утрату, тем более она не приводит их в отчаяние. Никакая при-страстная критика антропологического кризиса ничего не дает также и потому, что хотя бы все летело в тартарары, **придумывается всеобщая великая иллюзия**. Такая как **ноосфера**. Ноосфера как реальность – техносфера, которая губит и уничтожает все живое. Ее «продукт» – зомби/зация, постчеловек, роботообразное, робот. Инопланетянин. Инопланетяне не прилетят на Землю, а возникнут на ней. Этот процесс и воспеваем, на него и уповаем. Радоваться своей гибели – самая эффективная форма защитного механизма. Легче всего обману поддается безнадежно больной. Чем хуже положение, тем сильнее вера в спасение. Пока живем – надемся. **У нас нет выхода, кроме как быть оптимистами.**

Научно-техническая деятельность стала самоценной. Творчество ученых – игрой, в которой человечество проигрывает самое себя. Что делать? Да пусть играют. Надо и относиться к их занятиям как к игре. Надо культивировать науку без воплощения. Новации без инноваций. Как искусство. Тем более, что они и так сливаются. Пусть будет «игра в бисер», mind games, как говорят англичане. Поскольку «мысль не остановишь», общество вполне может платить ученым как художникам, музыкантам, другим деятелям культуры, откупаясь от них. Пусть развивается «наука для науки», проводятся выставки и конкурсы теоретических новаций, без их применения на практике. Как актуальное искусство, фактически являющееся игрой ума, прикладной наукой. Они и так сливаются друг с другом.

Последним критерием ценности новых идей в физике объявлена не истина или польза, а «интересность». Главное, как теперь говорят ее передовые представители, чтобы они были любопытны и «раздражали мысль». Согласимся, но тогда адронный коллайдер надо рассматривать как произведение «научного искусства». Атомные бомбы, если их удастся не использовать – тоже. Любители прекрасного со всего мира будут посещать коллайдер и ходить на выставки атомных бомб, сравнивая их американский и русский дизайн (в Сарове, в музейной форме, я такие видел; они эстетичны). В ответ на эту новую парадигму познания философ обязан сказать: *главное, чтобы изобретения были бесполезны*. Не уничтожив себя ради истины и пользы, люди тем более не должны допустить этого акта из любопытства.

И пока любопытно-печальное Событие не произошло, надо думать и заботиться, при каких условиях, какие предпринять действия, чтобы оно *не происходило как можно дольше!* Не торопиться к рукотворному концу света, антропологическому апокалипсису, не камуфлировать бессмысленно учеными словами свое самоубийство, что оскорбительно для существ, веками считавших себя разумными. Значит, необходимо обуздывать фанатиков любого нового. На фронте каждого технопарка золотыми буквами должна быть выбита надпись: **не все, что технически возможно, следует осуществлять**. Главным социальным институтом в/при/ них должны быть гуманитарные центры как фильтры контроля внедрения новаций. **Фильтры выживания**. Чтобы решения принимались не по финансово-бухгалтерским соображениям прибыли, а просчитывая их последствия всесторонне и максимально далеко. Прикладные технические работы должны быть подчинены теоретическому и философскому, шире – гражданскому, еще шире – Высшему контролю. Let us be Human – призывал Л. Витгенштейн в конце своей деятельности, сам сделавший немало для обоснования сциентизма в ее начале. **Остановить истерию инноваций!**

* * *

Искусственное вытесняет естественное. Либо путем прямого уничтожения, либо путем имитации. Химия, биотехнология, синтетические вещи, продукты, организмы. Цветы и то все больше искусственные – «китайские». Имитируется вся природа, даже жизнь. Как спастись и хотя бы продлиться «естественному человеку»? Надо идти до конца, имитируя полный кругооборот природы, весь цикл жизни, составной частью которого является смерть. **Нужна искусственная смерть**. А вводить ее надо под лозунгом: **Смерть искусственному!**

Оно тоже должно уничтожаться. «Умирать». Надо развертывать деятельность по ликвидации результатов деятельности. Доведенная до своего логического конца идея безотходного производства предполагает ликвидацию всего, что сделано. Замкнутый технологический цикл должен распространяться на искусственную среду в целом. Тогда вторичное сырье станет первичным, а природа будет только для подпитки. Имитируя созидательное творчество, которое все больше становится разрушительным, надо имитировать и творчество разрушения, которое будет для нас спасительным. В Нью-Йорке пускают под бульдозер 10-этажные дома, в Москве 5-этажные, чтобы на их месте построить более комфортабельные или даже небоскребы. Современные технологии устаревают через 3–5 лет. Целесообразно сразу закрывать эти производства и на их месте строить новые. Можно сносить целые города. Главное, чтобы новое строить на старом месте; не выбрасывать песок из песочницы, чтобы не приходилось его слишком много добавлять. Ведь взять-то уже негде. Поскольку, например, головная боль автомобилестроения не в том, чтобы произвести автомобили, а в том, чтобы их сбыть и ликвидировать, то при заводах по производству надо сразу же строить заводы по уничтожению (кажется, начали). Также поступать с телевизорами, компьютерами и всей бытовой техникой. И не только бытовой. Всей!

Надо брать пример с военных, где эти безумные игры ведутся наиболее продуктивно. Создаются производства уничтожения средств уничтожения. Разоружаются, чтобы вооружиться более эффективным оружием. «Нового поколения». Но зато в разоружении тоже заняты миллионы людей и затрачиваются миллиардные средства. Таких забот хватит на долгие годы. Перед человечеством открываются вдохновляющие перспективы – новое грандиозное поле деятельности по переработке сделанного. Сумасшествие погашается абсурдом. Хотя бы на время. Решается самая главная проблема – быть занятыми и ослабить удушающую хватку избыточных средств и богатства, которую они набрасывают на жизнь и любовь. Производство приобретает внутреннюю цель и собственное дыхание. Пока оно дышит, передохнем (если не передохнем) и мы.

Жизнь ранена, и все-таки продолжается. Как Традиция. Традиционализм становится условием выживания как культуры, так и природы. Но кто осмелится поднять знамя реакции? Немногие. И что принесет она? Хаос. Реально надо бороться за динамический консерватизм, коэволюцию совместного бытия естественного и искусственного. За устойчивость общества, когда изменяясь, оно остается собой. За *Controlled Development* (управляемое развитие). **«Учиться Со-Бытию».**

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска. Участник Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). С критическими заметками выступает во множестве периодических изданий. Живет в Северодвинске.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Стало общим местом говорить об усиливающемся интересе к советскому периоду отечественной литературы. В этом есть, конечно же, важный аспект восстановления справедливости. Период поголовного выкорчевывания всего советского, будем надеяться, пройден. Эмоций и истерики ушли в прошлое, и теперь возможно адекватное восприятие. Наглядней всего интерес к этой литературе представлен через серию ЖЗЛ: Прилепин написал о Леонове, Шаргунов о Катаеве, Авченко о Фадееве (в соавторстве с филологом Алексеем Коровашко пишет биографию Олега Куваева).

Важно, что восстановителями этой справедливости являются представители литературного поколения, ухватившего две реальности: юность в советской стране, период становления – жизнь на разломе, и активная деятельность припала на нулевые – тучные годы новой России.

Но говорить здесь мы будем о другом восприятии «советского», которое сейчас начинает превалировать, в том числе и в литературе.

«Советское» как символ чрезмерной идеологизации, когда литературное произведение мыслится художественным развертыванием главенствующих общественных трендов – линии партии и правительства. Это определенное прокрустово ложе, под эталоны которого подгоняется литература, и во время этой подгонки из нее исходит жизнь.

Такое восприятие советской литературы крайне однобоко и ложно. Оно также является следствием идеологической, политической борьбы.

Однако оно до сих пор в ходу и приписывает этой литературе характеристики кондовости, искусственности и предельной выхолощенности в угоду идеологии. Надо ли говорить, что все сложнее и при реалистическом взгляде на тех самых советских писателей можно увидеть в них многим большее и удивиться: как такое могло быть?! Как допустили подобное к печати в ситуации всесилья и произвола цензуры?.. Сам задавался таким вопросом, когда, к примеру, читал рассказы Федора Абрамова.

Между тем в новой книге литературоведа Владимира Новикова «Литературные медиаперсоны XX века» настойчиво проводится мысль о разделении отечественной литературы на «советскую» и «русскую». Условно говоря, первая явила все плохое, это тупиковая и искусственная ветвь литературной эволюции, а вторая, даже в советские годы, продолжала развивать все хорошее.

Так получилось, что именно литературные нулевые были свободны от идеологических пут. Еще Сергей Шаргунов в своем раннем манифесте «Отрицание траура» говорил о необходимости сбросить «идеологические кандалы».

«Явился новый контекст, в котором писатель далек от предвзятости и идейной брони», – писал он в 2001 году. Кандалы были сброшены, но это касалось художественного произведения, сам автор не остался беспристрастным и прохладным. Его гражданственность не сошла на нет, но реализовывалась в публицистике и не делала литературу идеологическим манифестом. Произведение получило свободу, оно стало жить.

Тогда многие удивлялись тому, что новые молодые авторы отменили устоявшееся идеологическое разделение и могли публиковаться хоть в журнале «Наш современник», газете «Завтра», хоть в журналах «Новый мир» и «Октябрь». И это было не всеядность, а именно преодоление и отрицание ветхих риз разделения литературы по идеологическим признакам, а значит, и попадания литературы в жесткую зависимость от идеологии. Вроде бы курьез, но в том числе и представители этого поколения возвращают советскую литературу, показывая и разрушая огромное количество мифов, созданных вокруг нее. И главный вывод этого мифоборства: советская литература не тождественна идеологической. Она намного шире и масштабнее. Это был новый глобальный и щедрый на богатства период отечественной литературы.

Поэтому будет правильнее заменить «советское» на идеологическую литературу.

И вот что мы имеем сейчас.

В обществе создается устойчивое представление о все более жестком цензурировании сферы журналистики. С этим можно поспорить. Все-таки здесь вопрос больше в личной смелости каждого, волевых качествах и способности ради своих определенных идеалов и системы ценностей идти до конца и, возможно, чем-то жертвовать. Это как догматико-идеологическая подчиненность художественного произведения: талантливый автор преодолит многое, если не все, другой же будет стремиться встроиться в идеологическую схему, раз другого ему не дано.

Представление об отсутствии свободы слова в журналистике присутствует, возможно, в качестве страха ее потерять. В этой сфере действительно большое присутствие государства и его интересов, но, еще раз повторюсь, свою нишу всегда можно найти при желании. При этом существует мнение, что литература остается той сферой, в которую

условное государство со своим диктатом, своей цензурой, идеологией еще не дошагало или она ему не интересна. Поэтому во второй половине второго десятилетия нового века (особенно после украинского майдана и Крыма) стала наблюдаться отчетливая миграция публицистического в литературу, а вместе с ней и идеологии.

Литература вновь становится орудием борьбы, а художественный текст мыслится в качестве проводника той или иной догматической позиции. В условиях такого мобилизационного разделения текст становится изначально детерминированным внехудожественными задачами. Идеологические кандалы возвращаются, причем не по директиве сверху, а по собственному волеизъявлению авторов.

Отметим, что у представителей так называемого «нового реализма» все-таки сохранился иммунитет от идеологического. Мощная прививка от всего того, что удушает художественное произведение, продолжает действовать. Можно как угодно воспринимать публицистику или общественную деятельность Захара Прилепина, но все это не переходит в его прозу, которая остается свободной от какого бы то ни было идеологического посыла, а потому живой и настоящей. Пример «Обители» показателен. И теперь представьте, какой бы мог получиться текст, если бы оправдались ожидания иных о переносе публицистического и идеологического пафоса, например, «Письма товарищу Сталину» на этот роман. То же можно сказать и о книге Сергея Шаргунова «1993». В ней он пытается показать объективную картину того исторического перелома, а не навязать свою концепцию его восприятия. Все это является важной характеристикой литературы, которую условно причисляют к «новому реализму». Это свобода от идеологичности.

Тоннельное мышление

С другой стороны, мы видим четкое следование советским, вернее идеологическим канонам. Только здесь не ритуальные отсылки к классикам марксизма-ленинизма, а другие догматические флажки, по которым определяется идеологически выверенное, правильное. Выстраивается определенный церемониал следования либеральным трендам.

Идеологическое – это определенная предзаданная установка, которая подчиняет себе всю структуру текста, а сам автор превращается в собственного цензора по беспрекословному следованию этим установкам.

Особенно наглядно это представлено в творчестве нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Ее произведения предельно идеологизированы, созданная ими картина подверстывается под идеологическую схему, которая для автора является приоритетной. Мало того, Алексиевич пытается мимикрировать под объективность, используя прием псевдоинтервьюирования, чтобы выдать свое произведение за беспристрастный человеческий документ. Так она поступает, к примеру, в книге «Время секонд хэнд». Для нее важно обличение «красного человека» и советского режима. Она стремится напугать всех тем, что «совок» вновь прорастает, и в этом деле использует любые методы и средства.

В своей книге Алексиевич старается представить некий первородный грех советского государства через судьбы, через рассказы-исповеди людей, причастных к этой цивилизации, и просто случайные

реплики, заполняющие атмосферу времени. Это многоголосье, рассказы разных людей, в том числе и алиби автора, которому важно показать свою бесстрастность. В книге она пишет: «Хочу остаться хладнокровным историком, а не историком с зажженным факелом. Пусть судьей будет время». Но это далеко не так. Автор совсем не бесстрастен, он гиперпристрастен, а людское многоголосье – не что иное, как ловкая манипуляция и подтасовка. Книга Алексиевич – образец тоннельного мышления. В этот тоннель автор силится поместить, подогнать под него все, что возможно. Как итог – потеря такта реальности и собственное погружение в систему идеологических координат. Это она наглядно показывает в своих интервью.

Алексиевич демонстрирует пример крайней идеологической подчиненности литературы. Это она и сама не скрывает, это манифестирует и в названиях книг, и в самом цикле «Голоса утопии», который складывает. Это эталонный пример того, что принято называть «советской литературой». Но правильной будет – идеологической.

Идеологические 3D-очки

Идеология форматирует и само художественное произведение, превращая его в подобие развернутой записи в блоге или публицистической колонки, в которую добавлена сюжетика и герои.

Идеологический текст вписывается в систему опознавания «свой-чужой». Это своеобразные 3D-очки, с помощью которых читатель будет воспринимать текст в нужном идеологическом ключе. Такова, к примеру, книга Дмитрия Глуховского «Текст», которая сразу по выходу была обласкана многими критиками.

Система опознавания «свой-чужой» крайне проста. Главный тезис – здесь ад или прямой путь в ад: «На земле жизнь так организована, чтобы все люди непременно в ад попадали. Особенно в России». Подходы к живописанию ада также стандартны: колючая проволока, которая грозит каждому, произвол представителей силовых структур, а также пропаганда, льющая их телевизионного ящика, которая старается сделать этот ад менее заметным.

Книга начинается с описания типичного нескончаемого и однообразного российского пейзажа за окном поезда: ряд елок, «как колючкой обвито, не продерешься». Дальше Ярославский вокзал – продолжение России, а она – будто большая тюрьма, и встречает здесь полицейский, а также лай собак. Все типично и однообразно.

Жизнь в окружении колючей проволоки и ментов. Натянута она и над гаражами совсем близко с материнской квартирой героя. Вся эта проволока будто намекает, что здесь можно только приспособливаться и не выступать. «Систему не перебороть, а зато можно незаметным сделаться, и она про тебя забудет. Надо переждать, перетерпеть», – так учила мать. Вышел из тени, выступил, стал спорить – грехопал в этом раю. Потерял жизнь.

Кстати, вот еще одно сравнение, которым, думается, автор остался доволен: звон водочных бутылок в пакете напомнил ему звук колокольчиков, которые у «гребаной птицы-тройки на хомутах для веселья развешены». Хомут, водка с неизменной колючей проволокой вокруг – основные столпы, определяющие здешнее бытие. Это тоже важный сигнал для своих, который посылается Глуховским. Сигнализирует он

так с кавалерийской прямоотой. Да и правда, с какой стати с «адам» дипломатию разводить...

Или вот еще в контексте этих же идеологических маркеров: телевизор с выключенным звуком напомнил герою аквариум без воды. В нем «рыба торопилась рассказать, как хорошо живется без кислорода. Серега смотрел в рыбку харю, пытался читать вранье по губам» (образ аквариума и рыб использует также Олег Павлов в романе «Асистолия»). У него появляется и аквариум, из которого выпущена вода, – прилавок магазина, как гроб, на исходе советской эпохи).

У Глуховского также, как рыба, «немо вращала выпученными мигалками» машина скорой в ожидании, когда пронесется по Кутузовскому правительственный кортеж. Человеческая жизнь здесь ничего не стоит, и это необходимо в стомиллионный раз подчеркнуть, чтобы быть в своем тренде.

В итоге мы имеем чрезмерно идеологизированную книгу-конструкцию, которая создана по довольно стандартным и избитым лекалам. В этом случае теряется полифоничность произведения, оно начинает тяготеть к однозначности, лозунговости, учительности. Даже если все это представлено не явно.

Идеологическая литература вторична, она оперирует штампами, шаблонами. Это своего рода оттюнингованная «сказка про белого бычка». Она не имеет ничего общего с реализмом, а представляет симулякр реальности. В пределах такой литературы все наиболее злободневные проблемы, актуальные процессы не найдут своего отражения, как и вечные вопросы. На горизонте вновь маячит черная дыра постмодерна...

Памфлет на заданную тему

Сверхзадача книги Игоря Сахновского «Свобода по умолчанию» – обличение современной российской действительности. Вернее, вытекающих из нее последствий, проявившихся в недалеком будущем. Произведение вышло в 2016 году, но с тех пор о нем никто не вспоминает.

Книга написана в жанре близлежащей футурологии. Время действия – конец 20-х годов XXI века. Страна в эти годы, по мысли Сахновского, стала даже не антиутопичной, а эсхатологичной. Ее национальная идея приобрела черты самого крайнего старообрядческого толка и стала формулироваться через понятие конца света. Вся жизнь распределяет по отрезкам от одного ближайшего конца света до другого, как в свое время распределялась по пятилеткам.

Нынешние российские реалии в ближайшем будущем, в версии Сахновского, будут сильно гипертрофированы. Появится «духовный налог», по дорогам по направлению площади Вставания с Колен будут двигаться православные байкеры, за нравственностью будут неусыпно следить соответствующие патрули, в Уголовном кодексе появится статья «за оскорбление чувств электората». Ежемесячно станут отмечать День суверенной православной демократии. Само понятие взятки трансформируется, она будет официально именоваться «народным деловым ресурсом».

Власть будет мощной в силу своей закрытости. При этом каждый раз «со сменой руководителя в стране кардинально менялся государственный строй». Поэтому людям необходимо быть гибкими и патриотичными.

В стране в публичном поле уже не останется явных либералов. Все как один – истовые патриоты, штампующие произведения а-ля «Черная сперма либерализма».

Всего бы этого и хватило на типический памфлет, которые сейчас прогрессивные и насмешливые люди штампуют пачками, но заявка была сделана на художественное произведение. При этом сюжет книги, как и главный герой, получился слишком схематичным, невнятным. Все-таки для смешливого обличения требуется одно, а для художественного другое необходимо, более тонкий, не прямолинейный лобовой подход. Живая необходима вода, а не мертвые с душком воды.

Книга Сахновского написана иронично, но при этом совершенно типично и предсказуемо, если не сказать топорно. Картонные герои, непродуманный сюжет с претензиями на интригу нужен автору лишь для того, чтобы озвучить его прикольные фишечки о ситуации, когда все «талдычат о гордости за страну». «Свобода по умолчанию» – пример того, как благие намерения превратились в политический лубок и совершенно выморочное произведение.

Идеологический роман – не онтологичен, он популистичен. Но он и не предназначен для глубоководных исследований. Это иллюстрация определенной схемы. В этом плане книгу Сахновского многое роднит с романом Дмитрия Быкова «Июнь». Только здесь штампованные представления о современности переносятся не в будущее, а в прошлое, в предвоенное время. Все для того, чтобы провести полный параллелизм и выступить в роли Кассандры.

Быков проповедует и пророчествует. Его пророчество довольно-таки злое, переходящее в кликушество. Недаром и эпиграф к книге взят из блоковской поэмы «Возмездие». Война – Немезида России. Она карает, но в тоже время и избавляет от собственного мучительного существования обитателей изначально порочного Содома. «Эта система, изначально кривая, еще до всякого Октября, могла производить только больные ситуации, в которых правильный выбор отсутствовал», – пишет автор.

Дмитрий Быков – Лева из романа «Санька» Прилепина – все продолжает твердить, про кошмар русской истории и все вопрошает, когда же этот ужас закончится. Сюжет и герои его романа вторичны, они в нагрузку, их роль заключается в том, чтобы выступить в роли свидетелей, подтверждающих прямые аналогии, от которых должна леденеть кровь. Так получается искусственный выморочный текст.

Игра в реконструкцию

Идеологическое произведение – как блогерская запись, однодневка. Оно остается невразумительной безжизненной конструкцией. Такой является роман букеровского лауреата Елены Чижовой «Китаист». Это игра в реконструкцию авторской версии возможного развития истории.

«Китаист» – одно из многочисленных ныне произведений, у которых вполне достаточно прочесть лишь аннотацию. Далее никаких неожиданностей и откровений не будет, лишь вялотекущая тяготица. Роман-недоразумение. Он вызван на свет лишь желанием прокрутить альтернативную историю, что было бы, если...

Что было бы, если СССР не победил фашистскую Германию?..

Интригующая обертка, сценарий, о возможности которого намекали нам еще со времени развала Союза. Есть манящая приманка, но внутри пустышка. По нынешним временам этого достаточно.

У Чижовой 9 мая 1945 года союзники открыли второй фронт, освободили Европу до границ бывшего СССР. В итоге «черная прерывистая линия, идущая по Уралу, рассекала бывший СССР по вертикали»: на европейской территории – Россия, это территория, оккупированная немцами, за Уралом – остался СССР. Сталин в СССР умер в 1946 году, после него правил Берия, и развенчивать пришлось его культ личности. Перемирие между Россией и СССР было заключено лишь в 1956 году, когда «почти не осталось мужчин призывного возраста». Настоящего мира нет и не предвидится: с одной стороны – разговоры об объединении, а с другой – о войне и захвате. Возникают идеи «четвертного рейха»: ресурсы СССР в соединении с социально-экономическими достижениями России. Такая конструкция истории представлена в «Китаисте».

Эта альтернативная версия достаточно популярна со времен распада СССР. Она использовалась в качестве пропагандистской матрицы. Говорилось, что в альтернативном несоветском развитии событий все бы поголовно пили баварское пиво и стали европейской страной. Никакой зачистки территории от коренного населения не произошло, а все бы жили в мире и цивилизованном благоденствии. Несколько лет назад известный опрос на «Эхо Москвы» поставил под сомнение необходимость обороны Ленинграда, которая привела к гигантским жертвам. Новые идеологи делали все, чтобы приравнять советский строй к фашистскому режиму в Германии. А если нет разницы, то ничего сверхтрагического бы не произошло, и сценарий, представленный в книге Чижовой, вполне себе мог бы и состояться. Тем более что «если сравнить количество невинных жертв, кто – СССР или Новая Россия – окажется впереди?» Да и немцы в романе захватили полстраны лишь благодаря тому, что у самих русских развернулась гражданская война.

Немецкая Россия достигла «впечатляющих успехов в народном хозяйстве». С другой стороны, в чижевском СССР отразился классический, сшитый из штампов, образ «совка», который усердно рисовали его разрушители-мародеры: нищета, дефицит, бараки и военщина. Из новых же реалий разве что усилившееся влияние Китая. А так – потерянный мир динозавров, о котором еще кто-то ностальгирует, теша свое ущемленное самолюбие.

Впрочем, альтернативного СССР в романе не так уж и много. Герой книги Алексей Руско едет в немецкую Россию на конференцию, а также в качестве разведчика. Все действие происходит там. Все изменения можно наблюдать в немроссии, в СССР – тотальный застой. Здесь, по европейскую сторону Урала, интересней, именно здесь развернулась альтернативная история или альтернативный взгляд на случившуюся.

В оккупированной России вместо христианства установлен новый культ и отмечается День весеннего равноденствия. Вместо звезд – свастики. НКВД превратилось в Гестапо. Изменилась и топонимика, например, вместо Владимирской – площадь Рудольфа Гесса, вместо Пушкинской – Вагнеровская. Разговорный язык – нем-русский – своеобразное прибалтийское наречие. В деле его становления и популяризации много потрудились телевидение, которое навязывало «историю завоевания новых территорий с упором на освобождение народов, исстрадавшихся под пятой большевиков». Существует в новой России

и проблема мигрантов – «желтых», которые быстрыми темпами размножаются и грозят все заполнить.

Немецкая Россия в романе до боли напоминает нынешнюю реальную. В ней стали витать мысли о воссоединении с СССР. Что это как не наша пресловутая ностальгия?.. С другой стороны, в чижевском СССР о «восстановлении былого величия» мечтает большинство парней. Новые границы – историческая несправедливость, которую необходимо исправить. Новые границы, возникшие при распаде Союза, также воспринимаются как несправедливость. Чижова подспудно делает акцент на том, что ностальгируют по империи молодые люди, которые ее не видели. Для них это своеобразная тоска по античности.

Вот и получается, что книгу Чижовой вполне можно рассматривать не столько в качестве альтернативной истории, а как альтернативную версию случившейся.

Так или иначе, это история разделения. Книга о разделенной стране, которую представляет собой современная Россия – в ней соединяются как минимум две державы: советская и российская. О гражданской войне, которая то тлеет, то стихийно разгорается.

Чижова проговаривает, что Великая Отечественная война постепенно переросла в гражданскую, именно она и разделила страну Уральским хребтом. И пусть эта версия не актуализирована в реальной истории, но по факту она идет параллельно ей подводным течением.

Можно много рассуждать о восприятии истории, которая также, в какой-то мере, сад расходящихся тропок. Но все это будет разговор о той антиутопической конструкции, на основе которой построен «Китаист». Сама же книга не состоялась, она мертва и нелепа. А тут уже необходимо говорить об альтернативных величинах в современной литературе.

Идеологизированная литература производит мертвечину. В последнее время ее становится все больше. Она на потоке. Избавиться от искушения ангажированности все сложнее. Автор спешит лобовой атакой обозначить свою идейную позицию, заявить политическое кредо. Откликнуться развернутым постом, который назовет романом. Идеология наступает и удушает живое и суверенное в литературе. Сами литераторы капитулируют и сдают свой суверенитет.

То, что принято называть главным свойством советской литературы, сейчас материализуется, причем в первую очередь у ее яростных противников. Вирус идеологической заряженности текста вызывает эпидемию. Сейчас мы наблюдаем возвращение идеологической литературы. Такая литература манит вспять, от реализма к постмодерну.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Поэт, прозаик. Публикуется в литературно-художественных журналах. Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Kupрина (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЧУЖОЙ ТЕКСТ

Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли?
Джонатан Свифт

Не выдавай краденого за своё.
Антон Павлович Чехов

Плагиат — это когда вы берете что-то у кого-то другого и делаете это хуже.

Джордж Мур

Все литераторы знают про плагиат.

И знают, что это такое.

Это когда писатель-вор крадет у другого писателя его креатив.

Но мало кто знает, и даже в среде братьев-литераторов, что существует сто разных способов тем или иным образом использовать чужой текст. Втихаря или громко. Изящно или грубо-топорно. Искусно и хитро — или громоподобно и не стесняясь.

Использование чужого текста в литературном пространстве многозначно и многовариантно. Мы расскажем вам сейчас об этих вариантах, и боюсь, что даже не обо всех.

Однако самые основные — упомянем. Вспомним.

Итак, начнем!

* * *

Плагиат — слепое (и часто точное, слово в слово, а бывает так, что и с хитрой заменой пары-тройки авторских слов на другие, воровские) копирование чужого текста.

Отчего люди плагиатствуют? Оттого ли, что у них самих пороку не хватает в интеллектуальных пороховницах?

Возможно, не только поэтому, хотя это самый распространенный вид плагиата: «я так не умею, а другой умеет, и дай я у него украду и стану таким же, как он, счастливым и знаменитым».

А еще и потому, что думают: авось не заметят! В мире же столько текстов, миллиарды!

Тот, кто крадет, конечно, знает, что его ждет. Кошка всегда знает, чье мясо съела.

Плагиат, как явление, юридически доказуем и наказуем, а по-человечески — всегда откровенно презираем.

Но плагиатом считается не украденное слово, не украденный образ или удачная строчка: плагиат всегда — цельный массив текста, без особых изъятий и зияний перенесенный в книгу или публикацию, над которым стоит уже чужое имя.

* * *

Вариации. С ними уже посложнее будет.

Вариации в музыке — ну, это вполне традиционный жанр: кто из композиторов не писал вариации на заданную тему? «Вариации на тему Корелли» Рахманинова, «Тридцать две вариации» Бетховена... И в музыке все понятно до самонаименованной ноты: автор варьирует чью-то тему, показывая ее в разных обличьях и подключая для создания целой горы вариаций всю свою фантазию. Куда ни кинь, это творческий процесс, и на чужую тему композитор создает все равно креатив.

Но бывает так, что и тема для вариаций придумывается своя, а не берется из чужой музыки.

В литературе тоже встречается этот прием. Берется чужой текст и всячески варьируется. И особенно этот прием популярен... в создании пародий. Кто не помнит знаменитые циклы пародий на темы: «Пошел купаться Веверлей, оставив дома Доротею...», «У попа была собака», «Жил-был у бабушки серенький козлик», в не менее знаменитом сборнике «Парнас дыбом», 1990, повторившем издание 1927 года? Поп и его собака, им убитая, появляются в пародиях в стиле Лонгфелло, Шекспира, Некрасова, Оскара Уайльда... Великолепны серые козлики Надсона, Бальмонта и Сергея Городецкого. А пародист — мастер вариаций, что тут сказать!

Но это разве воровство? Это литературная игра.

* * *

Вторичность. Это когда кто-то сильный и великий, уже известный и славный, проложил литературную лыжню, а ты бежишь по ней за далеко ушедшим вперед лыжником, и силишься догнать, а его спина между деревьев все время мелькает перед тобой. Там, далеко!

А ты сердишься, ты хочешь, как он! Хочешь стать мастером!

Хочешь его обогнать!

И, сцепив зубы, пишешь, как он. Почти как он!

Да что там, прямо как он! Или даже еще лучше! Живее, красивее! Поглядите!

Однако в этих текстах, написанных по желанию «стать как он», ведь не присутствует никакой энергетики подлинника. Форма есть, содержание есть, слова вроде подобные, а энергетики — нет. Вот беда!

Но это беда многих начинающих; вторичность – их болезнь. Бежать по накатанной лыжне легко, но безрадостно.

* * *

И здесь, если уж речь зашла об ученичестве, возникают два понятия: *школа* и *эпигоны*.

Давайте сначала о *школе*.

В школе почти все ученики (за редким исключением!) подражают учителю. Они так хотят скорей стать такими же, как учитель – умелыми, яркими, всемогущими, – мастерами!

И, естественно, перенимают у учителя целый набор всякой всячины – от конкретных приемов (и даже конкретных слов и выражений, лишь учителю свойственных) до стилистики, от формы (построения, композиции, лепки отдельных эпизодов) до содержания (когда ученик, пыхтя, беззастенчиво и наивно ворует у учителя сюжет, старательно приспособлявая его к своему видению и умению).

А в живописи, посмотрите!

Школа Перуджино – из нее вышел Рафаэль. (И сколько же всего он у Перуджино взял! И как же дальше и выше Перуджино он полетел!) Школа Рембрандта – и вот уже Амстердам, да и всю кроху-Голландию наводняют маленькие «рембрандтики», только без трагизма и мощи Мастера.

* * *

А *эпигоны* – это, друзья мои, опошленная школа.

Это школа без ученичества.

Быстро слизать, с поверхности, самые сливки Мастера, его сметанку. «Котик сливочки слизал и на Машеньку сказал».

Повторить Мастера, его ужимки и ухватки, его взрывы и молнии, облака и ветры, фигуры и светила, его жизнь и смерть, только, как говорится, своими словами.

А что, мы и своими словами неплохо можем!

Пошлость – это расхожесть. Это утилитарность, то, что пользуют повсеместно и охотно.

Эпигон, подражая Мастеру, всегда (это получается подсознательно) старается вроде как перетолковать, перетолмачить находку Мастера, перевести на язык толпы. А чтобы понятней было! Чтобы – повторяли, понимали, развлекались, восхищались! Знатоки – ну их. Толпа, всеобщая любовь – вот где соблазн. А людям что нужно? Чтобы просто, понятно и красиво. А иной раз даже чтобы красивенько.

Вспоминается старый анекдот.

Ссорятся два литератора. И вот уже дерутся. Их расцепляют друзья. Один кричит другому в лицо: «Эпигон!» Другой кричит первому: «Графман!» Первый набирает в грудь воздух. Как бы побольнее уязвить соперника? И кричит: «Эпигон графмана!»

* * *

И совсем рядом с эпигонством, вплотную к нему, конечно же, стоит *подражание*.

* * *

Мы сейчас не будем рассматривать истинное значение греческого слова *mimesis* – в переводе на русский это, да, подражание, но совсем не то, о котором вы сейчас подумали.

Мимезис – это не подражание писателя писателю, а художника – какому-то художнику.

Мимезис – это подражание художника природе, миру, всему сущему, – трехмерному видимому и слышимому миру, вселенной, в которой он живет.

Я когда-то, в одной из искусствоведческих своих статей о работах живописца Владимира Фуфачева, изобрела (как мне казалось тогда, удачно) три ступени, ведущие на верх искусства: 1) *копиизм* – когда художник слепо копирует природу – и переносит ее на холст, лист, стену, это и есть мимезис в чистом виде; 2) *иллюстрация* – когда автор пишет свой собственный вариант конкретного дождя или реального снегопада, а еще иллюстрирует вечный миф или вечный сюжет; 3) *креатив* – когда художник создает то, чего не было раньше (и больше никогда не будет).

Эка я обрадовалась, когда много позже узнала, что о копии говорил еще Платон, а о креативе (о чистом творчестве) – Аристотель!

Так вот копиизм, копия, подражание природе – это и есть подлинный мимезис, и это первый шаг в освоении пространства искусства.

Учеников в художественной школе сначала учат, как правильно нарисовать клювик у птички и точно, узнаваемо набросать углем человеческую фигуру. Смотри – и рисуй! Подражай! Это твой мимезис, начальная школа твоя. Природа тебе поможет!

Но, освоив мимезис на первых курсах, пройдя азы старательного копирования природы и ее форм, учитель бросает щенка в бурную холодную воду Большого Искусства: плыви!

Не все выплывают.

* * *

Подражание и *подражатели* – особь статья внутри художественного мира.

Несть подражателям числа, их всегда очень много в искусстве, в среде художников и писателей.

Но, в отличие от сути подлинного античного мимезиса, они подражают не природе, не цветку, не реке, не зверю – они подражают искусству другого человека. Другого мастера.

Это, если можно так выразиться, поддельный мимезис, обманный.

Ты здесь копируешь не колосающуюся рожь – а рожь, что колосится в чужом рассказе; не дождь пишешь с натуры – а дождь, что колотит по крышам в чужом романе.

Ты не сам рождаешь героя, сюжет и все коллизии – а украдкой, втихомолку, тащишь их из приглянувшейся книги.

Ты здесь не сам находишь сравнения, метафоры, эпитеты, символы-знаки – а горстями берешь их у другого, в чужом тексте, потому что прекрасно видишь: этот текст – отличный, достойный! И так увлекает, аж захватывает дух!

Ну как же тут не спеть чужим голосом! Ведь чужой голос такой сладкий, красивый.

Как не скопировать чужой образ? Ведь он такой яркий, издаleка видать!

Да споешь-то ты всё это дело – своими словами! «И чтоб никто не догадался...»

Бывает, и догадываются люди.

Подражатель – тоже своеобразный переводчик: он переводит чужой текст на свой, как если бы оригинал был на английском или на французском языке написан; но оба текста – на одном языке, и оба – получается так – все равно близнецы. Близнецы-братья. «Кто больше матери-истории ценен?»

...Подражатели – бессмертны.

Оглянитесь и подсчитайте, сколько в России поэтов – подражателей Есенину. Маленьких таких, слезливых «есенинчат», что плачут об осенних березах и восклицают при виде той же колосющейся ржи: «Гой ты, Русь моя родная!» Я бы вам точную цифру назвала, да не знаю ее, но подозреваю, она будет большая. Со множеством нулей.

А сколько по белу свету бегают «бродсковят»? Стиль Бродского в свое время оказался таким мегасоблазном для стихотворцев, что «под Бродского» бросились писать все кому не лень. Даже редакторы устали. Утомились. Получая очередную «бродскую» рукопись, они отправляли холодное письмо несчастному подражателю: «Портфель редакции переполнен». Эта невинная фраза для автора звучала как отборные матюги.

А в живописи, там вообще беда. Вот жил-был Сальвадор Дали. Кровью и всей жизнью, между прочим, заплатил за свой вселенский живописный эпатаж!

Если бы знали, сколько в современной живописи маленьких «сальвадорчиков»!

Но никогда им не повторить судьбы гения.

Дали и превозносили, и плевали в него.

«Сальвадорчик» удивленно думает, почесывая перед мольбертом затылок: ну вот я пишу как он, я все делаю как он, а что же в меня никто не плюет? И, главное, никто не превозносит?

* * *

Существует, в особенности в крупной прозе, в романах, чаще всего остросюжетных, и *прямая кража*.

Не плагиат, подчеркиваю, а именно кража.

Крадутся: тематика, фабула, сюжет, герои. Даже образы и смыслы, если вор – искусник и может это хорошо сделать.

Все вышеперечисленное крадется, забивается в компьютер (раньше, в рукописную и пишмашинную эру, было сложнее совершать такие кульбиты, но и тогда такое наблюдалось) и искусно, тщательно переписывается.

Меняются имена героев. Подставляются взамен украденных похожие как две капли воды, подобные ситуации. Видоизменяется исходник – так, чтобы и помину от источника не осталось; переписывается напрочь.

И – вперед, к издателю!

Издатель смотрит: оценивает: недурно! – командует: в печать!

И вот вор держит в руках глянцевою свою книжечку и довольно похихикивает: как я его, автора-барана, обдурил!

А может, напротив, трусливо оглядывается по сторонам и думает, совсем как Беликов у Чехова: «Как бы чего не вышло».

Почему человек так поступает? Что, сил не хватает придумать свое, устал, что ли? Утомился? Ну не ходи тогда в искусство! Там воров не любят! И слабаков тоже!

И все же, все же, все же! Этот соблазн тоже объясним.

Я не психолог и не психиатр, но я по-своему объясню.

Вора сильно беспокоит, будоражит не столько чужая слава, сколько чужое творчество.

Он... завидует.

Завидует тому, как и что может друг-соперник.

А в случае коммерческой литературы – и деньгам завидует. Заработкам.

И тоже заработать хочет.

* * *

И вот, если уж речь зашла о *рынке*.

Прежде всего отметим вполне легальное использование коммерчески выгодной темы.

Гарри Поттер – Таня Гроттер.

В Польше Иоанна Хмелевская – у нас Дарья Донцова.

Во Франции Анжелика – у нас Лизонька Измайлова.

В Англии Шерлок Холмс – у нас, ура, наконец-то, Эраст Фандорин!

«Котик сливочки слизал...»

А вообще, глядите-ка, славно получается! Конан-Дойл родил Холмса – а наш Акунин такого Фандорина смастерил, что Холмса даже местами и перекрыл. А феномен Дарьи Донцовой постмодернисты однажды даже рассматривали как свой собственный: чем не постмодерн – название книжки одно, а романчик совсем о другом!

Но, дорогие мои, хорошие, это ведь все не литература. А, как верно, точнехонько заметил Юрий Поляков, книжная продукция.

На Западе герой плохо лежит – стащим его! И пересадим экзотический цветок на нашу почву. Приживется. И поливать хорошо будем!

На Западе сюжет плохо лежит – а ну-ка, братец, подсуетись! Другие имена, другие времена... Никто ничего не скажет, под локоть не толкнет! И в суд, главное, не подаст!

...бежать по накатанной лыжне легко, но...

* * *

Парафраз. Есть такое дело в музыке.

И в литературе – есть.

Берется текст, ну, например, романа, и пересказывается опять же этими, пресловутыми, язви их, своими словами.

«Однако это же... адаптация!» – воскликнете вы. И будете правы.

Вы сами назовете мне сотни, тысячи текстовых адаптаций. Приспособлений текста ко времени, к публике, к рынку, к целевой аудитории.

Да, это прямая и часто нахальная переработка текста; так умело текст могут использовать издатели, беря одного автора, подсовывая его хорошему переписчику и потом издавая (выдавая) старую книгу за новую.

«И пусть сожгут написанное мною, пусть переписчик слеп...»

Это я из себя цитирую. Мне – можно.
 ...Взрослую литературу приспособить под детскую.
 Переложить древний псалом современным языком.
 Все это – парафраз. Пара фраз.
 Так, пара за парой, из оригинального текста делается... а что же делается?

* * *

Совсем рядом с парафразом стоит, между прочим, *перевод*.
 С одного языка на другой.
 И иногда перевод бывает гениальнее оригинала.
 «Горные вершины спят во тьме ночной...» – ну Лермонтов здесь всяко гениальнее Гёте!
 Хотя не нам судить: мы не немцы.
 А бессмертный «Памятник»? Exegi monumentum? Это тот перевод, который живет в веках.
 Каждая эпоха считает своим долгом перевести этот медный античный монумент на свой язык.
 На язык своего времени, прежде всего. И на язык собственной судьбы – всякий поэт – лично.
 Гораций, сам того не подозревая, родил в поэзии абсолютно новый жанр – в литературе его прямо так и обозначают: памятник.
 Памятники нерукотворные себе воздвигли, после Горация, в нашей России: Капнист, Ломоносов, Державин, Пушкин, Фет, Брюсов, Бродский; даже Владимир Высоцкий такой воздвиг.
 Жанр укоренился в русской поэзии.
 А – в европейской? В китайской? В американской?
 Вот это Гораций так Гораций – ай да Гораций, ай да су... ну, словом, всех победил!
 Собственный жанр – одним стихотвореньем – мужик римский основал. Не каждому дано.

* * *

И вот подобрались мы к тончайшему из тончайших приемов использования чужого текста – к приему *литературного заимствования*.
 Что такое заимствование? Разве это не воровство?
 Нет; тот, кто умело заимствует штрихи и мазки из чужой живописи, отрицает это.
 Заимствования очень разнообразны. Есть много видов заимствования. Их целая палитра. Целый веер, самоцветный спектр.
 Что можно позаимствовать?
 Да много чего.
 Приемы; стиль; образы; композицию; ухватки; жесты; работу с материалом; опять же темы и сюжеты, куда без них.
 Но все это, прошу заметить, плагиатом или прямой кражей в народе отнюдь не считается.
 А почему?

А потому что это все можно утащить к себе в образную копилочку деликатно; незаметно; тайно; грациозно видоизменив; технично варьируя; исправив и переписав; насыщая то, что позаимствовал, своей интонацией (а чужая все равно просвечивает!), своим дыханием

(а чужие хрипы, чужие крики все равно сквозь наслоения другой музыки слышны!).

Заимствуют многие. Очень многие. Нет такого писателя, который не позаимствовал бы у другого писателя когда-то и что-то. Но хорошо, если это заимствование происходит бессознательно, на волне восторга, и еще лучше, если оно одноразовое.

А если писатель заимствует у других авторов сознательно – и постоянно, систематически – все что плохо лежит: образы, музыку, даже, бывает, динамику, накал эмоций?

Это уже хуже.

Потому что писатель этот, заимствователь, получается, так живет. Это его образ жизни; его способ жить.

Он думает: оттолкнусь и поплыву! А еще думает: вот я уже лечу!

Но тот, кто хорошо знает и классическую, и современную литературу, все сразу видит в эклектической, пестрой плоти этих текстов: они прослоены чужим тестом, и на чужом огне испечены эти яркие, красивые пироги.

Сколько таких пирогов за всю свою жизнь я видала... едала...

* * *

Однако далее идем!

Использование. Оп! а разве мы всю дорогу не о нем толкуем тут?

Я про чистое использование. Когда берутся куски текста другого автора, переиначиваются, чтобы не выглядеть цитатами, и вклиниваются, вписываются в произведение.

Можно было бы назвать это дело лукавым коллажем, но мне больше нравится здесь русское слово.

Такие переиначенные куски чужих текстов сейчас становится модным втеснять в свою креативную прозу. К примеру, это ловко и даже блестяще делает Михаил Шишкин. В его романе «Венерин волос» дневник Изабеллы Юрьевой составлен из фрагментов чужих дневников.

И не раз критики Шишкина за руку хватали: ведь крадешь же!

А он смеялся: это новый вид современной литературы!

Я продолжу эту мысль. Скоро все так будут работать! Потому что нет разных авторов, а есть один гигантский мегатекст, и все мы, по сути, пишем одну громадную Книгу Книг! Так почему не перенести текст с одной страницы этой Книги – на другую!

Использовать чужие тексты так, как это делает Шишкин, будут, думаю, далеко не все, далеко не везде и уж точно не скоро. Но что есть, то есть.

Я сейчас читаю книгу одного писателя, написанную в сороковых годах прошлого столетия о годах двадцатых. И вдруг натываюсь на абзац – прямо на абзац! – читанный мною в современной мне русской прозе. Классический пример использования; и не возбраняется. Ибо вписан в нынешний текст к месту и к образу. К нужному делу привязан.

И все же, все же...

* * *

Прообраз.

О, это не платоновский (не писателя Платонова, а философа Платона) знаменитый первообраз, нет.

Это некий текстовый прототип, протосюжет – когда толчком к созданию произведения служит уже существующее литературное произведение.

И здесь просто не обойтись без хрестоматийного примера.

Маттео Банделло написал новеллу о враждующих семействах Монтекки и Капулетти в достославной Вероне.

Что из маленькой новеллы Маттео Банделло сотворил Вильям Шекспир, мы знаем.

«Ромео и Джульетту» и через сто, и через тысячу лет, и сколько будет жить Земля, будут ставить на театре, читать, плакать над ее героями и любить их.

Вот так прообраз посеял в шекспирову душу синьор Банделло!

Синьор Банделло, спасибо тебе. Ты настоящий друг.

Ты Шекспиру подарил одну из лучших трагедий.

Да что там, Вильям просто ее у тебя стащил. Маленькую новеллу.

А сделал из нее – великую фреску.

* * *

Удивительное вот еще явление – *имитация*.

Это совершенно дивное явление. Такое дивное, как гало на небе.

Вот все знают: есть на небе солнце. Днем.

А ночью есть луна.

Оно понятно: и солнце настоящее, и луна настоящая.

А есть такая штука, гало называется.

Это когда возле солнца торчат – и даже сияют! – одно, два, а бывает, и три маленьких солнца.

Как бы солнца. Квазисолнца.

Фенологи и астрономы называют их – ложные солнца.

Какое точное слово – ложные.

Вокруг луны тоже такая прелесть бывает: или концентрические круги, будто настоящая луна вложена, как матрешка, в другую, чужую луну; или опять же две луны по бокам у настоящей луны бойко так светятся, и ты, задрвав голову и глядя в небо, не знаешь, что и думать.

Имитация солнца. Имитация луны.

Запросто их можно и попутать.

Думаешь: о, эта настоящая! – ан нет, ветерок подует, мираж исчезнет, и тебе стыдно перед лунной настоящей.

Но каково чудо имитации! Не отличишь.

У Сергея Есина есть такой роман, «Имитатор». Давний роман, ему уж больше тридцати лет. Но до чего свежа тема! Автор, Сергей Есин, так сам говорил о своем романе: «...насколько выросла сама проблема, насколько она изошрилась, стала элегантней. Раньше (как у меня в романе) имитировал один художник, а сейчас имитируем на высочайшем уровне, имитируем и одновременно импровизируем. (...) Тотальная имитация затронула и политику, и нашу государственную и общественную жизнь». Так вот, ничего сложного сейчас, для автора любого ранга и любого уровня сознания, не представляет виртуозно симитировать другого автора, если один автор на креативную наживку другого автора жадно клонет. Почему бы не начать писать, например, в духе Х? Или в духе Y? Или в таком роде, в каком работает прославленный Z? Ведь ясно, что автора Z публика любит и читает, что у него успех. Так почему бы этот успех мне не повторить? А автор Y

так прелестно пишет! просто чудо! нет проблем писать, что называется, под него! Если я стану как он, глядишь, и меня заметит и обласкает публика!

Для искусной имитации тоже нужен талант. Причем немалый. Имитатор обычно легко справляется с подделкой, уснащая ее там и сям, чтобы имитация не так явно бросалась в глаза, собственными речевыми оборотами и личными словесными находками. И всё, Рубикон перейден, имитация готова! Мало того что без подлинной энергетики текста-«исходника»; а еще и с претензией на авторскую оригинальность. Нет проблем, как говорится.

Что происходит с имитатором дальше? Он вживается в роль. Он уже работает ловко и технично. Он год от года совершенствуется. Он может километрами писать имитационные тексты, и ему при этом кажется, что он нашел-таки свой голос и собственную неповторимость. Увы! Однажды внимательный читатель натывается и глазом, и сердцем на имитацию – и безошибочно вычисляет первоисточник.

Как известно, гало в небесах долго не живет. Рассеивается.

Имитатор может написать хоть сто книг. До мастерства и уникальности оригинала ему все равно не добраться.

Если хотите, это трагедия. Материал для романа «Имитатор-2», достойная пера С. Есина, недавно ушедшего от нас... А может, и кто другой осмелится, симитирует и образ, и сюжет.

* * *

Обнаруживается еще и такая картинка: когда чье-то оригинальное произведение под пером другого автора, искусно переработанное, превращается в *китч*.

Все думают, что китч – синоним пошлятины. Нечто красивенькое, душевненькое, миленькое, сладенькое, мягенькое, славненькое, пустенькое, зело украшенное бантиками, рюшечками, розовыми соплями и сладкими слюнями. Нечто под названием: «Полюби меня!» Или даже так: «Купи меня!»

Но весьма часто китч бывает вторичного происхождения.

Это самый грустный китч, даже если он веселенький с виду.

К примеру, жила-была в США в XX веке такая талантливая авторесса Маргарет Митчелл. Написала она знаменитый роман «Унесенные ветром». Через семьдесят лет в США возникла еще одна авторесса, эмигрантка из России, честно говоря, далеко не талантливая, которой не давали покоя лавры Митчелл. Она без зазрения совести позаимствовала, мягко так скажем, у Митчелл кардинальную идею, вектор сюжета, образы героев – Скарлетт О'Хара и Ретта Батлера, дала им другие имена – и вперед и с песней! Как же мне хочется прославиться! Я прославлюсь как Митчелл! И роман у меня будет ну просто как у нее! Его переведут на сто языков, снимут по нему фильм, и я получу Букера, Оскара и Нобеля!

Да, все было в этом новом эпосе почти как у Митчелл. Только без митчелловского таланта.

На свет народился оголтелый китч.

Хотя, знаете, китч тот выпустили в очень даже приличном издательстве.

А что, издательство никогда не брезговало китчем. Китч, в особенности на модную тему, – он же приносит реальный доход. Народу

по большому счету неважно, талантлив ты или бездарен. Лишь бы было завлекательно, понятно, переживательно и красивенько.

Мне скажут: мы догадались, это дамский роман!

А что, наш читающий народ сейчас состоит в основном из дам в диапазоне от бальзаковского возраста до возраста старухи Изергиль. Такова жестокая реальность.

А сколько замечательных стихов вполне оригинальных поэтов перерабатываются умелыми ручками в красивенькую и веселенькую, а то и в слезливо-сентиментальную китчевую продукцию!

И это правда, увы.

Вспоминаю старый анекдот. «У вас ситчик веселенький есть?» – «Есть, такой – обхохочешься!»

* * *

А что у нас, друзья мои, осталось за бортом корабля?

Ну-ка посмотрим!

Так. Не разгрести.

Дубль. Литературный клон. Цитата. Центон. Реприза. Компиляция. Эkleктика.

Нет-нет... спасаюсь бегством...

Чужие тексты, пустите меня...

* * *

...счастлив тот, кто создает то, чего в мире не было раньше.

Уникальный роман.

Оригинальные стихи.

Неповторимую повесть.

Ни на что не похожую драму.

Кто рождает на свет нечто – да! – уникальное, креативное, то, чему потом, позже, бездарные эпигоны и старательные последователи будут подражать и над чем смешливые пародисты будут весело, по-дружески издеваться; а гении будут снимать шляпы перед госпожою Неповторимостью – и, алаверды, протягивать ей в подарок свою Неповторимость.

А правда, чем может отблагодарить, порадовать художник – художника?

Только неповторимо рожденным. Не клоном. Не двойником.

А ни на кого не похожим человеком.

Ведь книга, стих, любой текст – это человек. И он хочет прожить свою жизнь, а не чужую.

* * *

Это все мое раздумье совсем не означает, что писатель не должен пользоваться чужими текстами.

Он живет в окружении сотен, тысяч, миллионов чужих текстов!

Он не может отбиться от них так просто, как в каких-нибудь «Звездных войнах» светящимся мечом отбивается чудо-рыцарь от злобных космических чудовищ.

Но он, читая чужие тексты, вдохновляясь ими, вступая с ними в полемику или обнимая их душой («Обними меня глазами, обними меня

душой...» – как пел Чиж), пользуясь ими в обиходе или используя их в своей работе, никогда не должен их красть.

Явно или тайно. Искусно или безыскусно.

Должен, не должен... Не так надо тут сказать.

А, может быть, так: *если можешь не красть – не кради!*

Повтор, реприза, подражание, имитация, заимствование – это, как ни крути, все равно не уникальность.

Не гонитесь за копированием чужого. Лучше или хуже, вы повторите то, что уже было.

А счастье художника – единственно в том, чтобы создать то, чего не было никогда и чего потом, после тебя, когда ты уйдешь, больше никогда не будет, и не создаст никто такого никогда, как ни вылезай из кожи, как ни старайся стать «похожим на».

Я вот пишу сейчас эту статью, говорю с вами обо всех этих важных вещах, и я понимаю, что я ее ниоткуда не списываю, не слизываю, никого в ней не повторяю, ни у кого не краду ни ее композицию, ни ее интонацию, – так уж случилось, что я должна была отважиться на этот серьезный честный разговор: верю, он полезен будет, особенно для молодых, кто начинает путь в литературе. Но, ребята, всё без дидактики. Просто – информация к размышлению.

Тексты – это же люди. Мы живем в окружении чужих людей. Их – толпы. Их – целые народы.

А еще мы живем среди людей родных.

Среди тех, кого любим больше всего на свете.

Пушкин, умирая, посмотрел на свои книги, корешками глядящие на него с полок: «Прощайте, друзья мои!»

* * *

...бежать по накатанной лыжне легко, но безрадостно...

Я вам – радости желаю.

А радость – она рождается, как дитя.

Вы сами рождаете ее.

Андрей ЯКОВЛЕВ

Родился в 1959 году в Москве. Окончил отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Работал инженером, грузчиком, разнорабочим, гардеробщиком, одновременно поставил в институте стран Азии и Африки при МГУ преподавание бурского языка (африкаанс), ранее в СССР не преподававшегося. Позднее работал старшим научным сотрудником Института Африки РАН, преподавал бурский и английский языки в Дипломатической академии и на Высших курсах иностранных языков МИДа. В 2004–2008 годах – третий секретарь посольства России в Намибии, в 2010–2015 годах – второй, затем первый секретарь посольства России в Алжире.

Кандидат филологических наук, автор более 90 научных работ и трех поэтических сборников. В настоящее время преподаёт французский язык. Живет в Москве.

«МУЗА-СЕСТРА ЗАГЛЯНУЛА В ЛИЦО...»

О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой

Появление работы с лингвистическим названием в литературоведческом журнале может на первый взгляд показаться несколько странным. Однако исходя из единства объекта филологии – единства, которое в последние годы счастливым образом вновь становится реальностью, – нельзя не признать, что исследование лингвистики художественного текста, решающее сугубо литературоведческую задачу, есть исследование литературоведческое. Если здесь присутствует элемент нетрадиционности, то он только в том, что о русских стихах XX века пишет языковед, привыкший к весьма древним текстам.

В этой заметке будут рассмотрены некоторые стихотворные произведения Анны Ахматовой, затрагивающие тему взаимоотношений поэта и поэзии, может быть, шире – художника и искусства. Однако здесь нас интересуют иные мотивы, чем те, которые звучат в цикле «Тайны ремесла». Если в названном цикле освещается в основном процесс появления поэтических произведений, их «подъём» из небытия (или, точнее, из инобытия) к поэту (который дан, который уже есть, уже, с самого начала, присутствует), их переход в светлое поле сознания, а также – в других стихах этого цикла – отношение поэта и читателя, то в тех стихах, о которых пойдет речь в нашей заметке, свет поэтического знания, те есть такого знания, которое на санскрите называлось бы *vidyā*, а не *jñāna**

* Слово *jñāna*, этимологически соответствующее русскому «знание», означает знание, приобретенное в результате опыта, наблюдения, эксперимента и т. п. –

позволяет читателю увидеть процесс (или, если угодно, момент) превращения не-поэта в поэта, не-художника в художника. В нашу задачу не входит создание полного списка таких произведений; по всей вероятности, корпус текстов, на которые мы здесь опираемся, мог бы быть существенно расширен.

Нас интересуют прежде всего поэма «У самого моря» (1914) – своего рода «свод ранней лирики» (Эйхенбаум Б. М. Анна Ахматова: опыт анализа. Пг., 1923), стихотворения «Муза» («Муза-сестра заглянула в лицо...», 1911), «Муза ушла по дороге...» (1915), «Я улыбаться перестала...» (1915), а также произведения, имеющие косвенное отношение к названной теме: «Утешение» («Вестей от него не получишь больше...», сентябрь 1914), «Долго шел через поля и села...» (1915), «Кое-как удалось разлучиться...» (август 1921) и несколько других, которые будут упомянуты ниже. Интересно, что большинство этих произведений написаны Ахматовой в «роковом» возрасте героя русской классической литературы, примерно в 26 лет.

Первые два названных стихотворения объединены общим сюжетным (или как бы сюжетным) ходом: Муза отбирает нечто очень дорогое:

Муза-сестра заглянула в лицо...

.....

И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.

.....

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
«Взор твой не ясен, не ярок...»
Тихо отвечу: «Она отняла
Божий подарок»*.

Пока только заметим, что о Музе дважды сказано в одном стихотворении: «отняла». Значит, это не добровольная жертва, приносимая человеком, который просит наделить его неким даром. Примечательно, что Муза отняла *божий* подарок, то есть оказывается в чем-то властительнее божества. Далее:

Я голубку ей дать хотела,
Ту, что всех в голубятне белей,
Но птица *сама*** полетела
За стройной гостьей моей.

апостериорное знание; *vidyā* (одного корня с русскими «ведать», «ведун», «вещий») – априорное знание, вообще говоря, не зависимое от опыта, интуитивное знание, или полученное путем самоуглубления, размышления и т. п. (можно было бы добавить в этот ряд и слово «медитация», теперь, увы, вполне омещавшееся, но изначально – точное). Эти два вида знания *сегодня* – вопреки тому, что писал М.А. Волошин в начале XX века в статье «О теософии», – не враждебны друг другу. Поразительно, что в России начала минувшего века литературная группировка, принципиально противостоявшая русскому символизму (которого идеал, конечно, *видья*), по вещи случайности назвала себя «Знание» (разумеется, не зная и не понимая различия двух названных понятий в языке далеких общих предков нынешних славян и индийцев).

* Здесь и далее цит. по: Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы. Л., 1979.

** Здесь и далее курсив в цитатах мой. – А. Я.

Я, глядя ей вслед, молчала,
Я любила ее одну,
А в небе заря стояла,
Как ворота в ее страну.

То есть не мы решаем, становиться ли нам поэтами, но Муза сама выбирает нас, отнимая что-то очень нам дорогое и не спрашивая, хотим ли мы принести ей жертву в обмен на «таинственный песенный дар» — это никогда не *делка*, — и открывает «ворота в свою страну», куда мы вольны войти или не войти: путник может и «свернуть с осиянной дороги своей» («Я смертельна для тех, кто нежен и юн...», 1910).

Грань между *отнятым* и *дарованным* — *воспоминание*. Оно о том, что отнято, но оно же и утешение. Оно и характеризуется двойственно: «Оно — веселье и оно — страданье» («Как белый камень в глубине колодца...», 1916).

Можно доказать, что у всех акмеистов была очень хорошая память, но это тема другого исследования. Ограничимся примером из двадцатилетней Ахматовой: «И что *память* яростная мучит, Пытка сильных — огненный недуг...» («И когда друг друга проклинали...», 1909) — и из стихотворения 1959 года «Творчество»: «...говорит оно (Творчество. — А. Я.): “...я *помню* все в одно и то же время...”»

Заметим также, что эллинская богиня памяти Мнемозина считалась и матерью Муз.

Отношение к сделанному выбору у самой Ахматовой неодинаковое, по крайней мере в раннем творчестве. Сравним такие два стихотворения, как «Лучше б мне частушки задорно выкликать...» (1914) и «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...» (1915) с его последней строфой:

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

Войдя в «ворота в ее страну», героиня, видимо, оставит что-то очень любимое ею, то, с чем ей жаль было расставаться, когда она просила Музу «зимы со мной подождать».

Более развернутая картина дана двадцатипятилетней Ахматовой в поэме «У самого моря»: «Девушка стала мне часто сниться... С дудочкой белой в руках прохладных» — то есть «являться Муза стала мне». Но акмеизм — это реакция слова на мир, где слово обесценено*, и акмеист** Анна Ахматова «не объясняет, но показывает»***.

Что речь идет о Музе — это следует уже хотя бы из сопоставления со стихотворением «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода...», 1924): «Что почести, что юность, что свобода Пред милой гостьей с *дудочкой в руке*», но еще более из того, что вскоре героиня смогла сложить

* Формула из неопубликованного спецкурса «Язык русской поэзии» М. В. Панова, читанного в МГУ в 1984-1985 учебном году.

** Некоторые утверждают, что Ахматова — не акмеист, видимо, им так легче объяснять публике, что она великий поэт. Интересно, для того чтобы объяснить кому-то, что Менделеев — великий ученый, надо ли отрицать, что он химик? Или что Циолковский — инженер?

*** Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923.

«песню, Лучше которой нет на свете». И это дано в обрамлении двух Несбывшихся (а *несбывшееся* есть более чем просто утрата) — неожиданного и отвергнутого и напряженно и страстно ожидаемого: строки 47–83 — появление и уход «сероглазого высокого мальчика», 219–262 — появление и смерть царевича — того, кто «правил Самой веселой, крылатой яхтой». Первая утрата — это как бы тень, отброшенная в прошлое утратой будущей, гораздо более тяжелой. (Образ Несбывшегося, хотя оно и не названо этим словом, маринизм поэмы, наконец, сам сюжет — все невольно приводит на память гриновские повести «Бегущая по волнам» и «Алые паруса», но «Ахматова и Грин» — тема другой заметки.)

На первый взгляд может показаться, будто поэма «У самого моря» противоречит вышесказанному наблюдению о том, что Муза сама выбирает, к кому прийти: ведь явлению Музы непосредственно предшествуют строки, в которых героиня печалится, что ей не хватает нужной ей песни: «Да только песни такой не знала, Чтобы царевич со мной остался».

Но в самом начале о героине сказано, что она *чует воду* (стало быть, ведунья — носитель априорного знания, санскр. *vidyā, veda*), чуть ниже — что она, по общему мнению, приносит счастье. Стало быть, если продолжить наши параллели с древнеиндийской культурой — а мы это делаем не столько отдавая дань своей специальности, сколько просто в силу того, что концепция априорного знания лучше развита именно в древнеиндийской культуре, — итак, если продолжить эти параллели, выйдет, что героиня каким-то образом причастна (конечно, не осознавая этого) не миру демонов-асуров, но миру богов-дэвов. Позвав Музу, она просто *исполнила свое назначение*, она рано или поздно должна была это сделать.

Е.С. Добин полагает, что «“У самого моря” — поэма о безыскусственных душах, о простецах, о безвременной гибели юноши, о незаживающих ранах, нанесенных судьбой»*. Позволю себе добавить, что это также поэма о пробуждении поэта и обо всем, что с человеком творится при таком пробуждении.

То, что проявилось в образном ярусе лирики Анны Ахматовой, осуществилось и в ее судьбе. (Не буду утомлять читателя аналогиями из «дуэльной классики» (Ю.М. Лотман) русской литературы XIX века.) Если бы Ахматова эмигрировала, как многие, «отклонив от себя удары», или, точнее, отклонив себя от ударов, она, вероятно, осталась бы просто *одним из поэтов*; но Ахматова, по-видимому, догадывалась о своем назначении, по-видимому, понимала, что на ней почил русское слово (по свидетельству А.П. Лободанова, выражение В.В. Виноградова). (Не буду говорить здесь о всеведении поэта, писавшего в сороковом году о тринадцатом, то есть вспоминавшего накануне сорок первого года канун четырнадцатого.) И в конце жизни она уже могла произнести в своих стихах о городе Пушкина («Наследница», 1958):

О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую все это:

.....
И даже собственную тень...

* Добин Е. С. Поэзия Анны Ахматовой. Л., 1968.

Возвращаясь к образному и словесному ярусам, уместно вспомнить емкий оксюморон: «Щедра взыскана дивной судьбою...» («Городу Пушкина», 2, 1957).

Утрата у Ахматовой – это почти всегда обретение, одно из очень редких исключений – стихотворение «Белая ночь» («Небо бело страшной белизною...», июнь 1914, – кстати сказать, накануне войны). Впрочем, если рассмотреть звуковой ярус, окажется, что и здесь намечено преодоление возникающей дисгармонии: в третьей строфе восстанавливается ровный ритм. Итак, утрата у Ахматовой – почти всегда обретение – не обратная ли это сторона заново открытого Блоком Закона Возмездия?

В стихотворении «Долго шел через поля и села...» концовка при внимательном чтении воспринимается однозначно как *гибель* возлюбленной:

А над смуглым золотом престола
Разгорался божий сад лучей:
«Здесь она, здесь свет веселый
Серых звезд – ее очей».

Но звучит эта концовка почему-то радостно. И такой слитности утраты-обретения, пожалуй, нет больше нигде, даже в стихотворении «Утешение» («Вестей от него не получишь больше...»): «Он божьего воинства новый воин, О нем не грусти (! – А. Я.) теперь».

Героиня, теряя возлюбленного, получает то, о чем и не мечтала: «Подумай, ты можешь теперь молиться Заступнику своему». Многое отнято, но и дано *тем самым* многое.

Отголоски мотива, на который мы здесь стремимся обратить внимание, звучат в очень многих ахматовских стихах, например в стихотворении «Кое-как удалось разлучиться...» («Как подарок, приму я разлуку»^{*}); в первом (1940 года) стихотворении цикла «Разрыв» («Не недели, не месяцы – годы...»): «и седой над висками венец», где *венец* – не украшающее сравнение, но слово вполне семантическое (даже под рифмой стоит)^{**}; в третьем (1934 года – имеется в виду не хронологическая, а композиционная последовательность) стихотворении того же цикла – «Последний тост» («Я пью за разоренный дом...») – и даже в совсем раннем, 1909 года, диптихе «Читая Гамлета» (1: «У кладбища направо пылил пустырь...»), где о речи, причинившей боль, сказано: «Пусть (! – А. Я.) струится она сто веков подряд Горностаевой мантией с плеч».

Из представленных здесь наблюдений вытекает один очень важный вывод. Коль скоро утрата у Ахматовой почти всегда означает обретение^{***}

* Это пишет ранняя Ахматова, для которой страшнее разлуки вообще ничего нет; перемена наступит позже, когда самым ужасным на свете станет *бег времени* («Что войны, что чума? – конец им виден скорый...», 1962) и когда желания и чувства сами окажутся наделенными способностью чувствовать и желать (см., например, пьесе «Пролог, или Сон во сне»).

** Примером поэтической системы, в которой такое слово без ущерба для *целого* могло бы быть употреблено в качестве украшающего эпитета (и даже просто для *рифмы*), можно назвать, пожалуй, поэтическую систему С. А. Есенина.

*** Продолжая наши параллели, отметим, что существует традиция доказательства энантиосемии понятий «брат» и «давать» в праиндоевропейском, восходящая к Э. Бенвенисту: *Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. Paris, 1969. V. 1. P. 81–82.

и коль скоро в ахматовской поэзии, как многократно отмечалось исследователями, огромную роль играют «психологические буйки», процессуальная синекдоха, улика (определения М.В. Панова), позволяющая по названному следствию угадать неназванную причину (составляющую тем не менее главный, глубинный смысл поэтического произведения), – коль скоро верно и то и другое, мы по-иному воспринимаем восклицание «Слава тебе, безысходная боль!» («Сероглазый король», 1910) и подобные ему. Ведь те, кто не любит Ахматову, очень часто не любят ее именно за это – за этот, как им видится, уход в страдание, упоение своим страданием как таковым. Обратная сторона названной в поэтическом тексте утраты, выраженного в нем страдания *всегда* есть обретение чего-то очень высокого (пусть даже и неназванного). Это распространяется и на те стихотворения, в каждом из которых по отдельности нет ясных намеков на *обретение высокого*. Это не результат нашего субъективного настроя, это доказывается совокупностью текстов самой Ахматовой, на которые мы опирались в нашей заметке и семантику которых стремились в ней показать. Работа проделана не напрасно, если эта заметка попадет на глаза тем, кому приходится бороться с ощущением, будто ахматовские стихи, в которых автор (или лирическая героиня) *идет в глубь страдания*, несут на себе отпечаток, чтобы не сказать по-другому, нездорового отношения к жизни. Лирика Ахматовой не патологична. Лирика Ахматовой чиста, возвышенна и целомудренна.

Здесь уместно вспомнить рассуждение Н.В. Недоброво о «страдальческой лирике»^{*}. Поскольку источник малодоступен, уместно процитировать это рассуждение почти целиком: «Заметно присутствие в ее (Ахматовой. – А. Я.) творчестве властной над душою силы ... Эта сила в том, до какой степени верно каждому выражению, хотя бы и от слабости возникшему, находится слово, гибкое и полнодышащее, и, как слово закона, крепкое и стойкое. Впечатление крепости и стойкости слов так велико, что, мнится, целая человеческая жизнь может удержаться на них; кажется, не будь на той усталой женщине, которая говорит этими словами, охватывающего ее и сдерживающего крепкого панциря слов, состав личности тотчас разрушится и живая душа распадется в смерть. И надобно сказать, что страдальческая лирика, если она не дает только что описанного чувства, – нить, лишенное как жизненной правды, так и художественного значения. Если ты все стонешь о смертном страдании и не умираешь, не станет ли презренной слабость твоей дряблостью души? – Или пусть будет очевидным, что, в нарушение законов жизни, чудесная сила, не сводя тебя с пути к смерти, каждый раз удерживает у самых ворот. Жестокий целитель Аполлон именно так блюдет Ахматову. “И умерла бы, когда б не писала стихов”, – говорит она каждую страдальческую песней, которая оттого, чего бы ни касалась, является еще и славословием творчеству».

* Недоброво Н. В. Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. Кн. VII.

Алексей КОЛОБРОДОВ

Поэт, литературный критик, журналист. Родился в 1970 году в Камышине (Волгоградская область). Учился в Саратовском госуниверситете (исторический факультет) и Литературном институте, служил в Советской армии. Работал обозревателем газеты «Саратов», заместителем главного редактора газеты «Новые времена в Саратове».

Главный редактор журнала «Общественное мнение». Автор нескольких интернет- и телевизионных проектов.

Автор книги «Культурный герой», о Владимире Путине в современном российском искусстве. Лауреат журналистской премии имени Артёма Боровика.

Живёт в Саратове.

БГ ВОЙНЫ

О новой книге Платона Беседина «Дети декабря»

Книга Платона Беседина «Дети декабря» (М.; Эксмо, 2017) может, пока и не стала сенсацией нынешнего литературного сезона, однако пользуется явно повышенным вниманием рецензентов. В наше время, когда критика писателям выдается «по карточкам», то бишь премиальным спискам, и то далеко не всегда – это уже признак значительного успеха.

Другое дело: тон откликов свидетельствуют о некоторой растерянности рецензентов – то ли их сбивает с толку подзаголовок «антивоенный роман», то ли опорные пункты, между которыми расположилось повествование (Севастополь, и вообще Крым, Одесса, Донецк и окрестности – сегодня это не столько география, сколько контурные фронтовые карты). Возможно, кружат головы цитаты из песен БГ – титульные «Дети декабря», затем следует «Стучаться в двери травы», опять ДД, а дальше прием обрывается лапидарной «Мебелью» и голливудским «Воскрешением мумий». Последний раздел «Красный уголь» вновь, по необязательной ассоциации, возвращает к Борис Борисычу – «если б каменный уголь умел говорить»... Попадают еще «дворники и сторожа, люди медитативных профессий». Тем не менее на цитирование поколенчески-субкультурных маркеров Беседин традиционно щедр (вспомним его прежние вещи – «Книгу Греха», роман «Учитель», сборник «Рёбра»), в чем неоригинален, но похвально последователен.

Могу допустить, что критиков смущает и форма вещи – явно не «романная» и не линейная, закольцованная не столько войной и фронтовой географией, сколько драматическим эхом между поколениями

и душевными вибрациями персонажей. Не роман, конечно, но и сборником «Детей декабря» называть неправильно. Видимо, всё-таки – «книга». Если бы я рассчитывал на нескромность писателя Беседина, обязательно предложил бы ему горьковский вариант – «Книга о русских людях». Можно при этом оговорить время и место действия – май-данные и постмайданные Украина и Крым. Но можно и не оговаривать.

1

А конкретнее по форме – под обложку «антивоенного романа» сведены пять повестей, разных по объёму и, что менее уловимо, – по жанру, хотя мейнстримовым остается микс внутреннего монолога с репортажем (иногда вроде по канве внешних событий, но как бы изнутри себя). Отсюда атавизм репортажной манеры, оборачивающийся сильным приемом – Платон целый куски подчас дает через действие в настоящем времени; практика для русской прозы нечастая. Чистоты эксперимента он долго не выдерживает (а вот у молодого Антона Чехова получалось, правда таких рассказов у него немного, и все короткие), но эффект присутствия, порой стыдноватого и страшноватого для читателя, Беседин создает умело.

Другой принцип сообщающихся сосудов еще занятнее. Персонаж, отработав своё в повести, где является центральной фигурой (инженер-холостяк Вадик Межуев; затюканный женой и депрессиями интеллигент Смятин; писатель со «шмелиными (вариант – брежневскими) бровями», в котором угадывается сам скромный автор), уходит в облако тэгов, чтобы быть вскользь упомянутым в новом сюжете. Симпатичная – не то набоковская, не то из мовистских вещей Катаева, реальность. Она выплескивается и за пределы повествования – так, на обложке книги наличествует весьма энергичный комплимент Людмилы Улицкой. Собственно, не сам комплимент провоцирует некоторое недоумение, а имя Людмилы Евгеньевны, в последние годы славное не столько литературой, сколько ярко выраженной политической позицией – «Детей декабря» можно, конечно, отнести к тексту «украинскому», но никак не «проукраинскому», да и Платон Беседин не ходит в записных либералах. Отгадка проста – Улицкая из того же облака тэгов: «Проснулось его (Смятина. – А. К.) книжное безумие. Как раскодированный, он принялся скупать книги со стикерами «-30%», «-20%», «-40%». То хватал их жадно, то, наоборот, долго рассматривал, принимаясь и глядя. Моэм, Ким, Улицкая, Джойс, Андахази, Маккарти, Павлов, Майринк, Белов, Попов, Эллис, Ерофеев, Манро – в том, как и что он покупал, не было ни порядка, ни смысла, но сама эта хаотичность, взбалмошность покупки радовала».

Отметим, что авторов других комплиментарных выносов с обложки «Детей декабря» – Леонида Юзефовича и Романа Сенчина – в этом списке нет. Впрочем, Сенчина, неназванного, в книге Беседина и без списка с избытком, но об этом ниже.

2

Я с интересом отнесся к прозаику Беседину после первой его крупной вещи – упомянутой «Книги Греха». При всей ее комической комиковости, лабораторных страшилках, натужном физиологизме в сочетании с потешным менторством – роман подкупал свежестью, энергией

поиска и умением конструировать пусть аляповатую, но собственную художественную реальность.

А вот публицистика Платона – периода, натурально, украинского кризиса, крымской весны и войны на Донбассе – меня не привлекала, а подчас и утомляла – тем же самым менторством, уже никакой художественной задачей не обусловленным, лобовой подачей; драматизм внешних событий в качестве инфоповода гулко отдавал внутренней пустотой.

Ничего страшного; такое бывает – и конфликт прозаика и публициста, «300 минут секса с самим собой» («Звуки МУ»), по-своему любопытен. Впрочем, именно публицистика, похоже, научила Беседина не бояться конфликтов и обострять их в любой удобной ситуации. По сути, основной смысл «Детей декабря» – еще один, и фундаментальный, конфликт между заявкой и содержанием. Читатель ждет от «антивоенного романа» рифмы «розы», то есть этой самой войны. А ее нет. Есть – в повести «Дети Декабря» фрагментарное, но впечатляюще точное описание Майдана и Антимайдана в Киеве на исходе 2013 года, когда Вадим Межуев на физическом (физиологическом даже) уровне приходит к простому и тяжелому выводу: поборники европейских ценностей да и сами случившиеся здесь же европейцы ненавидят русских только потому, что они – русские. Чех по имени Радо: «Руска империя ненавидеть Украину. Русе враг Украине. Триста лет. И Чех ненавидеть. Дед воевать с русами». (Кстати, а в каком качестве воевал чешский дед? Солдата вермахта, не иначе, а какие еще варианты?)

В «Воскрешении мумий» наличествует не менее яркий камбэк «крымской весны», но задним уже, растворяющимся фоном. «Стучаться в двери травы» начинаются домом, который одним из первых пострадал при начавшихся артобстрелах, затем идут описания быта лагеря донбасских беженцев, но и первое, и второе уместно рассматривать как метафору общей катастрофы и неблагополучия.

Словом, в «Детях декабря» Беседин никак не наследует Хемингуэю, Эренбургу и Прилепину, зато деятельно трудится в звонких подмастерьях у Романа Сенчина и в штудиях этих порой превосходит учителя.

Собственно, все повести, составившие «Детей декабря» (кроме первой, «Стучаться в двери травы», это компактный почти шедевр, продолжающий славную некогда традицию русской прозы и кинематографа о «военном детстве»), продолжают линии сенчинских городских текстов. Главным образом, явно недооцененного в свое время романа «Информация». Именно сенчинский герой – с его мучительными рефлексиями, семейными и служебными конфликтами, книгами, пьянством, блудом, музыкой, травмированной психикой в стадии полураспада личности, вызверившимся бытом, одолеваемый мелкими бесами и сатанеющими согражданами – размножился в повестях Беседина, в иных географических и почти аналогичных хронологических обстоятельствах. В процессе непоправимо отвратительного взросления, сопровождаемого, по Сенчину, – «геморроями», по Беседину – гипертонией и простатитом. Тоже метафоры.

И незатейливый вопрос – а является ли «война» катализатором и мотором этих физических и духовных хворей? Честный ответ – нет, и всего не спишет, разве что возгонит и укрупнит картину внутреннего разрушения. И то не факт – бесединские герои находят свою войну легко, как приключения на задницу, иногда со смехотворным, катастрофическим пережимом: «Вечером Смятин пошёл к морю, вычи-

тав, что оно лечит душу. Замёрзший, он бродил по пустынному берегу. У заброшенной воинской части на него бросились две лохматые псины. Сдавленный испугом, Смятин застыл, думая, что так твари оставят его в покое, но клацающие челюсти приближались и пришлось отбиваться камнями. Псы, завывая, скрылись. Смятин приехал домой окончательно испепелённый».

Тут уже не Сенчин, а практически Хармс: «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу». Или Чехов: «умер от двух болезней, столь распространенных в нашем отечестве: от злой жены и алкоголизма» – сказано как будто о нелепом и трагическом конце бесединского Смятина.

Впрочем, смешного мало: Беседин пугает страшно, одно из его писательских достоинств – в сильной социальной диагностике. С терапией хуже, и это не вина Платона, а общая беда. Единственный его рецепт – при распаде отношений внутри семьи и поколения выстроить заново горизонтальные связи: банальная нежность к детям, забота о стариках... Очень хороши совершенно неканонические воспоминания бабы Фени об оккупации на Брянщине («Стучаться в двери травы») и старика-фронтовика Якова Фомича об одном из сталинградских эпизодов («Каменный уголь»). (Вот только СМЕРШа как самостоятельной организации на момент Сталинградской битвы еще не было).

3

И еще один конфликт, который фиксирую ради объективности (и дабы помочь автору с редактурой при новых изданиях). Беседин учится писать от книги к книге – в «Детях декабря» эта работа заметна: стиль стал суше, метафоры реже и точнее, фраза короче и выразительнее. Однако инфантильное желание «чтоб было красиво» подчас прорывается досадными ляпами и корявостью: «вставляет в магнитофон рта»; «с чертяками секса в глазах девица»; «росло то дерево, вишни которого они превращали в истекавших соком-кровью больных». Особенно нелепо подобные обороты смотрятся на фоне таких чеканно-клиповых упражнений:

Мне кажется, что мы, крымские, выглядим старше, монументальнее, но случись драка – и донецкие переработают нас в уголь.

– Вениамин! – Нашего лидера приветствует косматый медведь в чёрном спортивном костюме с белыми адидасовскими полосами на рукавах. – Мы стартуем.

– Понял тебя, Иннокентий!

Мир определённо несовершенен, раз этого огромного человека с лицом будто сделанным из гипсокартона зовут Иннокентий.

Что же до эпитета «антивоенный» – он как раз на месте: снимает противоречие между географией и метафизикой. Пусть и вопреки авторскому замыслу. Но мало ли хороших книг появилось благодаря именно этому «вопреки».

Людмила СИПКО

Родилась в Черниговской области, Украина. Окончила с отличием филологический факультет Киевского национального университета имени Т. Шевченко по специальности «русский язык и литература».

Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Проблема “человек и природа” в современной русской поэзии». В течение 30 лет работала на должности доцента кафедры русского языка и литературы Тернопольского национального педагогического университета. Преподавала курсы истории русской литературы XIX, начала XX века, истории русской критики, выразительного чтения, стиховедения и др.

Автор полутора сотен научных и методических работ. После закрытия специальности «Русская филология» и расформирования кафедры по специальности не работает.

Живет в Тернополе.

«ФИШКА – НА КРАСНОМ, А ВЫПАЛО ЧЁРНОЕ...»

О романе Галины Талановой «Светлячки на ветру». – М.: АСТ, 2017

«Светлячки на ветру» – третья книга прозы Галины Талановой. Индивидуальный стиль писательницы, сформировавшийся в романах «Голубой океан» и «Бег по краю», легко узнаваем и в ее новом произведении. Основными чертами художественного почерка Талановой можно считать, во-первых, предельную концентрированность в тексте изобразительно-выразительных средств и, во-вторых, не подчиняющуюся никаким канонам жанровую свободу, объединяющую воедино разнородные стилевые стихии.

Первая черта вбирает в себя ряд признаков так называемого орнаментализма, представляющего собой форму организации прозаического текста по законам поэтического. В таких текстах слово обретает множество смысловых оттенков, поскольку большая роль в них отводится метафорам, ассоциациям, мини-образам. Важную роль выполняют лейтмотивы, символы, а также сама ритмическая организация художественной речи.

Литературоведение к орнаментализму всегда относилось неоднозначно. Негативные оценки этого стилевого явления сводились к упрекам в излишнем увлечении писателей формой речи, в избыточном, нарочитом ее «украшательстве», моделирующем искусственные, вычурные художественные тексты, избыточные назойливыми изобразительно-выразительными приемами.

И все же большинство исследователей признают орнаментализм одним из оригинальных способов авторского познания окружающей действительности. Это литературное явление называют отражением особого поэтического видения мира, а суперобразность орнаментальной прозы справедливо связывают с особенностями авторского моделирования действительности и художественного мышления как такового.

Романам Галины Талановой орнаментализм присущ органично – ведь она не только прозаик, но и автор семи поэтических книг. Медитативная насыщенность всех художественных текстов писательницы позволяет охарактеризовать ее орнаментализм как интеллектуальный. Во многом именно он открывает Талановой широкие возможности для жанровых экспериментов, которые определяют вторую важнейшую черту ее стиля: в рамках созданной Талановой «интеллектуальной системы» рождаются новые связи между, казалось бы, совсем не сочетающимися планами повествования. В ее романах сухая жизненная фактография неожиданно сменяется размышлениями о вечном, чувственность исповеди разрушается вклинивающимися публицистическими элементами, философские поэтические строки легко соседствуют с бытовыми деталями, а в предельно «рафинированный» тон повествования смело вторгаются элементы натурализма, демонстрирующие некую лексическую свободу писательницы. А еще... Еще все это как-то непринужденно обрамляется тончайшим психологизмом.

Но, пожалуй, наиболее удивительным является то, что эта «стилевая смесь» не рождает художественного диссонанса. Может, именно поэтому свобода, раскованность повествования становятся все более ощутимыми с каждым новым романом писательницы.

«Светлячки на ветру» изданы в серии «Лучшие романы о любви». Так же как и «Бег по краю», это произведение Талановой находится в некотором противоречии с тематикой привычных нам женских романов, в которых героиня в качестве награды за свои страдания получает достойного мужчину, красивого, богатого и великодушного, с которым она «обретает своё женское счастье».

В одном из интервью о своем романе «Бег по краю» Таланова сказала, что это произведение «...не для тех, кто привык перебиваться «попкорном» и судорожно листать страницы в поисках счастливой развязки. Это – роман для тех, кто не боится получить лёгкий ожог и задуматься о смысле человеческой жизни...».

По общему настрою «Светлячки на ветру» – такой же роман-ожог, воссоздающий жизненные реалии без прикрас, где, увы, черные полосы часто оказываются значительно шире белых и где человек постоянно испытывает дефицит счастья. Однако в новом романе более выразительной стала сквозная мысль: несмотря на жизненные испытания и трагедии, главная героиня постоянно ощущает тоску по идеалу, символом которого становится образ светлячков.

Философский смысл каждой из четырех частей романа зашифрован в эпиграфах, для которых использованы японские хокку о светлячках. Жители страны восходящего солнца считают эти «живые фонарики» душами своих умерших предков. А еще японцы верят, что излучаемые светлячками вспышки света вызывают у человека любовное томление, поскольку для самих насекомых они являются знаками желания – любовными призывами.

Галина Таланова неспроста выбирает основным местом действия романа «русскую Ривьеру» – место массового обитания светлячков:

произведение начинается с описания феерического зрелища, которое зачаровывает волшебным светом тысяч крошечных лампочек. Образ светлячков, мерцающих в ночи, становится сквозным в романе. Он сопровождает героиню на протяжении всего повествования и звучит как последний аккорд в финале произведения.

Хронотоп «Светлячков» строится на обилии ретроспекций. «Выровняв» события в единую фабульную линию, читатель видит весь жизненный путь главной героини романа Вики – от маленькой девочки до взрослой женщины.

Философский тон повествованию задан уже первым лейтмотивом: «Всё бежим куда-то вверх, перебирая ногами, как белка в колесе, — мелькающие спицы, ступеньки эскалатора, равнодушно движущегося вниз. Сначала рано, потом некогда, затем поздно». И буквально через страницу: «В жизни всё бежим куда-то. Сначала рано, потом некогда, потом поздно».

Для думающего читателя этот тезис сразу же превращается в повод для размышлений. Первый выстрел – и точное попадание: Галина Таланова заставляет каждого из нас задуматься о собственном существовании, примерив его на «трафарет» жизни героини романа. Что скрывается за словами писательницы? Пессимизм? Скепсис? Или такой она и есть – жизненная проза? Ступеньки эскалатора равнодушно движутся вниз... А лестница, по которой мы пытаемся карабкаться вверх, почему-то непременно «с гнилыми ступеньками и сломанными перилами». «Лестница длиной в нашу жизнь» – это еще один важный лейтмотив, берущий свое начало на первых страницах «Светлячков» и то и дело всплывающий в мыслях и снах Вики до самого конца произведения.

Образ главной героини романа основывается на оппозиции «мечта – реальность», которая реализуется во многом через противопоставление двух многозначных символов: СВЕТЛЯЧКИ и ЛЕСТНИЦА.

Галина Таланова тщательно вырисовывает ступеньки жизни Вики, которые, как стоп-кадры, запечатлела ее память: первая влюбленность во втором классе; подаренная родителями кружевная комбинация с гофрированной оборкой из капрона; параллельно развившаяся симпатия сразу к двум мальчикам в пятом классе; первый медленный танец с мальчиком в восьмом классе; пролетевшие за учебниками студенческие годы; общение с сыном куратора группы Петром; первые поцелуи с братом Петра – Владимиром...

И вот уже сделан смелый шаг в самостоятельную жизнь – Вика выходит замуж за Владимира: «...ей хотелось почувствовать свободу от родительской зависимости и пожить настоящей взрослой жизнью»... Тогда еще ей, по-детски наивной молодой жене, казалось, что «в конце концов, если семейная жизнь не заладится, то можно будет всё переписать...»

Галина Таланова проводит своих героев-молодоженов через материальные проблемы и испытание бытом, через притирку характеров и неисправимые гендерные различия. Вика знала, что Владимир «не поймет ее никогда...»: «У него по телевизору – футбол и боевики, у неё – психологические драмы». А еще ее не покидало ощущение, что родными для нее, как и прежде, были мама и папа, бабушка и дедушка, а муж так и оставался чужим человеком. Поэтому, сбежав однажды от пьяного Владимира к родителям, Вика внезапно почувствовала, что именно здесь ее родной дом, а место ее нынешнего проживания – это «чужое жильё, где она немного погостила».

Описание семейных трудностей молодой пары становится новым толчком к рассуждениям автора романа о сложностях отношений между мужчиной и женщиной. На страницах произведения рождается очередная виток философичности:

«Жизнь – это цепочка разочарований... Она вспоминает, как недавно порхала, точно на крыльях, как ждала встречи с ним и думала: «Только б он позвонил...», как счастливо улыбалась, услышав его голос... Куда всё это так быстро делось? Семейная жизнь кажется ей теперь освещённым туннелем, которому не видно конца. Она сама ограничила этот мир туннелем. И соскочить-то не соскочишь... Везде бетонная стена».

И хотя «скандалы выматывали», а разговоры с вечно пьяным мужем «всё чаще заканчивались каким-то опустошением», Вика долго пыталась сохранить свою семью, потому что «слишком уже привыкла и сослалась». Но с каждым днем ей все больше казалось, что их семейный союз с Владимиром, в основном, держится на власти тела – ведь прикосновения рук и губ притягивали их друг к другу сильнее, чем родство душ...

Начало второй части романа – это начало следующей ступеньки в жизни Вики, на которой родилась ее новая любовь. И хотя ожоги от первого неудачного брака еще не зажили, все же Вика шагнула навстречу Глебу, чтобы сполна ощутить, как с любовью «внезапно в её жизнь вернулись цвет, вкус и запах».

«Нутро семейной жизни» становится в «Светлячках на ветру» объектом пристального внимания и всестороннего анализа. Причем с большим пристрастием Таланова «препарирует» именно оборотную сторону семейного союза, за которой прячутся непонимание, разногласия, ссоры. Житейская мудрость, присущая автору романа, позволяет раз за разом раскладывать по полочкам те обыденные, повседневные истины, которые живут в голове многих людей только в виде сумбурно накопившихся риторических вопросов. У Талановой за будоражащими воображение вопросами, как правило, следуют и ответы:

«Зачем люди женятся? Бегут от одиночества – но снова попадают в его тиски. Только одиночество это уже вдвоём без иллюзий что-то в жизни сменить или переиначить, когда дети мокрыми глазами возвращают на землю, даже если снова рванёшься полетать. Почему тянет иметь общий кров? Ведь можно и так. Без обязательств, без слёз, без встрясок, без любви? Вика жила в благополучной семье – и ей казалось, что и в её жизни должен быть мужчина, с которым можно жить как за каменной стеной, а не стоять на перекрёстке, поёживаясь и жалея о том, что даже за плечи тебя обнять некому: только вот так скрестить руки на груди и чувствовать собственное тепло. Почему хочется иметь своё продолжение? Боишься уйти в небытие, не оставив частички себя на этой земле... Думаешь о том, что должна быть родная душа рядом, которая обязательно будет понимать тебя с полуслова, ведь гены-то в ней твои...»

В рождении наследника главная героиня романа прошла несколько непростых ступеней. Сначала ее мучил подсознательный страх родить больного ребенка. Но, когда роды прошли без осложнений, Вика утонула в материнстве. Отдавая всю себя «этому маленькому идолу», она замечала, что «другие люди проходили теперь в её жизни транзитом». Но вскоре послеродовая депрессия, страх, что с сыном может что-то случиться, материализовались в настоящую беду: Вика узнала, что ее ребенок появился на свет с ограниченным слухом.

Описание проблем воспитания ребенка-инвалида изобилует в романе не только мельчайшими подробностями, но и натуралистическими элементами: «Тимур отчаянно сопротивлялся покушению на его свободу: пинался и плевался, точно маленький верблюжонок; барабанил в грудь кулачками, становящимися похожими на деревянные киянки; пытался дотянуться до волос и выдрать клочок побольше, как пучок сорняка с грядки».

Галина Таланова, не сдерживаясь, щекочет нервы сентиментального читателя. Уже давно не остается сомнений, что она решительно настроена показывать жизнь во всех ее проявлениях, а не довольствоваться лишь презентацией ее «сладкого рафинада». Ведь именно в наиболее сложные минуты человек стремится осмыслить свое существование, постичь загадки своей кармы: «Почему столь горькая чаша — именно нам? За что?.. Почему мы всегда думаем, что с нами этого не произойдет, ужасаясь, когда что-то происходит с другими?»

Неимоверные усилия, приложенные Викой для социальной адаптации сына, постепенно приносили свои положительные плоды. Но жизнь подбрасывала женщине новые испытания: сначала заболела мама, потом у папы случился инсульт. После смерти отца-академика, который был всегда надежной опорой дочери и на работе, и в доме, Вика почувствовала, как закончилась ее сказка. Глубоким смыслом наполняется в романе новый символ, обрамляющий образ главной героини: «Волшебник растаял во тьме, унеся с собой сияние Изумрудного города. Воздушный шарик напоролся на торчащую копьём ветку — и исчез. Зелёные очки разбились на сотни брызг и блестели на асфальте осколками бутылочного стекла». Судьба, казалось, постоянно проверяла ее на прочность — благополучную девочку, выросшую, как за каменной стеной, в семье «Волшебника «Изумрудного города», пытающегося научить ее смотреть на мир сквозь зеленые очки.

По гнилым ступенькам жизненной лестницы Вика пытается карабкаться вверх и в перестроечное время. Но эпоха политических перемен опять заставляет ее заниматься не тем, чего она заслуживает. Вместо научной эволюции Вику ждет социальная деградация: успешные поездки на заграничные конференции постепенно сменяются на серую жизнь человека без имени, который ради заработка пишет научные тексты на заказ: «Теперь она стала госпожой НИКТО, строгой научные работы под чужими именами. Зато в семье появились деньги... Но её не покидало ощущение, что жизнь проходит впустую, она растрчивает свои способности ни на что. Она была кандидатом наук, а могла бы стать и доктором: наследственность и мозги у неё отменные, но, увы, не сбылось и не случилось. Медленное переползание изо дня в день. И хотя с ней щедро расплачивались, чувство гадливости не покидало её».

Параллельно с выполнением унизительной работы Вика продолжает постигать диалектику семейной жизни: «Раньше менялась погода, теперь изменился климат... Раньше были грозы... Теперь начались нудные дожди...» Ей все больше хотелось участия и понимания, но она ощущала, что из их отношений с Глебом что-то ушло необратимо. Будто улитка в свой домик, прятался от Вики и ее сын, почти всегда оставаясь чужим и отстраненным.

После измены мужа «окончательно ушло из дома тепло». Вика начала ощущать себя шагающей по пустырю. И хотя она сожалела, что слишком часто «греется лишь углями прошлого», все равно в воспоминаниях снова и снова возвращалась в свое безмятежное детство и счастливую

юность. Наполняющие роман многочисленные ретроспекции приводят к смешению, наслоению временных жизненных пластов. И нередко именно через призму этого наслоения рождается жизненная философия в ее последней инстанции: «Годы иногда только приближают прошлое... Или мы живём только моментами, а остальное — бытие? Запоминаем лишь сгустки жизни».

Короткой, но яркой вспышкой света стала для Вики ее запретная любовь. Недаром Галина Таланова связывает образ Сергея с символическим уровнем романа: словно бы интуитивно ощутив интерес Вики к светлячкам, Сергей привозит ей из заграничных командировок «живые фонарики». Потеряв отца, Вика пытается передать Сергею роль Волшебника Изумрудного города, потому что ей очень хочется снова почувствовать себя маленькой девочкой Элли, верящей в сказку. И хотя влюбленные понимали, что у них нет будущего, все же они были бесконечно благодарны судьбе, преподнесшей им такой яркий подарок.

Светлячки становятся символом любви и надежды не только для Вики. Они, как спасительный свет, проходят и через судьбу Тимура. Сложный внутренний мир этого юноши писательница исследует в третьей части романа. Брошенный любимой девушкой, Тимур хочет покончить с собой. Но крутящиеся вокруг фонаря снежинки вдруг начинают ему казаться маленькими светлячками, которые уводят его воспоминания в сладкую идиллию той июльской ночи, когда они с мамой собирали светлячков в заросшем саду.

Снежинки-светлячки вдруг открывают Тимуру какой-то новый смысл жизни: «Он подумал тогда, что ничего нельзя удержать в руках: ни чудо, мелькнувшее в тёмной беззвездной, промозглой и одинокой ночи, ни жизнь, ни любовь, ни юность, ни стареющих родителей, — всё-всё растает без следа; и вода, и слёзы — всё испарится».

Трагическая смерть сына стала страшным потрясением для Вики. И хотя Галине Талановой не привыкать к «обнаженному» изображению жизненных ситуаций и «оголению» человеческих душ, но здесь даже она берет своего рода тайм-аут, оставляя свою героиню на некоторое время «за кадром». Внутренний мир Вики становится объектом внимания только через два месяца после гибели сына, когда она впервые решается зайти в комнату Тимура.

Кем он был, ее сын? Нестайной птицей? Белым вороном с перебитым крылом?.. Или все-таки светлячком, у которого в душе горел свет? При жизни Вике так и не удалось разрушить стену отчуждения, за которой прятался от нее ее ребенок, ведь она боялась насильно вторгнуться во что-то сокровенное, в пределы личного пространства раненого подростка-инвалида. Она и после смерти Тимура не была до конца уверена, что имеет право читать его дневник, а поэтому открыла наугад черную кожаную тетрадь: «...начала читать, хаотично, перелистывая страницы то вперед, то назад; листала машинально, пока пыталась справиться с тоской, сжимающей горло мёртвой хваткой, разжать которую уже не было сил. Сидела обмякшей куклой, набитой опилками, навалившись на спинку кресла».

Мастерство психологического анализа позволяет Галине Талановой по-ювелирному тонко описать шемящую боль главной героини романа, вызванную потерей самого близкого и дорогого ей человека. Читая откровения Тимура в дневнике, Вика открывает для себя загадочную душу своего сына, постигает сложное мироощущение глухого подростка: «...Вот почему я такой родился? Я сейчас плачу и стучу ногой

в пол. А мама просто плачет вместе со мной, потому что ей тоже трудно со мной рядом жить. И мне очень одиноко. У меня друзей нет совсем, только мама. Но и она меня понять не может... У меня внутри будто яркий свет горит... Чувствую себя светлячком, запутавшимся в густой траве, тщетно посылающим свои сигналы...» Со страхом Вика осознает, что Тимур даже гибель свою предчувствовал: «Зашёл в комнату к маме – и тут глаза залил красный экран, на котором прошли одна за другой, будто серии фильма, картины моей гибели от несчастного случая».

После смерти Тимура Вика начала ощущать, «что ступеньки её лестницы давно ведут вниз, только шагать по ним почему-то гораздо труднее, чем наверх». Снова возникший в романе лейтмотив жизненной лестницы погружает героиню в размышления о вечном: «Почему я? За что? Это что наказание или наоборот? Если наказание, то за какие такие грехи? Если подарок, то не надо таких подарков... Если я расплачиваюсь не за свои, а за чужие грехи, то кто дал право наказывать именно меня? Раскрутили рулетку где-то наверху... Фишка — на красном, а выпало чёрное... В результате банкрот»...

Казалось бы, судьба послала Вике так много испытаний, что она должна уже вот-вот заслужить свое счастье. Однако Таланова ломает устоявшиеся каноны «женского романа»: она не собирается оправдывать надежды читателя на благополучную развязку истории своей героини, страница за страницей повышая градус накала в изображении ее жизненных проблем. Последняя, четвертая часть «Светлячков на ветру», названа «Жизнь прошла так быстро и нелепо». И как дурной знак уже в самом ее начале появляется все та же лестница со сломанными ступеньками-перекладами! Она опять тревожит сны героини романа, предвещая новую беду: Вика узнает, что у нее рак груди.

Осознав после постановки диагноза, что для нее начался «марафонский бег к гробу», Вика невольно возвращается мыслями в свое детство. Она вспомнила о том, как в 10-летнем возрасте умер от рака крови ее детский приятель Никита, с которым Вика познакомилась в больнице. Любовь юной героини к этому сильному духом мальчику описана на фоне жутких мучений детей-старичков, «не жильцов», к смертям которых уже давно привыкли врачи. Большой вставной эпизод о детской больнице сам по себе представляет как бы отдельную повесть об обреченных детях. Эта ретроспекция приоткрыла в романе дверь в еще одну страшную комнату нашей жизни – комнату детских страданий, из которой, как из лабиринта, нет выхода...

А дальше был уход за заболевшей старенькой мамой, которая постоянно требовала к себе внимания. Бессонные ночи и предельное эмоциональное напряжение привели Вику к физическому и нервному истощению: она иногда начинала проваливаться в небытие, порождавшее кошмарные галлюцинации. И вот уже пришел тот день, когда еще один ее родной человек покинул этот мир... Сколько же дорогих и близких людей потеряла Вика за свою еще не слишком долгую жизнь! Чего она познала больше: любви или смерти? И стоит ли ей сейчас «пытаться выплыть из затягивающего вниз водоворота»?

Но сотни светлячков, выпущенных на волю из банки, полыхали искрами фейерверка. «Огненные бабочки пронизывали ночную тьму, кружились над городом, словно заблудшие души, вспыхивали, как свет в душе от наших близких, что канули в вечную темноту... Перед ней проплыло видение сына, затем мамы, потом папы, дальше летели ба-

бушка и дедушка, и ещё много-много близких людей и просто хороших знакомых, которые постепенно исчезали из её жизни. С каждым годом таких людей становилось всё больше и больше, и от этого она всё чаще ощущала своё сиротство. Она хотела бы быть с ними, но в то же время она желала остаться здесь, на Земле, не в райском саду, а в саду запущенном, заброшенном, заросшем чертополохом и крапивой».

Завершающий философский аккорд в романе делает его финал открытым. Он заставляет читателя, перевернувшего последнюю страницу книги, еще долго думать: о любви и измене, об отчуждении близких людей и одиночестве, о предательстве и смерти, о нашем предназначении в жизни и, конечно же, о памяти, которая сохраняет в наших душах спасительный свет.

Художественная структура «Светлячков на ветру» настолько насыщена и многолика, что об этой стороне романа литературоведы могут рассуждать бесконечно долго. Связующим звеном в произведении является образ Вики. И хотя во второй части романа акценты, пожалуй, даже немного больше расставлены на Глебе, а в третьей – на Тимуре, все равно их жизненные истории не могут восприниматься во всей их глубине отдельно от Вики, ведь ей отведена роль рефлексирующего героя. Именно образ Вики формирует философский стержень «Светлячков». И даже, несмотря на то, что повествование в произведении ведется от третьего лица, читателя не покидает ощущение, что главная героиня и автор романа настолько близки и по жизненной позиции, и эмоционально, что порой бывает сложно расчлнить текст на структурные части, чтобы определить, чем является конкретный отрывок – внутренним монологом героини или лирическим отступлением автора.

Элементов рефлексии не лишены также образы Глеба и Тимура, однако моменты их самоанализа включены лишь в отдельные эпизоды романа. Так, для Тимура – это, в основном, его дневник, а для Глеба – тот период жизни, когда после трагически закончившегося адюльтера он долгое время лежал в гипсовом корсете и целыми днями «перебирал, точно гречку, свою жизнь».

Интересной особенностью структуры романа является также то, что образы Глеба и Вики связаны между собой принципом зеркальных отражений. Симметрия событий жизни главных героев предельно очевидна. Изменив Вике с Марой, Глеб получает в ответ измену Вики с Сергеем. Мару «совершенно не интересовали ни Вика, ни его сын», а сам Глеб «служил этакой приправой к её жизни, вносящей в неё свой экзотический вкус». Точно так же и Сергею была полностью безразлична семейная жизнь Вики: «Он ни разу не поинтересовался тем, как она живёт и чем дышит»; «Попыталась что-то рассказать о своей жизни, но поняла, что это ему неинтересно и непонятно...» И тем не менее физическое влечение слепо тянуло Глеба к Маре, а Вику – к Сергею.

Первое притяжение к партнерам и Глеб, и Вика почувствовали почти одинаково – после прикосновения мужчины к руке женщины: Глеб «накрыл руку Мары, точно бабочку сачком. Провёл своими пальцами, похожими на наждачную бумагу, по её кисти, чувствуя, как бабочка затрепетала под сачком, осыпая шёлковую пылью на пальцы»; «Сергей будто бы услышал её мысли. Положил тяжёлую горячую ладонь на её левую ладошку, безвольно лежащую на столе уснувшим зверьком...» Глебу связь с Марой казалась каким-то наваждением: «Всё произошло

просто, банально и пошло». В унисон ему и Вика признается: «Власть тела оказалась сильнее рассудка».

Кроме того, находясь рядом с партнерами в тяжелые для них дни, и Вика, и Глеб прошли через любовь-жалость: сначала она – ухаживая за прикованным к постели мужем, а затем он – узнав, что у его жены обнаружили рак груди.

Но основная внутренняя связь между главными героями романа прослеживается в том, что судьба их обоих – это путь к несбывшемуся, разочарование от того, что юношеским мечтам и надеждам не суждено осуществиться: и Вика, и Глеб пытаются постичь глубинный смысл жизни, но оба в ней разочаровываются. Впрочем, в «Светлячках на ветру» у каждого из героев – своя Голгофа, на которую он смиренно несет готованный именно ему крест.

В своей третьей книге прозы Галина Таланова доводит до совершенства мастерство создания эпизода. Неимоверной экспрессией она наполняет любовные сцены: Глеб – Мара (гл. 44), Вика – Сергей (гл. 54). Блестяще с художественной точки зрения выписан эпизод ссоры Вики с Глебом на даче и не менее талантливо – последовавший за нею момент примирения (гл. 34). А отдельные фрагменты романа просто поражают глубинным психологическим анализом: например, эпизод общения Вики с сыном (гл. 38), минуты ожидания ею свидания с Сергеем (гл. 56), описание состояния Тимура, находящегося под гипнотическим влиянием слов, услышанных из уст любимой девушки: «Нам лучше расстаться. У нас нет будущего. И я люблю твоего друга» (гл. 66).

Характерная для Галины Талановой «плотность» письма, которая достигается за счет обилия метафор и сравнений, позволяет ей создавать насыщенные пейзажные зарисовки, представляющие все времена года. Пейзажи в романе многочисленны и разнообразны: эмоциональные и психологические, статичные и движущиеся, лесные, морские, городские... На многих из них лежит печать философичности: «Из-под сошедшего снега показались обрывки мусора: цветные полиэтиленовые мешки, украсившие землю неприглядными заплатками, изумрудные и коричневые бутылки, пускающие солнечные зайчики; металлические баночки из-под пива, блестящие ёлочными игрушками; веселенькие пластиковые коробочки и размокшая, похожая на грязный снег бумага. Подумала, что вот так и в жизни: под чистым снегом прячется всякий сор, который либо собирают, либо он зарастает травой и становится опять невидимым».

В еще большем изобилии в «Светлячках на ветру» представлены портретные характеристики. Но даже в содержащихся в романе развернутых описаниях внешности героев Галина Таланова непременно делает акцент на какой-то главной черте, с которой потом у читателя будет ассоциироваться конкретная личность. Так, «визитной карточкой» Мары становятся «оголившиеся ляжки и рвущаяся наружу, будто подошедшее тесто, тяжелая грудь», Злата ассоциируется «с роскошными длинными золотистыми волосами», Сергей «походил на господина из прошлого века», в общении с Тимуром Вика то и дело «натякалась на чёрные расширившиеся зрачки, словно у наевшегося белладонны», а Владимира неизменно сопровождал «вкус забродившего винограда»...

Ассоциативные фантазии Галины Талановой, формирующие художественную ткань романа, поистине безграничны: в висевшей в воздухе измороси городские огни «расплывались, будто пятна на промокашке»;

серые мешки под глазами Вики были похожи «на вздувшуюся штукатурку на грязной побелке потолка»; осунувшееся лицо мамы напоминало «мятую простыню в вагоне поезда дальнего следования»; отражавшиеся в воде кучевые облака представлялись Тимуру «стаей экзотических страусов, разгуливающих по воде»; горящий тусклым светом глаз фонаря «казался затянутым жёлтой конъюнктивитной плёнкой»; «сирень издали казалась маленьким щенком пуделя»; а крохотные светлячки напоминают героям романа то «холодные искорки автогена», а то «яркие лимонные светодиодики»...

«Светлячки на ветру» – сложное произведение, сконцентрировавшее в себе множество вопросов, обнажившее десятки острых проблем. Однако мастерства писательницы вполне хватило, чтобы весь глубокий смысл романа донести до читателей, убедить их в том, что, уходя в другой мир, каждый человек должен оставить после себя свет в душах тех, кто продолжает жить.

Владимир ПИМОНОВ

Родился в Донецкой области в 1964 году. Учился в Московском геологоразведочном институте. Работал слесарем на металлургическом заводе, помбуром, буровым мастером, чернорабочим в монастыре, корреспондентом провинциальных газет, менеджером. Издавал литературный журнал «Родомысл» (Донецк–Москва). Сейчас работает в корпоративном издании журналистом. Живет в Сергиевом Посаде.

В ДЫМЧАТЫХ ПОЛУТОНАХ ПЕССИМИЗМА

О книге рассказов Е. Сафроновой «Портвейн меланхоличной художницы» (Екатеринбург: Евдокия, 2017)

Итак, «Портвейн меланхоличной художницы». Название для сборника рассказов, как признается автор Елена Сафронова, было сгенерировано ею из Мировой паутины. Уже одно это признание вызывает желание прикупить португальскую версию знаменитого вина и, устроившись в кресле-качалке у камина, начать неспешное чтение, запивая каждый рассказ мелкими глотками гаррафейры (редкий и сложный тип портвейна) урожая 1977 года.

Но для начала сделаем акцент на словосочетании, которое в названии. Меланхоличная художница. Меланхоличная. Меланхолия.

«В древние времена считали, что меланхолия – это такая темная жидкость, исходящая из человеческого тела, что-то дьявольское, а сами меланхолики – особые, странные люди, которые видят то, чего не видят другие, больше знают и могут предсказывать события, поскольку им доступна суть вещей». Это высказывание датского режиссера Ларса фон Триера. Запомним его, возможно, к нему придется еще вернуться.

Тринадцать текстов – это фактически футбольная команда с двумя запасными. Причем в качестве вратаря я бы выбрал рассказ-воспоминание «Школа как школа». Он существенно отличается от других «полевых игроков». Дело тут не в том, что голкиперу разрешено играть руками, – этот личный, можно сказать, документальный текст в какой-то мере цементирует всю схему книги, объясняет ее, точнее, дает представление о том, откуда, собственно, писательские наклонности у автора. К примеру, прочитав «Школу...», начинаешь понимать, почему в состав сборника включены рассказы «Бла-бла-бла» и «Дурной сон», которые, на первый взгляд, не должны бы присутствовать в сборнике.

Они ведь повествуют о прошлом нашей страны, о ее истории – Великая Отечественная война, сталинские репрессии. При этом вся книга, в общем-то, о современной жизни, о бытовых ее моментах. «Школа как школа» по стилистике и не рассказ вовсе. Это текст писательницы о себе, о том, как она выбрала для себя профессию историка. Таким образом, Елена Сафронова как бы подчеркивает, что именно прошлое для нее является тем источником, который питает ее творчество. Но не будем строить догадки. К тому же у каждого свое восприятие. Может быть, кому-то проза Сафроновой покажется не футболом, а, скажем, фигурным катанием. Причем женским его видом. Почему нет?

Наиболее выгодно, на мой взгляд, в книге смотрятся рассказы, в которых главным героем выступает... как вы думаете, кто? Угадали – женщина. Она самая. Обозреватель информационного агентства Юлия Белостолбова («Ты прекрасна, возлюбленная моя!»), проститутка Даша Пастухова («Бронетанковый аккорд»), молоденькая поэтесса Анна Ларцева («Дебют»), журналистка Женька Мелехова («Милостыня»), прикольная, пишущая стихи Изабелла Соловьева («Портвешок»), влюбленная студентка Анфиса («Гонолулу»), художница-библиотекарь Изабелла («Вольтова дуга») – все они хрупкие, неприспособленные к жизни существа, которые тем не менее пытаются вырваться у судьбы хоть немного жизни. Они как те пресловутые лягушки, взбивающие молоко до консистенции масла; только взбивают не молоко, а российскую нашу действительность.

И все сафроновские женщины достойны лучшей доли, лучших принцев, а главное – любви. Хоть самой капельки. Их нужно носить на руках, смотреть на них с неизменным обожанием и нежностью. Но они – такие талантливые, ответственные, надежные, преданные, готовые на самопожертвование – сами дарят подарки своим возлюбленным, делают предложения слабым безликим мужикам, страдают от одиночества.

«Одиночество, Дима, полное, до конца дней, и когда я умру, я буду лежать в запертой изнутри квартире, пока черви к соседям не поползут!...» – в отчаянии изливает душу своему другу Изабелла из рассказа «Вольтова дуга».

Эти ползущие во все стороны черви – и есть меланхолия. Они проникают в каждый рассказ.

Юлия Белостолбова («Ты прекрасна, возлюбленная моя!») в диалогах с мужем – никчемным мужичонкой, который нигде не работает и сидит на ее шее, – блещет остроумием, сарказмом, ехидцей. Но он совершенно не понимает ерничества в свой адрес. Их разговор напоминает беседу глухого со слепым. И это кажется фантастичным, выдуманным, точнее надуманным.

Таких надуманностей в книге хватает. Есть ощущение, что автор намеренно, искусственно создает ситуацию для главного героя, чтобы у него была возможность развернуться и, что называется, рубануть. Так и получается. К примеру, Юлия придумывает аферу, в результате которой ее нелюбимый муж попадает на скамью подсудимых. А в «Милостыне» Женька Мелехова – «рыжая, заводная... беспричинно веселая, безобидно кокетничающая» – для своего возлюбленного, попавшего в страшное ДТП и лежащего в коме в реанимации, «обналичила весь свой долларовый счет, оставшись без копей на черный день, накупила на складах дефицитнейших лекарств». При этом она осталась без работы, не согласившись с заданием редактора написать колонку об этом дорожном происшествии. Кстати, совершенным деспотом и тупицей

выведен главный редактор газеты, где работает Женька, а коллеги-журналисты – бессердечными, не способными даже на толику сочувствия. Не знаю, заставлять написать статью о близком человеке, – кажется, это из мира фантастики. Впрочем, в нашей реальности таких ситуаций (а то и хлеще) может быть хоть пруд пруди.

Однако о реальности ли идет речь в «Портвейне...»? В той же «Милостыне» автор предлагает две концовки. И какую из них выбрать читателю? А в «Бронетанковом аккорде» целых три концовки! Опять муки выбора. Писатель не заботится о комфорте читателя, он выплескивает себя. Выплескивает без остатка. При этом торопится, допускает какие-то неточности, то в эпиграфе у нее песню «поет» Таня Буланова, хотя приведены слова из песенного репертуара Татьяны Овсиенко («Вольтова дуга»), то напутает с воинскими званиями («Бла-бла-бла»).

Но главное не это. Впечатляет стилистический размах, динамика, шикарный технический диапазон, которым пользуется Елена Сафронова, и ощущение, что ты читаешь нового Борхеса – российскую версию латиноамериканского авангарда. Один рассказ написан в духе киношного сценария, в другом идет неспешное повествование, в третьем упор сделан на диалоги и монологи, четвертый назван анекдотом, еще один – сказкой. Но в каждом из них ощущается меланхолия.

«Сюжетов в жизни, как известно, немерено, и поэтому надо очень захотеть, чтобы не выбрать из них ни одного даже нейтрального, а не то чтобы радостного», – эти слова из «Вольтовой дуги» похожи на творческую установку. Видеть жизнь «в дымчатых полутонах пессимизма» – своеобразное писательское кредо Елены Сафроновой.

Главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в предисловии к книге называет рассказ «Дебют» «визитной сафроновской карточкой, демонстрирующей все особенности ее причудливой гротесковой манеры». На мой взгляд, это не совсем так. Своеобразной визиткой, представляющей книгу, я считаю «Портвешок», который заявлен автором как анекдот перестроечной поры. Действительно, начало в рассказе веселое и задорное, а дальше автор одним махом превращает анекдот в нечто большее. Вот как подается главная героиня Изабелла Соловьева: «Волосы имела цвета “Портвейна № 33”, налитого в чистый граненый стакан, глазки голубенькие, щечки, правда, бледные, зато губки розовенькие и бантиком. Еще имела отца-алконавта, мать-учительницу, бабу с дедом в деревне, бабу в городе, незаконченное высшее образование и талант к написанию сентиментальных стихов»... Яркий рассказ, хотя концовка ожидалась другой – более ударной, анекдотичной, что ли. Но бог с ней с концовкой, понятно, что у сильной вещи, начинаемой легко и непринужденно, которая пишется не где-нибудь, а в провинциальном городке, хеппи-энда не должно быть, в принципе.

Кстати, о провинции. Елена Сафронова, кажется, знает о современной русской глубинке почти все. Описания провинции – на загляденье, точны и удачны. «В летний будний день Похвалыньск являл собой сонное царство. Еще ни один прохожий не встретился девушке – и не обогнал ее. Еще ни одна машина не пропрыгала по остаткам асфальта. Частные домишки, окруженные пустырями (невезучими огородами), и редкие двухэтажные постройки, в героическом прошлом бараки, казались вымершими. Словно вымер весь городишко, и окраина, и центральный типа проспект» («Гонолулу»).

Писательница часто ставит своих героев в неловкое положение: «Встала она не эстетично, подняв сначала заднюю часть тела и лишь

потом голову, страдая от сознания собственной некрасивости в эту минуту, и, оглянувшись по сторонам, увидела только, что троллейбус уже совсем близко» («Дебют»).

Иногда, кажется, что через своих героев автор сражается за правду и справедливость, клеймит в своих произведениях все, что ей чуждо, что она считает неправильным. Она будто ведет битву, при этом цинично подкалывает, издевается, сводит счеты. И все же, присмотревшись, понимаешь, что таким образом она колет себя, свою обнаженную ранимую душу. При этом Елена Сафронова дает понять, что подобная терапия и иглоукалывание не дадут никому спокойствия. Вот как она описывает посещение храма пьяной женщиной: «Когда она выговорила и ощутила некоторое облегчение, купила на последние копейки самую бедную свечку и протянула руку к шандалу, поставить свечу Богородице. Свеча упала. Изабелла подняла ее, зажгла и утвердила в должном ложе, но на душе ее стала немота, страшнее, чем утром. Она истолковала случившееся так, что небо не с ней, и вышла из церкви, не осенив себя прощальным крестом» («Вольтова дуга»).

В заключение вернемся к определению Ларса фон Триера. Вопреки утверждению датского режиссера меланхоличный автор «Портвейна...» предсказаниями не занимается, скорее, он копается в прошлом. Причем Елена Сафронова пытается разобраться не в себе, а в окружающей среде, при этом четко осознавая, что изменить вряд ли что получится.

Евгений ШИШКИН

Родился в 1956 году в Кирове. Окончил Кировский политехнический институт, филологический факультет Горьковского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького.

Руководил студией во Дворце культуры железнодорожников, работал в речном училище, в Бюро пропаганды художественной литературы, в издательстве «Бегемот», главным редактором журнала «Нижний Новгород» (1998–2001), преподавателем в Литературном институте имени М. Горького. В настоящее время – заведующий отделом прозы журнала «Наш современник».

Член Союза писателей РФ. Лауреат премий им. В. Шукшина, им. А. Платонова, им. И. Гончарова и других. В 2016 году был удостоен премии М. Салтыкова-Щедрина за роман «Правда и блаженство» (2012).

Живёт в Москве.

«ВСЁ НЕЧАЯННОЕ СБЫЛОСЬ...»

О сборнике стихотворений Людмилы Калининой (издательство Нижегородского университета, 2017)

В самом хорошем, самом теплом и добром смысле этого слова книга стихов Людмилы Калининой провинциальная.

Провинциальная – значит истинно русская, коренная и корневая...

Родилась Людмила Калинина в Нижегородском крае, в поселке Керженец, и сохранила, сберегла в себе дух и обаяние малой Родины.

Заросшие и оттого милые деревенские тропинки, тишина, таинственная, заповедная, и проникновенное пенье птиц, и ведра на коромысле – нет, не с водою, а с небом...

Полные ведра несуся осеннего неба,
Полные ведра всего, что с годами ушло...
Между деревьями прячется детская небыль,
Перед глазами от первого снега бело...

Удивительная справка дается перед текстом стихотворения «Тополь»: «В 1958 году в Нижегородской области насчитывалось 150 тысяч старообрядцев, позднее статистика не проводилась».

Выходцы из старообрядческих семей особенные. В них нрав, в них твердость и целеустремленность, и вместе с тем целомудренная открытость миру, вера в честность, любовь, верность. Вера в семью, свой дом, своих соплеменников. И конечно, сочувствие в их судьбе.

Тополь высокий, развесистый тополь,
К старому дому давненько притопал.
Входит он пасмурным вечером в дом, –
Вместе большая семья за столом...

Строчки Людмилы Калининой, обращенные к своей малой родине очень милые и очень грустные. Русь уходящая... Да, это была «та Русь»... Но несмотря ни на что она не исчезла, – не исчезла ее духовная составляющая, неизбывная составляющая!

«Двое в разоренном храме»:

Отражаясь в тусклой позолоте,
День осенний пасмурно притих.
В разоренном храме на погосте
Мы стоим пред ликами святых...

Меняются времена, меняются порядки, законы, правители, однако мы безмолвно стоим перед ликами святых. Мы смотрим на них, а они на нас! Мы их о чем-то просим, а они нам безмолвно советуют. И мы верим в них. Разве это отменимо указами, законами, сменами власти?!

Так уж на Руси водилось исстари –
В тишине лесов, в глухих скитах
Вызревали мировые истины
Под покровом вековых дубрав.

...Это ли, скажи, не диво-дивное, –
Только я ступаю в хвойный лес,
Пение молитвенно-былинное
Вдруг нисходит на сердце с небес.

Метафорична строфа поэта! Образ создается неожиданный, тонкий. Словно бы – из крепкого, напоенного ароматами, сытного лесного воздуха, из беззвучных старинных песен, из незабвенного святого детства.

Затеряна в глухой толпе,
Неторопливо, неприметно
Иду,
Верна лесной тропе,
Верна тебе, цветок заветный...

Женская поэзия в основном лирична, трогательна, адресована своему возлюбленному. А какой же она должна быть? И кому должна быть адресована? Людмила Калинина идет верной, женской дорогой в поэзии, именно на этом пути и встречаются истинно талантливые, неожиданные строки.

Тяжелую дверь на засов заперла,
Хотела забыть все, что было.
Метель подошла, под окном замерла,
Спросила тревожно: – Простила?

Загукали ветры в холодной трубе,
Насупилось низкое небо...

Да как же не сладко в дороге тебе,
Да взял ли с собою ты хлеба?

Данное издание особенное. На книжной обложке, на четвертой полосе, где обычно мы видим фото автора и читаем о нем информацию, – авторов двое: сама поэтесса и художник, который оформил, проиллюстрировал ее книгу.

Мастерски, с любовью и душой Юрий Дёмин, муж Людмилы Калининой, подобрал нужные, выразительные тона, сюжеты и краски к ее произведениям. Творческий дуэт получился очень впечатляющим. Читая стихи, просматривая работы художника, ловишь себя на мысли, что все здесь очень органично и все к месту. И теперь уже очень сложно отделить одно от другого. Да и не надобно этого делать! Альянс вышел плодотворным!

И еще об одной теме, которая звучит в творчестве Людмилы Калининой. И кстати, неразрывно связана с творчеством Юрия Демина. Болдино. Пушкинская осень. Дорогие, трогательные для любого русского сердца места.

«Болдинская бессонница»:

Упал закат на половицы,
На стенах – пламени узор...
Царю в угоду поклониться,
Изведав совести укор?

Покой – завидная отрада!
Лишь тень прошедшего не тронь...
Ночь вносит в дом луны лампаду,
Ладонью притенив огонь.

Цикл стихотворений с болдинскими мотивами дает и новую краску произведениям, и всему творчеству поэта. Раздумчивость, неторопливость, ожидание какого-то чуда... И чудо это состоялось! Чудо Болдинской осени, взлета пушкинского дара!

«Карантин. Ожиданье письма», «Яблоки барского сада», «Дорога в Лучинник», «Грезы» – даже названия этих стихов создают некую атмосферу таинства и надежд – и великого поэта, и читателя уже нашей поэтессы.

Остается поздравить творческий дуэт поэта Людмилы Калининой и живописца Юрия Демина с новой книгой, новой страницей, новой главой в их творчестве и жизни.

Поздравить и нас, читателей, с завораживающим изданием.

Вехи памяти

Герман САДУЛАЕВ

Российский писатель, публицист. Родился в 1973 году в селе Шали, Чечено-Ингушская АССР. После окончания школы уехал в Ленинград, где поступил на юридический факультет университета.

Автор ряда книг художественной прозы и публицистики. Сборник «Я – чеченец!» переведен на испанский, немецкий, английский, польский и шведский языки. Рассказы Садулаева включены в антологии современной русской литературы на английском языке, Academia Rossica в Великобритании и Rasskazy в США. Финалист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга».

Живёт в Санкт-Петербурге.

Из книги «Время героев»

Опыты литературной и антропологической интерпретации чеченских средневековых эпических песен (илли)

ЖЕНИТЬБА СЫНА ВДОВЫ*

Князь Монца поднялся на минарет соборной мечети своего общества и произнёс вдохновляющую речь. Он сказал: Родственники! Сейчас я скажу, что мы должны сделать. Чеченские сироты голодают. Многие не имеют хорошей одежды. Нам пора отправиться в тот край, где раздолье для множества всадников. Поскачут две тысячи, разве что двое захотят вернуться. Наш путь лежит в страну врагов за богатой добычей.

Почему Монца назван князем (эла), а не просто военным предводителем мужского молодёжного общества (бяча), неясно. Возможно, так автор подчёркивает социальную дистанцию между ним и положительным героем, сыном вдовы, который появится позже. Судя по всему, Монца – чеченец, а значит, вряд ли он князь в феодальном смысле этого слова, так как наличие своих феодалов для чеченского общества не было характерным; феодальными владельцами были иноплеменные князья, чаще всего кабардинцы. Монца обосновывает необходимость набега перед обществом тем, что нужно накормить сирот и помочь

* Заметка основана на переводе чеченской героической песни (илли) «О Сыне Вдовы и князе Монце» Михаила Синельникова, опубликованном в сборнике «Чеченская народная поэзия в записях XIX–XX веков», составители: И.Б. Мунаев, А.В. Преловский; М., 2005.

нуждающимся; то есть, он вроде бы собирается сделать благое дело. Дальше он описывает страну врагов: это раздольный край. Похоже, что общество Монцы живёт в стеснённых условиях, не имея достаточно земель для пашни и пастбищ, где-то в предгорье или в ущелье, или зажатое владениями феодалов. Поэтому Монца рассказывает про сказочные места, где могут скакать тысячи всадников. И таковы там просторы, что как поскачешь, так не сможешь и не захочешь вернуться; а не так, как у нас, где сразу упрёшься либо в гору, либо в реку, либо в чужой аул. Вероятно, Монца зовёт чеченцев в набег за Терек, в ногайские и кумыкские степи между Терекон и Волгой.

Общество относится к идее Монцы с пониманием и сочувствием. Но никакого народного ополчения не собирается, да Монца этого и не ждёт. В поход выступают его младшие братья и родственники: ограниченная дружина, ватага молодёжи, типичное мужское инициатическое общество. Где-то в пределах дневного перехода дружина останавливается на привал, чтобы дать отдохнуть коням и самим принять пищу, взятую с собой в дорогу. Вдруг среди бела дня на чистом небе появилось облако и зажглось. То ли в нём заблистали молнии, то ли оно как-то особенно озарилось светом солнца, как внутренним сиянием. Монца испугался и решил вернуться, чтобы знакомый мулла истолковал знамение. В таком деле, как набег, многое зависит от удачи, поэтому понятно, что разбойник Монца суеверен и пытается понять послание небес.

Вернувшись в селение, Монца идёт к Усап-мулле, изучившему все науки в мире, прославленному своей мудростью и почитаемому в народе за святость. Монца обращается к мулле без уважения, он угрожает: открой всю правду о знамении, иначе тебе не жить! Мусульманскому священнику не положено гадать и делать предсказания по атмосферным явлениям. Похоже, что под видом мутлы в песне выведен обычный языческий жрец. Или мутлы приняли на себя функции шаманов и предсказателей в полумусульманском, полужыческом чеченском обществе того времени. Выслушав князя, мулла разложил на грузинском ковре свои книги и начал их перечитывать, ища объяснения необычному знаку небес. Всю ночь читал, а наутро позвал к себе князя и сказал:

Пусть тебя минует гнев Делы! Не знаю, как мне поступить лучше: рассказать ли тебе правду и тем причинить боль твоему сердцу, или солгать и лишиться головы? Но попробую быть честным. Это облако было вовсе не облаком, это явился ангел, посланный для исполнения судеб. И судьба в том, что дочь Дады богатого, которой ты очарован с юности, должна соединиться с сыном вдовы. Совершенно нельзя понять, как именно вывел мулла связь между облаком и дочерью Дады. Уж не строил ли он козни, чтобы привести к гибели жестокого и грубого Монцу? Князь ответил: клянусь Делой, что сумею порушить эту связь и разлучу мальчишку с дочерью Дады!

Дела – это чеченское имя бога небес, главного бога в языческом пантеоне чеченцев. Возможно, мулла называет Делой и Аллаха, бога Корана, но это не обязательно. Возможно также и то, что мулла – не совсем мулла, а чеченский шаман. Князь решил, что, пока он ходит в набеги, сын вдовы может жениться на прismoтренной им для себя невесте и надо этому помешать. В ночь он поднимает свою ватагу и приходит во двор вдовы. Он говорит: покажись, вдовий сыночек, теперь я тебе стану вместо матери и обучу тебя, как волк волчонка. Сын вдовы, смелый витязь, стал собираться в дорогу.

Монца на словах приглашает сына вдовы присоединиться к его ватаге, к традиционному обществу молодых мужчин, как своего ученика, с тем, чтобы сын вдовы прошёл мужское посвящение в набеге. Но это только на словах. На самом деле за эвфемизмом ученичества скрывается рабство. Князь по праву силы берёт сына вдовы своим заложником и прислужником, рабом. И мы увидим подтверждение этому далее в тексте. Сын вдовы, не имеющий в тексте собственного имени, – это образ социально незащищённого, бесправного члена общества. По старым чеченским обычаям, если у человека умирает отец, то его берут на воспитание другие мужчины его клана и его вторым именем становится имя его воспитателя. Если человека называют сыном вдовы, это значит не только, что у него умер отец, но что в его роду нет других мужчин, нет покровителей, нет заступников, он одинок и беззащитен в племени, где сила каждого – это сила его рода. Князь может просто прийти и забрать его своим рабом.

Седая мать плачет, провожая единственного сына: сыночек мой, я готова отдать жизнь за тебя! Бойся измены! Коварный Монца ненадёжен. Витязь отвечает: мама, не трать слов понапрасну и не проливай слёзы. Бог Дела всем посылает удачу. И я решился. Будь, что будет! С этими словами сын вдовы седлает коня и отправляется вместе с ватагой Монцы в путешествие. Шайка мчится день и ночь, впереди князь Монца, как матерый волк, который ведёт свою стаю. Наконец они забрели в неведомое место, отдохнули, перекусили и направились в крепость, где правил некий князь Хаси. Кто такой этот Хаси и почему он тоже князь, мы не знаем. Вероятно, он тоже чеченец. У него есть своя крепость. Эта крепость, скорее всего, просто родовая башня. Таким образом, Монца привёл свою ватагу к горам, где стоят фамильные башни чеченских кланов.

Монца обращается к хозяину с речью, в которой раскрывает свои истинные намерения относительно сына вдовы: покажись скорее, мой любимый друг! В твои владения задаром я привёл одинокого пастуха. Этот одинокий пастух и есть сын вдовы. Монца собирается подарить князю Хаси сына вдовы как раба и успокаивает друга, что проблем с этим не будет: сына вдовы можно безнаказанно поработить, так как он одинокий и никто за него не заступится. Выходит, что обещание Монцы принять витязя в свою ватагу и обучить его, как волк волчонка, было обманом.

Пока что всё происходит в пределах чеченских обществ. Хаси и Монца – старые чеченские имена, сохранившиеся в современных фамилиях. Фамилия Хасиевы весьма распространена среди чеченцев, есть также фамилия Мацаевы, это наверняка вариант от Монцаевых. Князь Хаси радушно принимает гостей. Он говорит: спасибо тебе, мой друг! Ты пришёл с одиноким пастухом! Заходи в дом со своими людьми, будем есть сочное мясо и запивать драгоценным напитком.

Монца с дружиной заходит в башню князя Хаси и начинается пир. Они сидят за еловым столом, наполняют мясом желудки и исцеляют печали брагой. Вообще-то употребляют хмельные напитки мусульманам запрещено, но герои песни, очевидно, если и мусульмане, то не очень строгие. Посреди пира Монца обращается к хозяину: о мой старинный друг, скажи мне правду. Голод изнурил чеченских сирот, весь мой народ обессилел без пищи, наши бедные братья плохо одеты и нищи. Неужто мы не найдём у богатых князей табуна коней, чтобы их угнать?

Князь Хаси отвечает: есть в округе один такой табун. Им владеет Чёрный Князь. Наши отцы пытались украсть лошадей, но все погибли, никто не вернулся. Однако пусть нам выпадет удача! Вступим в бой и узнаем, кого прославят как смелого витязя! Когда пир окончился, хозяин устроил гостей на ночлег и сам отправился спать. Через две ночные стражи Монца подходит к каждому из своих братьев и, слегка ударяя рукой, будит их. На рассвете князь Монца тайно покидает башню князя Хаси и уводит свою дружину, оставив раба, сына вдовы, с князем Хаси. Монца испугался опасной битвы, услышав, что сказал Хаси о погибших прежде налётчиках.

Утром князь Хаси, готовый к набегу, заходит к гостям и говорит: пусть утро будет добрым, друг Монца, и пусть с нами будет удача! Но никого нет. Остался только сын вдовы, и он отвечает хозяину: Пусть тебя любит Дела, Хаси. Ты, видно, слишком страшной описал будущую битву, поэтому Монца всех разбудил ещё среди ночи и ушёл, уведя с собой дружину своих братьев. А перед тобою тот, кто служит, тот самый одинокий пастух. Вдовий сын называет себя «тот, кто служит», он уже понял, что Монца привёл его к Хаси как раба и прислужника, однако, намекает, что он не раб, а витязь, который не испугался боя.

Князю Хаси понравились слова сына вдовы, а Монцу как труса он сразу перестал уважать. Поэтому он говорит мальчику: сын вдовы, расскажи мне, что в твоём сердце. Мальчик отвечает: о князь Хаси, да не увидишь ты счастья, да лишишься ты своего бесценного добра, если нынче же ты не возьмёшь меня с собой на битву, которой испугался Монца! Князь Хаси соглашается взять сына вдовы с собой в набег. Они снарядились в бой, как княжичи, собрались, как невесты, увозимые к жениху: взяли в сумки крымский свинец для ружей и чёрный порох. Прибыли и встали на высокой горе.

Хаси говорит юноше: ну-ка, чеченский витязь, возьми мою армянскую подзорную трубу и следи, не подойдет ли войско от врага, а я угоню табун, охраняемый сейчас только дюжиной пастухов, и лошади будут наши! Но сын вдовы просит: я хочу сам угнать табун, ведь ещё в детстве я на сходках мальчишек говорил, что буду героем, дозволю мне осуществить свою мечту! Хаси остался на вершине, а сын вдовы поехал за табуном. Подъехав к пастухам, юноша прибежал к хитрости. Он сказал: мир вам, пастухи! Я раздатчик денег. Ваш князь прислал со мной трёхмесячную плату за вашу работу. Кладите оружие на траву, становитесь в очередь и получайте жалование!

Беспечные и глупые, заплывшие жиром пастухи послушались, сложили оружие и встали в очередь за деньгами. Витязь связал одиннадцать, а двенадцатого послал с вестью к Черному Князю. Пригнав табун к Хаси он сказал: о князь! Табун я угнал, что нам теперь дальше с ним делать? Из пастухов некому будет поведать Чёрному Князю о том, что случилось.

Вдовий сын обманывает своего друга Хаси. Он говорит так, что Хаси должен подумать, будто витязь убил всех пастухов и некому будет позвать ограбленного хозяина в погоню за ворами. Но Хаси то ли не верит сыну вдовы, то ли понимает, что хозяин коней всё равно признает о грабеже. И говорит: Чёрный Князь завоюет и затопчет так, словно он собрался разрушить мир и напугать самого Делу, а потом ринется в погоню за нами. Уводи табун, а я останусь, чтобы принять бой.

Сын вдовы опять просит князя Хаси, чтобы тот сам угнал табун подалеже, а его оставил прикрывать отступление. Хаси соглашается. Сын вдовы дождался погони. Чёрный Князь приветствовал его и спросил:

будем биться конными или спешимся и сойдёмся насмерть на земле? Витязь ответил: давай не будем умножать свои грехи и губить безгрешных коней, лучше сразимся на земле!

Они спешили и стали биться. Но юноша, который весь день не ел и не пил, пошатнулся. Его же конь, увидев, что витязь клонится к земле, вступил в схватку, стал рвать Черного Князя зубами и топтать копытами. И так убил хозяина табуна. Это было не очень честно со стороны сына вдовы. Ведь он сам предложил, чтобы кони не принимали участия в сражении. Однако его конь вступил в дело и решил исход в его пользу, а Чёрный Князь был пешим и не мог противостоять бешеному животному. Но поскольку симпатии автора и слушателя должны быть на стороне сына вдовы, то эта невольная уловка ему прощается. Сын вдовы поднялся и отрубил голову у мёртвого Чёрного Князя.

Чёрный Князь – персонаж мифический и условный. Точно определить его этническую принадлежность нам не удастся. Мы можем подумать, что он не чеченец, а скотовод из тюркских степных племён. Но если шайка ехала на север, где степи, то как она оказалась на юге, где горы и башни? И ещё Чёрный Князь разговаривает с сыном вдовы на одном языке. И его пастухи ничего не заподозрили, поняли сына вдовы и не увидели в нём иноплеменика. Впрочем, в героических песнях на такие мелочи, как язык общения персонажей, почти никогда не обращается внимания.

Князь Хаси, отогнав табун в безопасное место, спешит на помощь сыну вдовы, повторяя: если ты устоял, то стой и дальше, если выжил – не умирай, если не боялся, то не пугайся и теперь, держись, подмога близко, я лечу к тебе, как сокол, который вьёт гнездо в тучах! Сын вдовы слышит князя и отвечает: я выжил, я не струсил! Ты лети, как сокол из тучи, внизу ты найдёшь меня, своего соколёнка!

Князь Хаси, видя поверженного и обезглавленного Чёрного Князя, удивляется: расскажи мне, вдовий сын, как ты смог совершить то, что не удавалось многим сильным витязям! Сын вдовы честно отвечает: пусть я умру, пусть я навек лишусь твоей милости, мой любимый друг, если скажу, что я и впрямь смог одолеть такого врага своей силою! Он признаётся, что Чёрного Князя убил верный конь.

Налётчики решают поделить добычу на три доли: по одной для Хаси, сына вдовы и коня сына вдовы, раз уж конь принял такое важное участие в битве. Сын вдовы опять невольно перехитрил своего друга, получив в своё владение фактически две трети добычи. Однако они договариваются, что та треть, которая досталась коню, будет роздана сиротам. Хаси отпускает сына вдовы домой, объявляет его своим побратимом и предостерегает его, чтобы впредь он не ходил в набеги с ненадёжным и трусливым Монцой.

Когда взошло солнце и в мире распространился яркий свет, в селение вошёл сын вдовы вместе со своим табуном. Он призвал сырых и убогих получить от него дары. Этот голос узнал злой Монца. Он вновь собрал ватагу своих братьев и заявился во двор вдовы. И снова князь Монца говорит: сын вдовы, просыпайся! Я стану тебе заботливей матери и обучу, как волк волчонка! Мать плачет, а сын вдовы опять собирается в дальнюю дорогу, не смея перечить князю и нарушая указание своего побратима, князя Хаси.

После долгого пути они прибывают к холму, и Монца говорит юноше: возьми подзорную трубу, взойди на этот холм и огляди с высоты земные дали. Витязь отвечает: Монца, побойся гнева Делы! Все знают,

что этот холм зовётся Зыбким, зачем же ты посылаешь меня на вершину? Монца говорит: вдовый сын, или ты испугался? Я думал, что ты храбрый, что ты не содрогнёшься, даже если небо упадёт на землю и если земля уйдёт из-под ног! А ты боишься подняться на какой-то пригорок, о котором судачат старые женщины? Будь мужчиной, бери трубу и поднимайся!

Сыну вдовы пришлось подняться на Зыбкий холм. Он стал настраивать подозрную трубу, но не успел взглянуться, как вершина треснула, и юноша провалился в глубины холма, как в пропасть.

За сюжетом об исчезновении под землёй могут стоять реальные воспоминания горцев. В горах есть ущелья, иногда случаются землетрясения, а порой под землёй образуются пустоты, в которые проваливаются люди, скот, целые дома и поселения. Это также очень древний мифический образ. Под землю, в камень уходят нарты, сказочные богатыри.

Монца взял берёзовую жердь и попытался поймать верного коня сына вдовы. Но конь сбежал и вернулся во двор вдовы, где встал в своё стойло и заржал. Увидев, что конь вернулся без седока, вдова всё поняла. Она берёт берёзовый веник и гонит коня со двора, говоря: знала я, что всё так будет! Монца совершил злодеяние. Чтоб ты сгинул, бурый конь! Уходи, будь желанным для таких, как мой сын, и проклятем для его врагов! Конь умчался и стал одиноко скитаться по горам и долинам. Какая-то связь есть между берёзой и чудесным конём, но нам она неизвестна. Возможно, существовал ритуал срезания веток берёзы и очищения ими коня перед принесением его в жертву; а затем и просто для «освящения» коня.

Однажды, когда князь Хаси охотился с чёрными борзыми, он встретил коня сына вдовы. Конь тоже признал князя, заржал и застучал копытом. Хаси подумал: где же твой хозяин, конь? Неужели совершенно злодеяние? И сказал коню: веди меня к своему наезднику! Остановись там, где он остался!

Бурый конь повёл угрюмого князя к холму. Князь сказал: о презренный мир! Ещё наши предки называли этот холм Зыбким, ненадёжным. Видно, мой друг в него провалился. Хаси сошёл с коня и приложил ухо к земле. Он услышал, как сын вдовы причитает: о Дела, пошли мне скорую смерть! Князь и конь стали вместе рыть холм. Им удалось выкопать юношу. Князь, разгневанный малодушием своего друга, говорит: эх ты! Я думал, что ты не содрогнёшься, даже если небо упадёт на землю! Почему же ты жалобно плачешь, как девчонка и зовёшь смерть? Вдовый сын ответил, что он был уже при смерти, потому и позволил себе попросить Делу о скорой кончине.

Странно, но дальше мы ни в одной строчке не встречаем нашего чудесного бурого коня, который трижды спасал своего хозяина: он убил Чёрного Князя, он привёл князя Хаси к холму, и он помог выкопать сына вдовы. После этого о нём ни слова. Похоже, что конь был всё-таки заклан. Тогда перед нами вариант известного мифического сюжета о принесении в жертву коня, который перед этим совершил ритуальное странствие по земле.

Князь Хаси и витязь вместе отправились домой к сыну вдовы. Мать была счастлива их увидеть. Всю ночь друзья пировали. Но наутро, когда блеснуло солнце золотое, их ждала плохая весть. У мечети раздавался клич: сегодня князь Монца женится на дочери Дады! Приходите все на свадьбу. А кто не придёт, тот пусть уходит из наших краёв за зелёный Идал.

Идалом чеченцы называли Волгу. Эта река была им хорошо известна; вероятно, в своих набегах, торговых и прочих путешествиях они до неё доходили. Некоторые чеченские историки утверждают, что в какие-то далёкие времена земли древней Чечни доходили до нижнего течения Волги; что именно эти авторы имеют в виду, какой период истории и какую древнюю Чечню, понять сложно. Скорее всего, это фантомные воспоминания о жизни в Хазарском каганате; а, может, и нет. В данном илли Волга предстаёт как край мира, за которым заканчивается Ойкумена. Князь Монца недвусмысленно угрожает сельчанам, что те, кто не придут поздравить его с женитьбой, будут изгнаны не только из села, но и вообще с родины, далеко, на край света.

Князь Хаси забежал в дом и разбудил сына вдовы словами: друг мой, вставай! Злой Монца нынче берёт в жёны дочь Дады и предлагает нам уйти за Идал, если мы не придём на его свадьбу! Юноша опечалился. Князь Хаси понял, что дочь Дады была невестой сына вдовы. Последний сказал: Пусть бог Дела не будет добр ко мне, пусть ты со мной поссоришься, если я сейчас говорю неправду – в подлунном мире нет никого, кто был бы мне любимей, чем дочь Дады, и никого нет любимей, чем я, у неё.

Князь Хаси сказал: клянусь тебе, мой дорогой друг, что сегодня же я перенесу белую свадьбу со двора коварного Монцы в твой двор, а чёрный траур твоего двора перенесу во двор Монцы; я поменяю траур на праздник, или не видеть мне мира! И сразу отправляется на торжество. Там он ссылается на народные обычаи, говоря: дайте мне погарцевать на коне в честь праздника! А теперь позвольте мне станцевать с красивой девушкой, как у нас принято! А теперь, после такого веселья, мне нужно увидеть невесту – такой уж обычай у нашего народа!

Невеста сидит за белой занавеской. Отодвинув ткань Хаси видит, что девушка плачет, и когда у неё заканчиваются слёзы, то из глаз у неё течёт кровь. Хаси спрашивает её: а ну-ка, если не хочешь прогневить Делу, говори правду, почему ты плачешь? Девушка отвечает, что князь Монца выкрал её насильно, а любит она другого, любит она сына вдовы. Тогда, не медля ни минуты, князь Хаси хватает девушку и усаживает на коня за собой. И оглашает свадьбу холодным криком: позовите ко мне жениха!

Монце пришлось выйти к князю Хаси. Хаси сказал: умри, трусливый Монца! Трусом зовут тебя чеченцы! И ненадёжным другом! Ведь ты упрятал в Зыбком холме юношу, славнейшего витязя, чтобы забрать себе его невесту! Ты справляешь белую свадьбу, предаёшься сладкому веселью, но пришло время платить по счетам, злодей!

С этими словами князь Хаси клинком срубил голову князя Монцы с плеч. Подавленный и униженный Монца не смог оказать сопротивления, и никто из шайки не встал на его защиту, потому что убийство Монцы было обосновано двумя причинами: его трусостью (ни для кого не было секретом, что он испугался вступить в схватку с Чёрным Князем, которого потом одолел сын вдовы, сделавший щедрые подарки односельчанам из украденного табуна) и его вероломством (он загнал юношу на Зыбкий холм, избавился от него хитростью). Таким образом, князь Монца уже потерял свой авторитет, и дело было только за храбрцом, который его прикончит.

Однако таким храбрцом почему-то не мог стать сам сын вдовы. Видимо, это было ему «не по чину». Он был без роду без племени, полураб, если бы он попытался убить князя, то сельчане восприняли бы это как бунт низкороджденного против установленной иерархии. А Хаси

и сам был князь, за ним стоял его клан и его шайка, он имел право сразиться с Монцей как с ровней и уничтожить его. Вероятно, после этой короткой схватки сельчане перешли под протекторат Хаси. Никаких указаний на то, что новым князем мог стать сын вдовы, в илли нет.

Хаси, распорядившись в селе Монцы уже как в своём собственном, приказывает сельчанам: все, кто старше тридцати, оставайтесь здесь. Пропливайте слёзы и проведите тезят, траурную церемонию по вашему мёртвому князю. А кто моложе тридцати, собирайтесь и идите на свадьбу во двор сына вдовы. Сельчане повинуются Хаси как новому вожаку. Старый вожак несмотря ни на что должен получить княжеские почести. Но молодые могут веселиться на свадьбе. Таков смысл приказа.

Во дворе вдовы устроили пир. Князь Хаси привёз невесту и повесил для неё ритуальную белую занавеску. Эта белая занавеска – то же самое, что фата невесты у многих народов Евразии, символ непорочности. У чеченцев не просто лицо невесты завешивалось белой тканью, но сама она усаживалась в укромное место за занавеской. Князь Хаси вручил невесте дорогие подарки. Погулял на свадьбе семь дней. И отправился домой, как говорит илли, оставив друзьям наставления. То есть, он фактически вступил во владение селом.

Так заканчивается илли в этой версии. Есть другое илли, построенное на том же самом сюжете. В нём мы снова встречаем сына вдовы и дочь Дады (и опять они не имеют собственных имён). Однако вместо князя Хаси и одновременно Чёрного Князя появляется князь Мусост. Сын вдовы хочет угнать у него табун, но потом они становятся друзьями и вместе грабят царскую казну. Дальше история делает неожиданный поворот. Князю Мусосту нравится дочь Дады, он не знает, что она невеста сына вдовы, и сын вдовы как настоящий друг жертвует свою любимую князю. Но невеста признаётся, что любит юношу. Благородный князь возвращает невесту другу, и все пируют. Эта версия, очевидно, более поздняя, чем история князей Монца и Хаси, и по деталям, и по дидактичности. Чем старше эпос, тем меньше в нём нравоучений, тем больше странных и тёмных мест, мифов, отголосков жестокой иерархии и атмосферы рока, тяготеющей над людьми.

Надо понимать, что сын вдовы не зря попал в подземелье, провалился в Зыбкий холм, то есть сошёл на время в преисподнюю, где страдал, как страдают мёртвые души. Он был наказан богами, небом и всемогущим роком за свои проступки. Во-первых, будучи безродным, он был горд, бахвалился в своём селе, тягался с князьями и самолично убил Чёрного Князя, чего делать он не имел естественных прав. Во-вторых, он обманывал своего друга и покровителя князя Хаси, и не единожды: в частности, скрыл от него, что отправил пастуха к Чёрному Князю с вызовом на бой, так как сам хотел стяжать славу победителя, хотя он не имел права ни вызывать Чёрного Князя, ни биться с ним, он должен был только помочь князю Хаси. В-третьих, Чёрный Князь был убит нечестно, с помощью чудесного коня (коня потом тоже принесли в жертву для искупления бесчестия). В-четвёртых, сын вдовы ослушался князя Хаси и поехал с Монцей во второй раз; он должен был отказаться и честно сказать, что теперь он вассал не Монцы, а Хаси, и не подчиняется Монце, а если Монца не согласен, то пусть обратится к новому господину сына вдовы и решит этот вопрос с ним. В-пятых, он и в холме проявлял малодушие, моля Делу о смерти.

Несмотря на оплошности сына вдовы, благородный князь Хаси был к нему милостив. Юноша очистился от грехов, пострадав в подземном

мире. Хаси вызволил друга и исполнил его мечты. Заодно был убит ненадёжный вожак Монца, а селение перешло под защиту Хаси.

В советской литературе было принято считать, что легенды о сыне вдовы имеют антифеодалную направленность и проникнуты сочувствием к простым, обездоленным людям. Мы видим, что это и так, и не так. Сочувствие, конечно, есть. А вот антифеодалная направленность едва ли видна. Плохой князь заменяется хорошим князем, а не самоуправлением и не выходцем из низов. И здесь, и во многих других илли и сказках жестокая иерархичность горского общества прикрывается недоумками и эвфемизмами. Рабство, зависимость, заложничество, владение, покорение называются «дружбой», «гостеприимством», «ученичеством», «побратимством» и так далее. Наверное, так народу было легче переживать своё угнетённое состояние. И это нельзя назвать чем-то уникальным. В городах Европы времён раннего средневековья за фальшивой формулой «мастер – ученик» скрывались реальные отношения, построенные по модели «хозяин – слуга», или даже «хозяин – раб». Исследователи раскрыли это, указав, что такой «ученик» никогда не «выучивался» и не становился сам мастером; и он, и его дети, до старости и смерти оставались «учениками», «подмастерьями», то есть слугами и рабами. Раннее средневековье и в Европе, и на Кавказе скрывало за традиционной «семейной», племенной, первобытной формой отношений «старший – младший», «учитель – ученик» совсем иной институт, институт классового общества, социального и экономического господства, эксплуатации. И горские народы не были каким-то чудесным исключением, как может показаться при неглубоком знании материала.

Илли о сыне вдовы и злом князе Монце считается самым древним текстом чеченского фольклора, дошедшим до нас. Однако точная датировка, конечно же, невозможна. Илли было записано в 1977 году на магнитофонную ленту. Однако тот же самый сказитель, Ахмед Тимуркаев, в 1984 году записал другую версию, длиннее на 155 строк. Досочинил ли он древнюю песню сам за эти 7 лет или вспомнил, что забыл при первой записи? Другой сказитель, Сайд-Ахмед Шидаев в 1975 году дал другой вариант илли. А была ещё песня, записанная в 1963 году от сказителя Магомеда Гакашаева, к тому времени 60-летнего, но рукопись погибла в начале 1995 года в Грозном. Поэтому то, что мы обсуждаем сейчас, может быть датировано только 1977 годом; это реальная датировка.

Однако по материальным атрибутам, таким, как кремневое оружие, можно сделать вывод, что илли было составлено где-то около XVI–XVII веков. И это не крайняя дата. В это время, скорее всего, было переложено на новый лад древнее сказание, которое уплывает в недосыгаемую даль времён. Фольклор часто занимается перелицовкой, «римейками». Шамана заменили на муллу, но функции шамана, необходимые по сюжету, остались. Видны следы очень старых «языческих» верований. Доисторическое «схождение под землю». А ещё невероятной древностью веет от легенды про «кражу табуна лошадей». Легенде можно давать различные мифологические интерпретации, и в «натуралистическом» ключе (возвращение лучей солнца, например), и в иных. И, хотя свое повторение и подтверждение история могла получать в режиме реального времени постоянно, вплоть до XX века, когда горцы продолжали угонять друг у друга и у казаков коней, истоки сюжета находятся в очень глубокой древности.

В период от 8 до 4 тысяч лет назад племена людей одомашнили лошадей. Это был постепенный процесс. Вероятно, сначала люди просто

контролировали передвижения диких табунов, приручая отдельные особи (лучше всего, если удастся приручить главную кобылу), крали жеребят, выхаживали больных и раненых, как обычно, и в то же самое время пользовались табуном как источником мяса, а потом и молока (оказалось, что кобылье молоко прекрасно подходит человеческим младенцам). Процесс был не только медленным, но и двусторонним: люди выводили нужную породу лошадей, а лошади выводили породу людей, которые совместимы с лошадьми. Не обошлось и без накладок: так называемая «простуда», которой болеют все (или почти все) люди – это лошадиный вирус, который мутировал и приспособился к жизни в людях после того, как люди долго жили с лошадьми одним табуном, одним племенем. В те далёкие времена табуны лошадей были первым и единственным богатством человеческих обществ. Естественно, что все войны велись за лошадей (ну и за женщин, конечно), и главным занятием молодых мужчин было угонять друг у друга табуны.

Мечта об уgone огромного табуна в устах чеченского сказителя не только XX, но и XVI веков была именно что мечтой, фантазией, преувеличением и анахронизмом, несмотря на современные ему микромасштабные реализации. Несомненно, что какие-то далёкие предки чеченцев, вместе с далёкими предками других людей, на каких-то широких равнинах пасли и гоняли туда-сюда стада лошадей. Но, сколько нам хватает исторической памяти и на какую даль мы можем посмотреть в нашу историческую подзорную трубу, встав на зыбкий холм предположений, чеченцы жили в горах и в довольно тесных предгорьях. И даже до того, они были, вероятно, земледельцами и горожанами, но не степняками и скотоводами. В обозримое нами историческое время украсть табун за Тереком было можно. Только что ты потом с ним будешь делать? Куда ты его угонишь? Где ты его спрячешь? Где ты его будешь пасти? Никакой свободной земли не было. Земля была занята селениями, пахотой, пастбищами обществ, да ещё и контролировалась феодалами. Лихие разбойники должны были, скорее всего, либо быстро распределить лошадей, либо перепродать табун, угнанный у одних степняков другим степнякам. Жизнь была тяжела и опасна. И песни скрашивали её давно несбыточной мечтой-воспоминанием о древних временах, широких безлюдных равнинах, свободных от феодалов, государств и соседей, и несчётных табунах коней, которых можно гнать и день, и два, и неделю, и никогда не возвращаться обратно.

Следует ещё учесть, что набегами и конокрадством традиционно занималось ограниченное число молодых мужчин, «инициатическое мужское сообщество». После тридцати (мы знаем, со слов князя Хаси, что те, кто старше тридцати, – старые; их удел стоять на тезяте, траурной церемонии, пока молодые веселятся на свадьбе), горский мужчина отходил от удалства и молодечества, пахал землю, ухаживал за скотом, строил, ковал железо, торговал и занимался прочими скучными работами, вечерами за чашкой утешающего напитка вспоминая подвиги юности, если было что вспомнить. Но об этом есть другое илли.

Юрий ПОКРОВСКИЙ

Родился 10 февраля 1954 года в Вене, Австрия, в том же году был привезен в Нижний Новгород. Получил экономическое образование. Автор цикла эссе «Русское», теодицеи «Миромир», романа «Среди людей» (шорт-лист «Русского Букера – 2015»). Живёт в Нижнем Новгороде.

У НАС В КАНАВИНЕ

(Цикл этюдов)

Привязанности суетно кочуют в этом изменчивом мире, слабеют от груза досадных ошибок, оттеняющих и делающих еще более примечательной, памятной ту минуту, когда две руки, тонкие, как ниточки, пробили заслоны стеснительности, срослись, в подражающем взрослому пожатии, образовали крепкий узелок, связавший воедино два юных существа. Было лето, самое начало его, жаркого и пыльного в городе, пропахшего выхлопными газами. Начинался дождь, и редкие, полновесные капли шлепались на серый асфальт, превращались в черные кружочки, которые повсеместно множились, соприкасались между собой, отчего асфальт быстро стал рябым, а затем сплошь черным, подобострастно подчиняясь хмурой окраске грозового неба. Разительно выделялись на тротуаре сухие местечки самых причудливых очертаний – светлые тени, отбрасываемые тополями, ясенями и липами. Стремительно нарастала густота дождевых нитей и дома, деревья, дорога, автомобили на ней потеряли целостность своих форм и постепенно скрывались за пологом разошедшегося ливня. Улица пропала, как капризное сновидение или утонула в хлынувших сверху водах. А морщинистый, в частых наростах и утолщениях ствол ясеня, надежный, неподвижный среди всеобщей текучести и стираемости, казался осью мироздания, в котором остались только два слабых человечка, с непритворным испугом взирающие из-под ажурного навеса на небо, раздираемое желтыми молниями. Зеленолиственный купол над головами заполнялся шуршанием шустрых капель, которые старались пробиться к земле, а сами листья отяжелели от влаги, которая вначале покрыла прозрачной пленкой верхние, а потом нижние ярусы кроны. Капли, образованные из слияния останков своих предшественниц, растекшихся по поверхности этого трепетно вздрагивающего сразу во многих местах зонта, все же соскальзывали вниз, кропили сухую

светлую полянку, неизбежно задевали затылки, руки, сочились по спине и ногам, тревожно щекоча остывающую кожу. А в широко открытых глазах рассветал безудержный восторг от мощи нагрянувшей стихии. Наконец, в складках июньского ливня начали проблескивать знакомые очертания предметов и сквозь шум льющейся воды пробиваться привычные созвучия: по тротуару спешили редкие прохожие, а по дороге медленно катили автомобили, которые выныривали из полупрозрачной завесы, состоящей из мириадов летящих водяных горошин и черточек. Взгляд уже беспрепятственно достигал до близстоящих деревьев, домов с двухскатными крышами и даже доставал до высокой, заброшенной водонапорной башни, сложенной из темно-красного кирпича. В воздухе разливалась ясность. Мир раздался до привычных размеров, ограниченных улицей. Полотно дождя распалось или расплелось на отдельные, редкие струйки, дополняемые тонкими, витыми водопадами, льющимися из когда-то покрашенных труб, увенчанных у карнизов крыш широкими воронками. Эти изогнутые у поверхности тротуара трубы походили на диковинные инструменты духового оркестра, прислоненные к стенам домов неведомыми великанами.

Разомкнувшись в светлеющем небе, неповоротливые тучи образовали прорехи, и на землю, густо усыпанную дрожащими бусинками, обрушился солнечный ливень. И каждый камешек, лист, карниз каждой крыши вспыхнул с невиданной силой: все вокруг было отмыто до золотистого блеска короткой, ворчливой грозой. Дорога очистилась от пыли, воздух — от гари, улица стряхнула с себя бремя зноя, и небо освободилось от туч. Босые ноги с удовольствием погружались в теплые, мутные лужи и раскрывался широкий веер брызг, летящих в сверкающем ореоле. Насыщенный испарениями воздух вибрировал, колебался, обретал осязаемость и необычную искристость. Вся земля покрылась пронзительно яркими бликами, и не было конца ликованию от радуги, зависшей над парком и сцепившей землю с небом. Наступил праздник света — сочащегося, лучащегося, слепящего, льющегося сверху или вонзающегося в тени солнечными зайчиками: света, капающего с ветвей и даже с электрических проводов, нависших над дорогой; света, осыпающего всю улицу неуловимой, благородной пылью с привкусом свежести; света, соскальзывающего с крыльев автомобилей, испещрившего основание водонапорной башни, окруженной, как подростками-пажами, молодыми тополями. Каменный исполин высился над всей округой и только тени от облаков, птиц, да еще худосочных двух кустиков, которым так и не суждено было вырасти в деревья, покрывали его макушку. Эти два растения судорожно вгрызлись в разрушающуюся стену башни на стыке с невидимой крышей. Каждодневно поражало упорство жизни, утвердившейся на рукотворной, отвесной круче, и хотелось дотронуться до них, убедиться в том, что отчаянно смелые прутья, неведомо откуда взявшие силы для своего роста, похожи на тополиную поросль, торчащую из земли. Вознесенные над средой своего обитания прихотью случая, они не погибли, выстояли, наперекор каменной пустыне и теперь всех раньше в округе встречали солнце и всех позже провожали его. Своей удивительной стойкостью они пробуждали дерзкие планы, ничуть не выглядели жалкими, будучи калеками, наоборот, они неизменно восхищали, и были исполнены непередаваемой словами грации их кривые очертания на фоне темнеющего неба, заполняемого звездами.

* * *

Со временем теряют свою привлекательность и становятся безлико-неприметными невзрачные, приземистые дома — составные обычной заштатной улицы, как не удивляют любые поразительные, но давно примелькавшие вещи. Однако любопытным мальчишеским глазам еще не отказано видеть необычное в обыденном, и потому они не могут не обратить внимание на полукирпичные и полудеревянные дома, построенные по неведомому юному уму закону купеческого рационализма. Совершенно нельзя и пройти просто так мимо глухого забора с врезанной в него калиткой, озаглавленной «Осторожно, злая собака», и не ударить по той калитке палкой, дабы воздух содрогнулся от яростного и хриплого лая цепного пса, ненавидящего всех, кроме своего кормильца-хозяина. Долго восхищенно-завистливый взгляд провожает лихого парня, который непринужденно катит на двухколесном велосипеде, прямо восседая на пружинящем седле, и не касается руками изогнутого, как лук, руля. Невозможно не заметить окно, запылавшее от заката, или равнодушно крутиться вокруг толстоногой скамьи, растрескавшиеся столбы которой прихотливо обвиты изумрудными змейками мха. Трудно преодолеть искушение и не поднять с земли пузырек из прочного синего стекла и не убедиться в незаполненности этой странной емкости. А разве можно не потрогать младенческую нежность «анютиных глаз», высаженных на овальной нарядной клумбе, раскинувшейся в центре парка, бывшего когда-то кладбищем? Разве можно не попытаться поймать, поспешно стянутой с себя майкой, бабочку, которая беззаботно качается бледно-желтым лепестком на гнущейся под легковесной ношей травинке? Взгляд не стремится охватить окружающее пространство, выделить какие-то закономерности в столпотворении вещей, но зато он исключительно внимателен к малейшим мелочам, которые обычно ускользают от внимания взрослых, и воспринимает все по-своему, иначе, чем это было задумано, определено и носит соответствующий ярлык-название. Еще отсутствует осторожность, и нет навыка применяться к обстоятельствам: мир преобразуется без всяких усилий, подчиняясь разветвленному течению фантазий. Детские глаза окружают себя верткими мнимостями, которые рассыпаются в прах, теряют свою весомость, притягательность и улечиваются, стоит только показать их взрослым, но сохраняются, долго живут и содержат глубокий смысл, если не выносить их на суд старших. Как пчела неутомимо ныряет в сладкие недра цветка, так и ребенок самозабвенно погружается в каждый распускающийся день, извлекает из него бесценные находки, с воодушевлением обживает одно царство, чтобы завтра оказаться в другом, столь же неповторимом, как и предыдущее.

В узком лабиринте покосившихся, залатанных свежеструганными досками или многослойной фанерой, сараев с утра до вечера бурлит захватывающая игра. Будоражат тишину захламленных глухих закоулков торжествующие крики, мелькают самодельные сабли и мечи, предательски трещат штаны и рубашки, пойманные ржавыми гвоздями, которые спрятались в углублениях деревянных стен. За каждым поворотом может подстергать засада, а за любым выступом — караулить ловушка. Малейшая оплошность и вот уже тяжелая лента воды обрушивается на голову из ведра и все смешивается перед глазами, не способными отличить неба от земли. Но быстро вновь различаешь обломанные, низкие карнизы сарайных крыш, знакомые лица, исцарапанные

боевые щиты и чувствуешь, как чьи-то руки хищно вцепились в плечи, как прогнулась спина от тупого острия пики и сквозь шум стекающей воды отчетливо слышишь приговор: «Ты – в плену!»

Число соратников и противников зависит от дней недели, ясности неба и многих других нежданно-негаданно привходящих причин. В сарайный лабиринт – это своеобразное ристалище – устремляются те, кто хочет подвергнуть себя испытанию на смелость и отвагу и пережить мгновения вымышленной опасности. Вспыхивают стычки на ненадежных крышах, идут погони в запутанных проходах и закоулках, раздаются воинственные кличи: капают на грудь горькие слезы в случае поражения и захлестывает безудержное ликование, когда одержал победу в тяжелой схватке. А затем идет нескончаемый разговор, воссоздающий перипетии очередного сражения, и что-то слегка преувеличиваешь, чуточку искажаешь, о чем-то умалчиваешь, толику прибавляешь от себя, оттеняя моменты, убедительно свидетельствующие о твоей ловкости и смекалке и вскользь упоминая те мгновения, как растерянность или испуг возобладали над выдержкой.

Именно в этом лабиринте впервые сталкиваешься с обманом и с подлостью и начинаешь сознавать важность бескорыстного поручительства друг за друга. Лицо, щиколотки, локти, колени, пальцы покрываются ссадинами, расцветают и увядают синяки от ушибов и порой наливаются густой, вязкой болью бок или плечо, но когда-то обязательно рассасывается и она. Быстро сбрасывает кожа, как ненужную шелуху, корочки болячек и опять тело первозданно чистое не помнит исчезнувшие следы неизбежных уколов и ушибов.

Хочется быть участником всех затей, очевидцем всех происшествий, и улица, предвещающая постепенное расширение пространства знакомой жизни, неудержимо манит к себе, околдовывает магией непрерывно вершащихся перемен, предстает страной, полной несметных сокровищ. А стоит только на час-другой покинуть эту страну, протомиться в стенах своей квартиры, как звонкий голос, пробивая прозрачную преграду оконного стекла, возвещает о новом событии: «Возле старой липы поставили здоровенную урну!»

* * *

Улица ограничена с боков одно и двухэтажными домами, соединенными шатками, валками или глухими, непроницаемыми заборами. Улица ускользает далеко вперед и упирается в сосредоточие массивных зданий, которые выглядят хаотичным нагромождением коричневых скал, застилаемых сизой пеленой. Над этими скалами высятся прямые стволы труб: из них даже в воскресный день упрямо высовываются седые чубы то ли дыма, то ли пара. А за спиной улица плавно уходит вниз, исчезает в сужающейся для глаз тополио-липовой аллее, которая зелеными стенами отделяет дома от дороги. Буйные и темные вдали клубы крон деревьев смыкаются и загораживают собой ворота колхозного рынка – уже изведенного места, ошеломившего своим многолюдьем.

Откуда-то и куда-то едут автомобили: они появляются на черте видимости мелкими букашками, но их размеры быстро увеличиваются, и вот уже до ушей доносится их гул, завораживают глаза их плавные линии и гладкая лакированная поверхность кабин, по которым растеклись солнечные блики. А сзади каждого автомобиля тянется еле приметный хвост взвихренной пыли, пропитанной гарью и бензином. Автомобили

исчезают также стремительно, как и возникают, оставляя после себя тяжелый, резкий запах, и тот призрачным джинном витает возле деревьев, просачивается между ними, заползает на тротуар, проникает в открытые форточки домов – бесплотный и навязчивый. Для шоферов эта улица – всего лишь небольшое расстояние, проехать которое они стараются без задержек.

А наверху суматошно носятся птицы, плывут в разные стороны облака. По тротуару спешат к рынку прохожие с пустыми сумками, кошелками и корзинками, а обратно возвращаются отягощенные разнообразным провиантом. Устье улицы, впадающей в необозримую торговую площадь, ежедневно манит к себе, но более притягателен противоположный ей конец, откуда едут на рынок груженные овощами и фруктами автомобили, и откуда спешат с пустыми кошелками и сумками покупатели. И однажды мягкая волна нового желания сталкивает с обжитых мест и тащит в неизведанное. Кружит метель топоиноного пуха, по земле скользят пятнышки теней от невесомых шариков, красота которых гаснет в лужах, распростершихся возле водопроводных колонок. Ступают ноги по размягченному жарой асфальту, жирно лоснятся вспотевшие листья, обессиленный ветерок запутался в сплетениях ветвей. Тени предельно близко подтянулись к своим хозяевам. С железных крыш стекает зной наступившего полдня. Постепенно укрупняются, выступают из марева прокопченные заводские здания, а взгляд беспомощно блуждает в скопище высоких и низких построек, непонятных металлических сооружений, которые выглядят из-за накренившегося, щелистого забора. Однако дорога не завершается из-за этого неприветливого забора, а круто загибается на другую улицу, незнакомую и чужую, наполненную гулом работающих незримых механизмов. И вдруг глаза заметили в узком проходе между двумя громоздкими зданиями мерцающую глубину. Короткий рывок по каменному ущелью и распахнулось искристое, широкое, скупых голубоватых оттенков поле реки, взлохмаченное неугомонным здесь ветром, напоенным запахами смолы и водорослей. В промежутках между валунами робко тычутся волны, и сердце начинает взволнованно подпевать биению воды о неровный берег. Натруженно пыhtят тупоносые толкачи, оставляя за собой пенные сужающиеся дорожки – точно гурты белоснежных ягнят бежали за своими погонщиками. А далее, на самом фарватере светлел безупречно белый пароход: он плыл величественным айсбергом на фоне крутобокого темно-зеленого вала противоположного берега, в складки и террасы которого каскадами врезались крошечные и большие дома. В непривычном ракурсе виделись набережная и белесый пляж, гигантской рыбиной подкравшийся к аркам моста, далекого и таинственного.

Хотя город домами, складами, цехами напел на реку, стискивал ее бетонно-кирпичными громадами, она все равно оставалась прекрасным гульбищем для вольного ветра. Уже неоднократно рука взрослого приводила по другим улочкам на видневшуюся в новой перспективе набережную и дальше на пляж, соединенный с плавно изогнутым берегом понтонным мостом, но никогда еще не доводилось стоять здесь, на самом краю улицы, вместившей всю прежнюю жизнь. Полы расстегнутой рубашки разлетаются от порывов ветра, и грудь распирает гордость от сделанного открытия – родная улица граничит с самой рекой. И на какое-то мгновение трепещущая за спиной рубашка кажется синими крыльями, которые вот-вот позволят оторваться от земли и взлететь...

Внизу, у изломанной линии кромки воды, сидят на корточках ребята: торчат угловатые локти, выпирают острые лопатки. Мальчишки тоже похожи на птиц. Ни с того ни сего, повинувшись неслышному призыву, они стайкой взмывают с камней в воздух и, описав дугу, вонзаются в ребристую от частых волн поверхность воды: мелькают их розовые пятки, а на следующее мгновение уже на том месте резвятся одни лишь бойкие блики. Проходит несколько медлительных мгновений, прежде чем белобрысые и черноволосые головы прорвут голубое и мягкое покрывало реки. И так играя и ныряя, мальчишки вернутся к облюбованным ими валунам или поплывут к первым бетонным плитам набережной, или юрким косяком устремятся к пляжу, который выглядит более недостижимым, нежели крыша заброшенной водонапорной башни, увенчанная двумя тополиными кустиками. В путанице сумбурных помыслов вспыхивают случайными огоньками желания стать таким же отчаянным сорванцом, также легко взмывать вверх и, легко перекувыркнувшись в воздухе, входить стрелой в воду, почти не поднимая брызг, также ловко и сноровисто скользить по прогретой солнцем поверхности реки над холодным мглистым дном. А ветер высоко, почти вровень с лопатками приподнимает полы рубашки, подхватывает волосы, упруго толкает в грудь, точно вознамерился столкнуть с пятачка земли в набегающую волну. А может куда-то зовет, увлекает за собой и вовсе не тебя, а нечто в тебе покоящееся, дремлющее и пока еще не растревоженное рекой времени – твою крылатую душу, наделенную врожденной способностью летать.

* * *

Нельзя позабыть обнаруженную узкую лазейку, что ведет к несопоставимо более прекрасному миру, нежели маленький дружный двор и пыльная улица. Все восхищает на реке: сумятица запахов, длинные баржи, ведомые кряжистыми буксирами, заросший густым кустарником на своих закругленных окончаниях, песчаный пляж. Если смотреть на него долго и пристально, то вскоре начинает мерещиться, что он медленно плывет, а точнее даже ползет по шероховатой от ряби и бугорков волн, голубой дороге. Но на следующий день и на следующий пляж неизменно оставался на месте, вновь порождая иллюзию соподчинения течению реки.

Справа от этой смотровой площадки высится серая громада элеватора, настоящего богатыря по сравнению со всеми рядом стоящими строениями. Возле него топорщится в одиночестве корявый клен, перекрученный бурями и ураганами – но зато, как красива на том дереве, смахивающем на толстый, безобразный корень, тончайшая, зубчатая кайма листьев, редких на нервных ветвях и преждевременно опадающих. Залетев на реку, они казались следами неведомых, диких птиц, которые только что отдыхали на покатых волнах и затем улетели в другую сказку, волшебным образом оставив среди бесчисленных вспыхивающих и тут же гаснущих огоньков, неразстворимые или нестираемые отпечатки своих перепончатых лапок.

Уже не раз и не два глаза подмечали плещущихся у берега юрких ровесников. Никем не опекаемые и не опутанные взглядами взрослых соглядатаев, беспризорные мальчуганы, растущие как сорняки, весело и беззаботно играли на мелководе. Их радостные вскрики и довольное визжание искушали нарушить строжайшее родительское табу: боязнь

разоблачения в тяжком проступке грызлась с безрассудной отвагой, с жарким желанием ни в чем не отставать от своих сверстников, которые жили вне запретов и ограничений.

И вот босые ступни вздрагивают от ластящейся к ногам прогретой воды, на лице – напускное равнодушие перемежается с предательски проступающей неуверенностью. Волна, поднятая близко проехавшим катером, играючи ударила о колено, осыпав брызгами и живот, и руки... Зажмурив глаза, бросаешься как в бездну в сегодшний вал, идущий следом за первой волной.

А через несколько блаженных минут незатейливых забав и беспрестанных ныряний, когда над головой то смыкается серовато подвижный свод, то распаивается другой, ясный и голубой, устало выбираешься на берег, возбужденный от того, что переступил запретный рубеж. Среди нагромождения камней мелькают лоскутья костра, крохотного солнца в заливчике, придавленном тенью от массивного элеватора. Осторожно покачиваясь на макушках валунов, балансируя руками, подбираешься к огню и садишься в кружок, среди нахохлившихся мальчишек: присутствуешь здесь как равный, уже окрещенный для когда-то предстоящей самостоятельной жизни.

Слишком много открытий, впечатлений, отклонений от послушания старшим несет каждый новый день, и необходим как воздух или как вода, поверенный твоего восхищения, твоих грез и тайн, соучастник проделок, единомышленник, параллельно с тобой шагающий в неведомое.

* * *

Если у мальчишки есть что-то светлое и неизменное, некая точка опоры, обнаруженная не под нажимом непреодолимых обстоятельств и не предопределенная природой родственная связь, а выбранная свободно, по собственному велению и даже вопреки мнениям пестующих его людей, то такое благоприобретение представляет мальчишке редкостную возможность самому производить отбор ценностям, выпадающим в начале жизни. Этот отбор производится не под принуждением страха или из-за внезапно налетающих капризов, а уже согласно тем негласным, но властным требованиям, которые предъявляет дружба. Подобный союз придает юному человечку спасительное чувство уверенности в себе и подспудное понимание своей необходимости в этом дворе, на этой улице, в этом городе, неясные границы которого совпадают с беспредельностью мира.

Мучительно вынужденное затворничество, когда тебя крутит, ошарашивает, бросает из стороны в сторону, распирает изнутри приток новых ощущений, впечатлений и увлечений. Но нельзя оголять душу перед каждым ровесником или знакомым, потому что будешь тщетно искать в чужих глазах понимания и одобрения высказанному или соболезнования от услышанных излияний, и не так истолкованный, превратно воспринятый, стремительно разуверишься в людях и просто ожесточишься. К тому же, когда-то непременно прихлынет грязной волной осуждение в том, что безалаберен, неосмотрителен, болтлив, любишь заниматься самоуничтожением или нуден и пригнет подавленность от наитийной догадки, что Прекрасное было рядом, но прошло мимо, ускользнуло от глаз неузнанным. Твой вопрошающий и доверчивый взгляд, мечущийся по знакомым и малознакомым

лицам, надолго не задержался ни на одном из них. И болезненно вторгнется в сознание мысль о том, что мальчишеский дух, страстно тяготеющий к обогащению и развитию через общение, через понимание кем-то других твоих сокровенных чаяний, впустую растранил это дарование и обрек себя на прозябание в скопище тысяч и тысяч душ, страдающих от напасти нашего времени-отчужденности, многоликой и вездесущей.

Школьный коридор оглушает на переменах бесконечной перекличкой и взаимным перебиванием звонких голосов. Порой эти голоса сливаются в жужжание, внезапно переходящее в настоящий гвалт. Школьный коридор ослепляет мельканием незнакомых физиономий, настораживает привилегиями, которыми пользуются старшие по возрасту парни, ставшие заводилами в компаниях пацанов – феодалчиками в раздробленной на мелкие княжества стране взрослеющего детства.

Избегаешь искать покровителя, и только любопытство – предтеча любознательности, подталкивает примкнуть к какой-нибудь группе школьников. Однако, получив их доверие и защиту, следует приспособиться и к порядкам, принятым в этом иерархическом сообществе: нужно как-то ужиться с нравами и правилами, порой идущими вразрез с твоими понятиями о товариществе, необходимо согласиться с развлечением, к которым не испытываешь никакого тяготения. И потому становишься придирчивым в выборе знакомств и не подобострастен перед крепкими кулаками – последовательно отстаиваешь статус независимости в школе, который поддерживается давней дружбой.

Не просто приятельские отношения, детская привязанность соединили двух ребят, родившихся в одну декаду и приподнявшихся над поверхностью земли в одном и том же дворе. Хотя уже перестали быть соседями, и волею судеб оказались жителями разных районов, друзья по-прежнему живут в одном полувымышленном-полуреальном мире. Их разделяют не только многокилометровые расстояния, но и роли, изначально предписанные родственниками и обстоятельствами. Один является предметом обожания бабушек, дядюшек, тетюшек и особенно деда, который вырастил трех сыновей, а на старости лет обрел всего лишь одного внука. Другой – никому не нужен, вследствие пьянства родителей, укорененных в криминальном прошлом, буйства безумного деда и откровенного хулиганства братьев, органично вписавшихся в жизнь уличной шпаны. Одному уже выписана гора рецептов для поведения, другой вынужден доверять только своему чутью. Несмотря на то, что они учатся в разных школах, система образования предельно стандартизирована и вызывает одинаковое неприятие у обоих друзей. Им интереснее проводить время вдвоем, а не старательно поглощать трудно усваиваемый экстракт или вернее отжим знаний, которым начиняют головы учеников – свидетелей близящейся кончины тысячелетия. Насаждаемая школой мораль пытается вытравить у них собственные представления о добре и зле, и заменить эти представления наставлениями из разнообразных агиток, в которых воспеваются самоотверженные поступки пионеров, гибнущих в борьбе с классовыми врагами или с захватчиками-фашистами. О существовании этих нравственных установок, сызмальства предуготовливающих мальчишек к необходимости выполнить любые гибельные команды-поручения, исходящие от взрослых командиров, друзья ранее и не догадывались, и только интуиция заставляет их противиться этим установкам, столь только интуиция заставляет их противиться этим установкам, столь старательно пестуемым системой школьного образования. Оба чувст-

вуют, что им «вправляют мозги», хотя еще не могут толком объяснить себе, что же им не нравится, потому что крайне далеки от понимания процессов оболванивания и обезличивания, доминирующих в обществе. Оба догадываются, что им необходимо вызубрить мудреную казуистику, разводящую всех людей, как и все события на «хорошие» и «плохие», а иначе оскорблено вознегодуют, во всеуслышание осудят школьные учителя и подвергнут хитроумным наказаниям, если заартачишься и откажешься поддакивать им и тем самым усомнишься в достоверности не тобой открытых истин. Ведь отвергаешь те истины не потому, что им противится инстинкт самосохранения или потому что они гасят в зародыше здравый смысл – обо всем этом в те годы и не задумываешься: просто не хочешь променять на те истины свои, еще более ущербные, шаткие, неприемлемые для жизни истины, но зато свои. Пробуют перемолоть и жернова родительского воспитания, благодаря которым постигаешь всю меру существующей социальной разделенности людей, и наперекор всем доводам любящих тебя взрослых отказываешься принять ту самую меру, как основополагающую в человеческих отношениях. Но трудно, почти невозможно противостоять работе сложнейшего сита, призванного отобрать и выделить из массы школьников способных, здоровых, покладистых и в то же время деятельных ребят и девочек, успехи которых всячески превозносятся, спекулируя на детском тщеславии. Сама жизнь этих чудо-октябрат и пионеров возводится в эталон, от которого ведется отсчет наличия у других учеников способностей и дарований.

С первых классов идет десятилетиями отлаженный процесс разделения школьников на туповатых и одаренных, трудолюбивых и ленивых, послушных и норовистых, и поверившие в свои неискоренимые изъяны дети добровольно идут в затхлые и смрадные катакомбы, где правит грубое насилие и откровенное скотство, где ужасы жизни становятся обыденными мелочами. Жизнь по-прежнему скупа для большинства... Но это уже вывод старшеклассника, а пока еще льстят твоему самолюбию причисления к лику отличников и награды похвальными грамотами. Впрочем, пока еще и не покрылся коростой привычек, пока еще нет страха и перед ошибками, пока еще выбираешь себе *modus vivendi*, но и сама жизнь также присматривается к тебе, как к партнеру, или как к обузе, от которой следует поскорее избавиться.

* * *

Парк в кутерьме красок прошит пучками солнечных лучей: замело тропинки опавшими листьями: их толстый слой чешуйчато вспыхивает мимолетным блеском в самых неожиданных местах. За редкими кронами деревьев высится угрюмая громада вечно серого элеватора, а справа распахнулся кратер стадиона, остывший от клочкотания страстей футбольных болельщиков с соседних предприятий. Одиноко чернеет клумба, тщательно перекопанная чьими-то заботливыми руками: взрыхленная земля, пересыпанная редкими, неразбитыми комьями и случайно залетевшими на нее листьями, нежится под чуть-чуть разогревшимся солнцем. Листья образуют затейливые узоры не только на клумбе, но и на больших лужах, которые уже не высохнут до зимы, исправно пополняемые нудными дождями, которые холоднее талой воды. На плечо незаметно ложится короткопалая, продолговатая пятерня дубового листа в светлых прожилках.

Оскудевающее тепло делает парк щедрым на поразительное разнообразие сочетаний оттенков, на внезапные переходы от блеклых к густым тонам, столь гармонично сочетающимся, что изъятие любого цвета обеднило бы пеструю палитру этого островка природы. Тепло еще не ушло до той степени, чтобы его перестало ощущать лицо. Почти незамутненное восходящими испарениями солнце согревает своими мягкими трепетными прикосновениями деревья, кусты и траву и те охотно покоряются усыпляющей магии этих прикосновений, доживая пору своего заката. Сонно шевелится оставшаяся на высоких ветвях листва, зачем-то продолжая прихорашиваться в преддверии тлена. Дремотно жужжит вспугнутая муха, лениво двигаются над желто-багряными кронами белые облака, рождая смутные воспоминания о прошлогодних сугробах... А худые руки беспокойно и сумбурно жестикулируют и звенят в прозрачной тишине молодые голоса. Медленно бредут по золотистой ряби две фигурки и разные по длине тени послушно следуют за ними по гаснущему на сырой земле пламени увядания.

Ушла пора кротких намерений, дерзкая мечта будоражит мысли и даже сдвоенное молчание звучит как содержательное продолжение излитых откровений. Не дают покоя прочитанные книги, и хочется превратиться в ветер, беспрепятственно бродяжничающий по морям и странам, хочется пройти безводные пустыни и увидеть миражи – удивительные грезы этих раскаленных солнцем сплошь песчаных или каменистых пространств, хочется исколесить весь белый свет, побывать у полюсов и прочесать непролазные джунгли. А еще хочется сколотить плот и плыть на нем по реке до самого устья, изображенного на географической карте, как развитая корневая система высокого, изогнутого дерева.

Уже давно нога ступила на заповедную крышу водонапорной башни, и удалось сплавить до пляжа, уже настолько знаком вид каждого дома на своей улице и каждого уголка этого парка, что неодолимо тянет оторваться от насиженных мест, стать скитальцем, с головой окунуться в жизнь, преисполненную опасностей и приключений. Все кажется достижимым, но чрезвычайно сложно определить: за что следует браться в первую очередь? Неясность намерений постоянно колеблет настроение, раскачивает его, как обычно случается в преддверии важного праздника, когда или испытываешь радостное возбуждение или насаждает въедливая хандра.

Бредут две фигурки по опавшим листьям. Незаметно захватывает кружение жизни, которая обещает исполнение самых смелых чаяний, порожденных ею же самой. Она подобна опытной женщине, способной искусно разжечь желание у мужчины, чтобы затем после долгих ухаживаний, уговоров, капризничая, уступить ему, мнящему себя победителем в долгой борьбе.

* * *

Уже не отстраниться и не отмахнуться от тяги к многолюдным сборищам, где слух ловит голоса, говорящие на разных языках и диалектах, где приезжие не молчаливо-сосредоточенно или скучающе рассеянно созерцают чужие для них края, а стремятся всеми силами быть временными участниками здешней жизни. Нестихаемо день за днем коловращение толпы, втекающей и вытекающей из узких ворот рынка: пыль всех пятнадцати республик оседает на асфальт: растрескавшийся,

продавленный, в частых заплатах или в бугорках присохшей грязи. Сразу же за воротами начинается галерея нечетких, летучих ароматов, душистых или острых запахов. Природа, обремененная выращенным в ее лоне урожаем, выбросила на прилавки ворохи винограда, кучи помидоров, корзины грибов, пирамиды, сложенные из груш. За торговцами высятся горы арбузов и дынные холмы, источающие медоносный дурман. Целая гряда с покатыми склонами, пестро-тусклая от пыли, не расфасованная в мешки, целые отроги из лука, свеклы, моркови, картофеля, капусты виднеются вдаль и не верится, что покупатели когда-то растащат все это в своих сетках, сумках и рюкзаках.

Украшен рынок персиковым румянцем, темнеющим от грубых или неосторожно резких прикосновений, обласкан цветением георгинов и хризантем, над которыми упругими фонтанчиками высятся гладиолусы. Стихийно складывающаяся гамма красок цветочного ряда как бы противостоит здесь удовольствию чревоугодия и привлекает к себе со вкусом одетых мужчин и женщин, расчленяется на букеты, предназначенные для юбилеев и прочих праздничных торжеств. В людском бурлении снуют ветхозаветные старушки, покореженные временем и недугами. Они стоически сражаются за каждый медяк, приобретая дешевые овощи, и счастливо вздыхают, если им удастся сэкономить хоть грош. В любом уголке, изгибе базарных проходов, более запутанных, нежели сарайный лабиринт, дежурит какая-нибудь неожиданность. Где еще встретишь сразу так много необычных лиц. Вот взгляд прочно зацепился за кудрявую смоляную бороду, вплотную подступившую к крупному носу и черным южным глазам, горячим и беспокойным. «Откуда гранаты?» И вдруг в дремучих дебрях бороды появляется исток света. «Сухуми», – белозубо улыбаясь, отвечает владелец кожаных круглых сосудов, наполненных кисло-сладким рубиновым соком. А вот торчит из-за прилавка совершенно нагая, неровная голова в каплях пота: похожа на мокрый булыжник, обработанный многолетним упорством морского прибоя. – «Откуда инжир?» – Голова изучающе оценивает пришельцев, разомкнувших цепь обычных взаимоотношений между покупателями и товародержателями, и затем презрительно фыркает: «Брысь отсюда, пострелы!»

Плоды Кавказа соревнуются в сладости с медом Украины, а овощи, привезенные из ближних сел и деревень, смотрят на фрукты, созревшие под неистовым среднеазиатским солнцем. Средоточие всего самого вкусного, яркого, ароматного олицетворяет собой базар, официально именуемый колхозным рынком. Здесь встречаются жители лесов и пустынь, степей и гор, самочинно ставшие делегатами на празднике урожая. Они собрались на этой площади как на Форуме, медлительные и бойкие, краснобаи и молчаливые, блондины или жгучие брюнеты или совсем лысые, молодые и пожилые, представляя богатства своего края.

– Откуда рыба?

– Астраханская, – звучит пропитой, надтреснувший голос красноречивей торговли.

– А как вы сюда добирались из Астрахани?

– Идите отсюда, нечего здесь попусту вертеться.

– И мы и не вертимся, а интересуемся.

Но женщина, разбухшая, как распаренное просовое зерно уже не видит и не слышит нас, а вся сосредоточилась на долгожданной встрече с разборчивым покупателем, вываливая на прилавок из просоленной сумки новую воблу.

– Тетя, а на чем вы вернетесь в Астрахань?

– Чего вам далась эта Астрахань? – сердится торговка, присовокупляя измятые рубли к пухлой пачке денег.

Сжимает сердца общая тайна, непроницаемы детские лица: никому нельзя проникнуть в суверенный мир, нет доступа любопытству посторонних к схороненным глубоко-глубоко мечтам о постройке плота, на котором предстоит покорение великих расстояний. Дух Марка Твена правит юными умами.

* * *

Рождаются новые созвучия каждый воскресший из ночи день: к ним прислушиваешься то с тревогой, то с радостью, то беззаботно не замечаешь их. Сны полнятся безобидными или кошмарными видениями, отчего пунктирная линия жизни превращается в захватывающее воображение ленту, расцвеченную всамделишными и фантастическими событиями. Мысли неустанно ткот грандиозные планы, переделывают прежние, которые еще вчера казались выверенными; мысли гибко подчиняются новой идее и незаметно направляют дни в узкое русло стремительных недель. А с неба падает, оседает на землю, смывая следы дождя вчерашнего, мелкий осенний дождь: окна домов – в непросыхающей осыпи капелек, сегодняшних и трехдневной давности. Монотонность ненастья лишь изредка нарушает оробевшее солнце, неуверенно выглядывающее из-за наслоений дородных и тяжелых туч. Солнце смахивает на медузу: студенисто-желтоватый круг, то тонет, то опять всплывает из облачной пучины. Истертый символ тепла, верховный жрец лета только раздражает своим бессилием перед пасмурным заслоном. Ненастье повсеместно дышит сыростью, мозглостью, увяданием. Роскошное убранство густых крон сменилось никлыми лохмотьями и жалким отрепьем, сквозь которые видны черные скелеты деревьев и приземленное, размокшее небо. Парк обнищал от опустошительных набегов порывистого ледяного ветра: вспархивают с веток последние листья, падают на тронутые тлением останки своих собратьев. Осень заметно урезала время света, который к тому же безнадежно застрял в хмурой мякоти туч. Тусклый рассвет не уничтожает, а всего лишь слегка теснит влажные сумерки, и даже полдень похож на канун вечера.

Загадочны мерцающие в измороси, потолстевшие огни фонарей, оцепившие вокзальную площадь: разметались по мокрому блестящему асфальту космы искусственного света, которые стелются по невидимым следам прошедших здесь тысяч ног. Спешат, торопятся люди попасть в далекие города, в жаркие пустыни, в бескрайнюю тайгу, в многотуманные столицы, на теплые моря, на северные острова, замороженные до огнедышащих внутри земных глубин. Гигантская гидра железнодорожных путей с бесчисленными отростками сжала равнины, врезалась в далекие горы, оплела замысловатой вязью крупные города. Многорукое детище прогресса отлично от реки, диктующей любым судам своими изгибами и отмелями направление движения. Благодаря железной дороге можно оказаться в любом краю: стоит только заполучить билет в овальном окошечке, чуть крупнее амбразуры. «Сколько стоит билет до Сухими?.. А до Астрахани?..» – немыслимые, баснословные деньги тратят люди в обмен на эти бумажные прямоугольные пропуска в дальние дали.

Пробегают перед глазами, окутанные грохотом, как очереди трассирующих пуль, ярко освещенные окна вагонов, соединенные в длинную цепочку: за мутными окнами мелькают занавески, бутылки, термосы, лица. Нестихаема и несмолкаема вокзальная суэта, подчиняющаяся внезапным приливам и отливам. Над головой звучит механический голос диктора: невнятный и глухой из-за скверного качества громкоговорителя. Голос равнодушно называет города, откуда прибывают или куда отправляются поезда. Люди лениво, скучающе, а порой впопыхах огибают крохотный мальчишеский тандем, блуждающий в стекло-каменной громаде вокзала и движимый иными мыслями, чем у бывших или будущих пассажиров. Тонкие руки не отягощены поклажей, а головы заботами о пропитании и удобствах в дороге: двое мальчишек – всего лишь зрители, примеривающиеся к требованиям высоких скоростей, которые предложила вторая половина XX столетия. Невольные очевидцы встреч и расставаний, горестных и радостных, устало возвращаются вечером домой, и фонари, увеличенные хаотическим мельтешением дождинок, добродушно смотрят им в спины, как бы приглашая прийти сюда завтра и послезавтра. А где-то внутри уже бродит недовольство собой и безрезультатными хождениями по перронам, похожим то на улицу, застроенную однотипными домиками, то на пустырь, по которому ползут рельсы, точно то – черные, длинные змеи. И жизнь предстает разветвленным, но не имеющим выхода подземельем, состоящим из узких, как капилляры проходов, с осклизлыми стенами, в которых иногда попадают щелистые лазейки, но и то непременно с заостренными, режущими краями. А ноги то ударяются о каменные шипы, то соскальзывают в вымоины и ямки: приходится зачем-то подниматься по множеству истертых ступенек и почему-то опускаться по крутым тропам в никуда. Неясностью намерений помечен каждый прожитый день – точно бредешь по длинным темным коридорам и никак не поймешь: как же выбраться из этого лабиринта? Хочется пробить брешь в тупиках, чтобы состояться как полномочный в своих действиях и желаниях человек.

Без лишних сантиментов уценены все прежние реликвии и святыни до простых безделушек и даже до никчемного мусора. Выброшены пузырек из-под чернил, сделанный из прочного синего стекла, и деревянный меч с щитом, обитым гибкой жостью. И еще – ветка тополиного куста, растущего на водонапорной башне и плоский, в серых разводах камешек, добытый со дна реки. Целая вереница низложенных увлечений остается позади и даже презрительно отвергнута. А вновь обретенные цели нестойки, как запах одеколона, нечаянно пролитого на пол. Хочется каких-то решительных действий, но каких? Куда-то поехать... но куда? Давно пора начать жить так, чтобы дух захватывало. Но какая она – захватывающая жизнь? Голова гудит от вопросов, точно в нее вслился осиный рой и жужжит там. Безответны вопросы и неудобны. Они будто крючья, задевают на каждом шагу. И даже созвездие Большой Медведицы застыло в прояснившемся от первого морозца небе вопросом. Чем заняться? На кого походить? Чей уподобиться тени? Ведь нужен какой-то ориентир, чей-то лучистый взгляд, указующий путь в будущее. Не очерчены расплывчатые желания, тянущиеся к беспредельности, неудобна для хлипких плеч их тяжелая ноша. Жизнь вроде бы доброжелательна, отзывчива и настежь распахивает двери, но в них видны только голые стены – обшарпанные и непритягательные. А за теми стенами скрываются залы с непритязательной или изысканной

обстановкой, где обитают смелые, дерзкие люди, умеющие добиваться своего. Это они лукаво или интригующе взирают с киноафиш, с обложек иллюстрированных журналов, с экранов телевизоров.

Неуютно на улице проходчикам в неведомые миры. Подстерегает на перекрестках колючий ветер. Опять на небе ни искорки света. Бьют в лицо сжатые морозом до мелких матово-белых гранул позавчерашние дождинки. Теплом, конюшной, пудрой, опилками веет от фойе цирка, и озябшие до онемения руки тянутся к вертикальным решеткам, откуда вырывается в студёный город воздух, разгоряченный от долгих плутаний по многочисленным помещениям, накрытым серебристо-чешуйчатым куполом. Взгляд натывается на морщинистую стену занавеса, пытается проникнуть сквозь эту медленно колышащуюся матерчатую преграду, заранее преисполненный восторга.

* * *

Сопровождаемый бравурными аккордами, всегда торжествен и красив выход на круглую арену артистов в блестящих трико и сверкающих сапогах, в сияющих шлемах или с великолепными плюмажами на головах. Они виртуозно управляют булавами и страшными хищниками, без остатка завладевая вниманием притихшего амфитеатра слаженностью и отточенностью своих выверенных действий. Кувыркаются в воздухе натренированные атлеты: их тела — твердый камень, молниеносно раскатывающийся в тугую стрелу, но через миг колени снова подтянуты к груди и широкие спины в панцире из мускулов сменяются курчавыми головами, крепкими руками, обнимающими ноги. Катятся по арене плотно сбитые комки человеческих тел, разбрасываемые кряжистым, седоватым предводителем группы акробатов. Точно рассчитан каждый рывок и каждый шаг, заранее определена каждая точка падения: ведь малейшая оплошность созвучна с несчастьем. Мерцают блески на ярких костюмах и капли пота на мужественных лицах и неизменна сверкающая улыбка после блистательно выполненного сложнейшего курбета.

Умело лгут руки мага, превращая в прах цветов, они загадочно священнодействуют над огнем, из трепещущих лепестков которого воскрешается загубленное растение. Чудодейственным образом из неровных мятых лоскутов получается прочная полоса ткани. Рождаются голуби из пустоты картонных коробок. Распиленная женщина, останки которой траурно увозят на двух тележках, через несколько секунд вновь появляется на арене, как и прежде стройная, обворожительная, пленяющая грацией своих плавных телодвижений. Она вызывает бурные аплодисменты у публики, благодарной фокуснику за то, что осталось невредимым большею создание, вышагивающее в коротенькой юбочке по мягкому ковру. В волшебном круге арены идет калейдоскоп неожиданностей, поразительных превращений, исчезновений, которые легко вершит несколько чопорный, облаченный в строгий черный фрак, сухощавый кудесник, непринужденно и убедительно показывая, что невозможное все же возможно.

Глаза опять неотрывно следят за ареной, теперь занятой юношей, почти ровесником, выполняющем комбинации двойных сальто на пружинящем батуте. А вскоре ловкий паренек уже оказался под куполом цирка: столкнулись в одной подвижной точке встречные потоки света множества прожекторов, образуя сияющий пояс, которым изнутри

перехвачено все здание. Раздается тревожная барабанная дробь из оркестровой ложи, перекликаясь с учащенным стуком сердца. Юный артист замер над ареной, как над хищно раскрытой пастью, готовый сотрясти, переломать и поглотить безупречно сложенное тело. Но исполнитель опасного номера не беспомощно падает в рукотворную пропасть, а оторвавшись от металлического стержня, свободно парит на головокружительной высоте в полярных подкупольных широтах, соизмеряя свои усилия, чтобы достичь спасительной планки качелей, посланных навстречу человеку-птице его внимательным партнером. И щедр был на радость тот миг, когда руки смельчака схватили ту планку, послужившую настоящей палочкой-выручалочкой.

Горят ладони от рукоплесканий, гремят салютом аплодисменты молодому мастеру, а в памяти остается его образ, но не в качестве копии увиденного или фотографического снимка, а еще более пышно разубранный и помещенный в хрустальный дворец воображения, где живут благородные и отважные герои. Хочется стать таким же храбрым и бесстрашно рисковать, убедительно спорить с различными опасностями — быть полновластным хозяином своих рук и ног, ставшими заметно неуклюжими, угловатыми, неприглядно худыми, еще не привыкшими к самим себе, разительно выросшими за последний год. А рядом сидит еще более вытянувшийся как картофельный росток мальчишка с бледным лицом, тоже беспомощный и несобранный по сравнению с этими мощными, энергичными виртуозами своего дела, избравшими подвижничество, как единственно достойный человека путь. Вот это судьба! — Ей нельзя не завидовать, ее невозможно не желать, ее необходимо добиться, пусть неустанным, каторжным трудом. Цирковая жизнь — не вымысел, вскормленный приключенческими романами: это маяк, который спасет от бурь, бушующих в груди, это — путеводная звезда. Мифически совершенные атлеты, могущественные чародеи, которым подвластно преобразование вещей, дрессировщики, умеющие укрощать звериный нрав грозных хищников, джигиты на тонконогих скакунах, красноносые клоуны в мешковатых портках и нелепо огромных кепках, прощаются под меланхоличную музыку оркестра, нагнетающую грусть от предстоящего расставания со сказочной феерией. Привыкшие к мальчишескому восхищению и поклонению циркачи одинаково улыбаются, кланяются, горделиво разгибаются, величество отводят правые руки в стороны и пропадают за тяжелым занавесом. И вот уже приглушены огни, пустеют концентрически ширящиеся ряды современного Колизея, а за дверьми ждет мрак позднего вечера, прорезанный редким светом озябших уличных фонарей.

* * *

Неужели совсем незаметно произошло столько упущений, что теперь уже никогда не догнать тех ловких парней, которые, взрослея, становятся виртуозами в своем деле и даже прославленными мастерами, а их точеные силуэты запечатлеваются на афишах, размеры которых под стать киноэкрану? Неужели никогда не удастся покорить невозможное, а придется коряво расписаться в своей беспомощности, признать свою безымянность и никчемность и просуществовать будним мгновением в истории человечества? Или еще не поздно начать и вовремя произошел сдвиг, а вернее раздвоение, позволившее увидеть самого себя жалким и худосочным подростком, мало к чему пригодным. Какое же ждет

поприще в надвигающемся будущем? В чем заключено таинственное и загадочное призвание? Как его обнаружить и понять, зачем рожден? Привилегирован ли природой, как те замечательные артисты, творящие подлинное волшебство в магическом круге цирковой арены? – Снова вопросы сплоченными шеренгами идут в наступление, колют и уязвляют, толкают или гонят к той незримой меже, которая ограничивает пределы страны детства. Нельзя же пожизненно пребывать в той стране, но в какую сторону направить свои ноги?

Странное это время, тревожное, вспылчивое или тягостное, как затяжное ненастье, сумбурное и мятежное, преисполненное необъяснимых сумасбродств и скоропалительных действий: оно густо прошито то неуверенностью в себе, то безудержным самомнением. В то пору в человеке уживаются работяга и лентяй, гений и глупец, честный и лжец, храбрец и трус: всевозможные свойства теснятся в одной и той же душе и сражаются не на живот, а на смерть, чтобы осталось всего лишь несколько из них, наиболее жизнестойких.

Детство – это радужный и беспокойный сон, прорицающий грядущее, это тысячи еще не потерянных шансов на счастье и на самую сногшибательную удачу; это и блаженство неведения, и цепкие первобытные страхи. И в какой-то год, а то и день, вдруг начинает возникать прозрачная, неудержимо растущая, коварная и труднопреодолимая стена, через которую необходимо перелезть, дабы на остаться замурованным в уже прожитом времени. Обнаруживается острая грань, которая разъединяет чувства и мысли, фантазии и действительность, но эта грань еще не утвердилась и не упрочилась, и потому стоишь на краях провала: одной ногой – на землях столь хорошо знакомого и привычного детства, а другой ногой пробуешь ступить на территорию какой-то иной жизни, манящей к себе и в то же время неведомой. Понимаешь, что каким-то непостижимым образом изменился по отношению к окружающему миру, а тот, в свою очередь, изменился по отношению к тебе. И мучают напирющие вопросы, цепляются и царапаются, подобно ржавым гвоздям, которых полным-полно в покинутом сарайном лабиринте. Крючки безответных вопросов стараются заключить твой микромир в плохонькие и кривые скобки, а без ограды этих шатких и порой невыносимо противных скобок вряд ли прорастут ростки индивидуализации или начатки каких-то особенностей, а будет всего лишь пустое место. Но выводы, к которым приходишь с превеликим трудом, черед ушибы и не менее болезненные разочарования, почему-то со временем кажутся смешными или нелепыми и поспешно заменяются другими, которые, увы, также будут стерты течением дней и недель. Счастливым в первоначальный миг исполнения какой-то затеи, вскоре становишься неудовлетворенным достигнутым результатом: уже не пригубляешь, а пьешь судорожными глотками горечь промахов и неудач. Постоянно преследует смутное подозрение, что оказался в некоем тупике, и каждая новая мысль воспринимается в качестве многообещающего решения или в качестве заветного выхода из тупика, но эта же мысль быстро становится то ли острым инструментом в неумелых руках то ли ядовитым раствором, отравляющим каждый прожитый день. Как холод от промозглого утра пробирает сквозь одежду до костей, так и растерянность пронизывает душу: слишком много перед глазами мелькает событий, разнотимых и сложных для истолкования. Но в сомнениях, которые, по существу ничего не утверждают и ничего не отрицают, все же присутствует толика надежды на исход из тупика:

эта слабая надежда противостоит растерянности, за которой прячется скептицизм, норовящий удушить любую дерзкую мысль и любое смелое желание. Но надежда, малая или большая, крайне важна: она подобна первой звездочке в наступающей ночи, под светом которой кошунственно думать о смерти, гарантирующей всего лишь непроницаемый, вечный мрак. Ведь расцветают не для того, чтобы увянуть, и рождаются не затем, чтобы бесследно исчезнуть. Но тогда зачем? – Снова вопросы преследуют, как наваждение, как кара разбуженного рассудка. И хочется отмахнуться от назойливого окружения этих вопросов, но чутье – посланец древнейшего инстинкта предостерегает: «Не делай этого опрометчивого шага».

Стоят ноги на ломких краях расщелины, отделяющей мечтательность от практического делания и страшно заглянуть в эту расщелину, вклинившуюся в поверхность жизни. Складывающаяся упорядоченность воззрений, предпочтений и пристрастий борется со вздорными увлечениями и совершенно абсурдными замыслами. Поиски давно открытых людьми истин вязнут в пустопорожних изречениях собственного изготовления. И не одна из противоборствующих сторон никак не может восторжествовать и объявить окончательную победу – просто не успевает сделать это.

Некая сила заставляет постоянно мечтать: необузданно, увлеченно, вдохновенно. Что-то непременно мешает осуществлению задуманного: обязательно возникает какое-то препятствие, разрушающее все планы. И в тугом узле противоречивых догадок крепнет подозрение, что живешь не так, как надо бы жить, живешь всего лишь так, как умеешь, и как получается. А с другой стороны, еще ничего толком и не умеешь делать, вот потому и ничего не получается. Это подозрение подобно перышку жар-птицы, упавшему на грудь влажного хвороста и затерявшемуся там: огонь никак не может выбраться наружу и только едкий дым сочится из сплетения ветвей, предупреждая о пламени и пока прикрывая его. Но как же жить, чтобы все получалось? Что нужно для этого уметь? Что ты есть сам по себе, не защищенный родительской опекой? – Снова вопросы, неотвязные и настырные преследуют злорадной гурьбой. И пугает расщелина, над которой стоишь, и нет еще решимости встать на другой мало знакомый ее край обеими ногами.

* * *

Продолговатое зеркало платяного шкафа полузаполнено отражением обнаженной по пояс мальчишеской фигурки: под кожей рук неясно прослеживаются зародыши мышц, острые плечи вздернуты вверх, а на боках отчетливо проступают дужки ребер. Зеркало – беспристрастный фотограф или своеобразное внутренне окно комнаты смотрит краем письменного стола, ящики которого нашпигованы школьными учебниками и пухлыми тетрадками, а поверхность стола завалена пособиями по культуризму и закаливанию организма. В углу, на стене прищиплена обложка иллюстрированного журнала, на которой изображен известный американский актер в роли Геракла.

Руки неохотно привыкают к весомости гантелей, а тело – к трудностям выполнения комплекса упражнений, после которых, уже ближе к вечеру ломит спину, плечи, ноги, будто получил прививку от тяжелой инфекционной болезни и теперь приходится переносить действие

заразы. Добровольно соблюдаешь строгий режим дня, педантично следуешь всем предписаниям и рекомендациям пособий по совершенствованию тела, утомляешься от перегрузок, порой доводишь себя до изнеможения. Но в минуты отдыха порой видишь свои ноги, оплетенные бугристыми мускулами и грудь, волнистую от перекатов развитых мышц, и плечи, обретшие заметную крутизну... И вдруг ловишь себя на том, что смотришь не на собственное отражение в зеркале, а на фотографию загорелого Стива Ривза. Она – немой укор мальчишеской немощи и угловатости, и в то же время икона, властно притягивающая к себе не только взгляд, но и помыслы. На пути самосовершенствования своей фигуры уже не остается времени для игр и прочих развлечений. Весь день, с момента пробуждения и до часа, когда нужно отходить ко сну, расписан по пунктам в соответствии с пособиями по культуризму.

В пленке пота грудь, спина, и мерещится, что кожа совсем не дышит, герметизированная этой влажно-соленой оболочкой, а воздух лишь огибает губы, избегая их горячих прикосновений. Уже нет сил сопротивляться грузу металлических штуковин, с инквизиторской изощренностью выжимающих все жизненные соки. Похрустывают суставы, выходит из повиновения мимика лица, взбухают вены на предплечьях и икрах ног. Терпеливо держит шея возложенное на нее бремя, тихо скрипит дощатый пол под тонким зеленоватым ковром: то сжимается в комок при приседании, то распрямляется в свой невеликий рост обнаженная по пояс костлявая мальчишеская фигурка. А в раскрытую форточку залетают ошалелые, закружившиеся снежинки: хлещет по оконному стеклу бесноватая вьюга, сшивая на земле в единое полотнище белые лоскутья снега. Холодом веет от распахнутой форточки, в однообразные капельки превращаются снежинки на подоконнике. Кажется, что подоконник тоже вспотел, но не от упражнений, а от борьбы с пришедшей зимой.

Однако дыхание стужи для разгоряченного тела почти незаметно. Висит как бомба над выпяченной грудью тяжеленная, округлая гиря и в следующий миг, подчиняясь усилию рук, плавно спускается вниз, на пол, чтобы опять тотчас стремительно взметнуться вверх. Пламенеют щеки от переизбытка румянца, и не верится в то, что год назад закралась в растущий организм болезнь, не раз меняющая свои симптомы, чтобы в конце концов укрыться в сердце. Пусть ко всем чертям уйдут все болезни! Приятно жить, когда с каждым днем ощущаешь приток свежих сил, пусть и проявляющийся не сразу, а по прошествии череды недель, помеченных целеустремленными стараниями.

* * *

Разодран ветром облачный свод, сквозь прорехи сквозит синее небо, студеное и далекое. Скачут, текут, скользят невероятные огоньки по снегу, слепят глаза пучки лучистых вспышек, которые поодаль сливаются в единый отблеск. Не греет, давно остыло светило, щедро осыпающее дома, автомобили и замершие лужи бликами. Быстро сворачивается зимний день, точно горящая холодным пламенем белая бумага скручивается в черный свиток. Леденит руки и подбородок мороз... А может, озноб и не от стужи, а от мысли от непредвиденных столкновений на улице? Невольно сокращаются шаги, урезается их размах до коротеньких женских шажков или даже до еще более мелких, какие

много лет спустя доведется заметить у шаркунов, обитающих в предкабинетных приемных, у бесхребетных лизоблюдов, поджидающих появления начальства. С головы до пят окатывает нервная дрожь при случайной встрече с мрачной компанией парней, живущих на улице, пролегающей вдоль колхозного рынка. Они лениво бредут в чернильных сумерках бесформенной колыхающейся массой: отливают ртутью их наглые глаза, а рты обязательно вооружены дымящимися сигаретами. Их руки упрятаны в карманы, предерживающие заточки или всего лишь коробки спичек или пустоту. Никогда не поймешь, что на уме у этих слоняющихся парней – любителей сквернословия, спиртного и драк. Обиходный язык в их кругу недопустим, но в угрюмом молчании они неизмеримо страшнее, потому что их безмолвие никогда не вызвано восхищением, изумлением, затаенным любопытством или какими-то иными сильными чувствами, заставляющими человека забыть о членораздельной речи. Только жгучая злость, только колкая угроза звучат в их немоте, которая и образует вокруг опасной компании мертвую зону, и ту аккуратно, старательно не нарушая ее границ, обходят даже взрослые и особенно девушки. Каждый из этих парней отнюдь не наделен выдающейся физической силой, наоборот, на их испитых, серых лицах уже проступили приметы близкого распада – и одинокий он выглядит всего лишь щуплым сорванцом, которому грозит град подзатыльников или набор пинков за его бесцеремонное, вызывающее поведение. Но эти парни всегда гуртуются вместе, спаянные обделенностью родительской опеки и той навсегда запоминающейся жалостью, слезливым сочувствием, которые они, вечно грязные, голодные оборвыши, сизмалства вызывали у сердобольных прохожих. Эти потомственные обитатели трущоб с первого часа своего рождения вдыхали неистребимый вековой смрад подвалов и пыль чердаков и жалко ежились от грохота скандалов, рева пьяных отцов и громогласных причитаний избитых матерей. Они произросли на тротуарах, загаженных плевыми и замусоренных окурками сигарет и папирос, привезенных со всех пятнадцати республик необъятной страны. Они никогда не знают поражений в уличных битвах, жестоко вымещая на первом встречном свои подспудные бесчисленные обиды. Они спаяны ненавистью ко всему роду человеческому и выпячивают свою обособленность самыми тривиальными радостями. Они хотят видеть в глазах прохожих не соболезнование, а боязнь перед их соединенной силой или страх перед их отчаянной дерзостью. Они требуют своего признания, претендуют на то, чтобы их заблаговременно обходили стороной, чтобы их опасались, как несчастного случая, пусть ненавидя, трепеща и содрогаясь от их хулиганских выходок. Они яростно противятся уготованному им скорому забвению и стремятся прославиться жестокостями, потасовками, бойцовскими рейдами по улицам, примыкающим к реке. Они восполняют сплошные пробелы в своем воспитании с помощью заимствований из поведения старших братьев и корешков, уже отматавших срок в колонии, при этом тшчатся перенять тот лоск и шик, неотъемлемые для всех лихих и «бессмертных» из-за своей неуязвимости героев приключенческих фильмов – от того пестро и модно одеты. Они опасны потому, что совсем не ценят свою жизнь и парализуют мальчишеские забавы, стоит им только появиться в парке. Они не столько парни, сколько парии, но стремятся выглядеть «королями» или «козырными валетами» в стране взрослеющего детства. Они проходят мимо, как жуткое насекомое, многорукое, многоногое, прячущее в себе смертоносные жала.

Они алчно высасывают из любого человека его хорошее расположение духа, его радость и веселость: они щедро делятся со всеми своей угрюмостью и озлобленностью. Трудно, почти невозможно стряхнуть с себя оцепенение при их приближении и хочется, презирая себя за это желание, при их приближении стать крошечным, незаметным, бесцветным существом, дабы не зацепил взгляд этого жуткого насекомого и не задела его клешня. Дабы оно не плеснуло в лицо оскорбление, на которое не сможешь ответить, и затем будешь казнить себя за это бессилие, а мерзкое насекомое неспешно уползет дальше, уверенное в своей неукротимости и неуязвимости.

Зябко в этом сумрачном мире, стынет от озноба спина, немеют ноги, сжимается кровь в тяжелый сгусток где-то возле сердца, и ненавидишь себя за перенесенный испуг и с сомнением на лице ошпыливаешь свои вроде бы увеличившиеся бицепсы, и опять кавалькада вопросов несется на тебя. Уже давно стало известно, что на плоту не доплывешь даже до моста, потому что немедленно будешь задержан речной милицией, а родителей оштрафуют на приличную сумму. Выяснена и неприподъемная цена билетов на Кавказ или в Среднюю Азию. И пришла пора признаться себе, что никогда не достигнешь той атлетической мощи, которая бы позволила изгнать с улиц многоруких насекомых, вселяющих ужас в каждого подростка одним только своим появлением. Никогда не суждено и обрести то бесстрашие, ту ловкость, которые отличают цирковых артистов – ловких акробатов, чародеев и повелителей диких зверей. Уже довелось побывать на крутом, противоположном берегу реки и обнаружить в ясный погожий день, что столько лет жил под лилово-серым сводом, растворение которого в небесной лазури идет медленнее неутомимой работы заводских труб, которыми густо истыкан родной район. Дым в тот день поднимался вверх толстыми столбами, постепенно утончающимися на высоте. Они чем-то напоминали пышнокудрых атлантов, вернувшихся из далекой старины, чтобы поддержать отяжелевший и ставший двухслойным небосвод.

* * *

Но мечты очень живучи: их не задушить выхлопными газами и не заморить унылой сменой дней. Зажигает мысли новая смелая затея. Великая затея! И мнится двум подросткам, что сияние исходит из глаз, устремленных к вечернему небу, сияние, спорящее яркостью со встречным звездным светом. Разматывается клубок фантазий, лихорадочное возбуждение выплескивает румянец на щеки. Станные, неземные образы рисуют в воздухе руки, растолстевшие от шерстяных варежек. Идет жаркий разговор о драматичных судьбах других галактик. Воображение высветляет запутанные отношения и тяжбы между древними, бесконечно далекими отсюда цивилизациями: деловито снуют ракеты между соседними звездами и ждут приключений отважные астронавты, уже получившие свои замысловатые имена. Пунктиром реплик вычерчивается сюжет, призванный впоследствии превратиться в скелет романа, обрасти описаниями встреч, расставаний и тягот на извилистом пути героев, о которых нельзя будет читать без учащенного сердцебиения. Разумеется, в повествовании должны присутствовать радостные и трагические кульминации: ненасытные силы тьмы подстраивают астронавтам хитроумные ловушки и коварные западни,

но в космосе присутствует и таинственное оптимистическое начало, которое неизменно будет вызволять героев из всех передряг.

Припасены тетради для записей, две пары глаз впились друг в друга иглами-взглядами в самые зрачки, точно эти черные точки вобрали в себя целое мироздание, которое и нужно рассмотреть во всех мельчайших подробностях. Лица сосредоточены, руки напряжены... Кто бы мог подумать еще пару дней тому назад, что сейчас будет начата книга, способная потрясти все человечество. Однако момент бездействия затягивается до минуты, перерастает в другую, затем уже в пятую минуту, томительную и бесплодную. Теплятся смущенные улыбки: необходимо написать хоть строчку, выдавить из себя самое начало, и тогда уже смело можно будет шагать по пути создания шедевра. Выспренно торжественные слова никак не могут соединиться даже в куцые предложения. Неужели это происходит от того, что чрезвычайно трудно проникнуть в загадочные дали окраинных миров, постижение которых предстоит в ходе работы над задуманной книгой?

И вот упало на девственно чистую страницу, разлинованную в синюю клетку, несколько слов, сцепленных в одно предложение. Началось сочинение, освобожденное от болезненного противоборства замысла и его воплощения: порывистое продвижение в неизведанное, лишенное всяческих ориентиров. На первых же страницах резко пошло на убыль число несуществующих, а вернее, неоткрытых людьми галактик, где, по первоначальным задумкам, и предстояло скитаться астронавтам. Немногим позже пришли к решению ограничить ареал полетов одной солнечной системой, на границе которой дотошные ученые в телескопы обнаружили наличие неизвестной планеты. Именно на ту планету и высадились астронавты, чтобы сразу же вступить в бой с лживо-безобидными, а на самом деле плотоядными растениями. За чащобами этих опасных растений героев поджидали гигантские многоглазые чудовища, враждебно настроенные к двуногим пришельцам. И снова бурлило сражение, принуждающее астронавтов применять все виды вооружений, придуманных на Земле. Но победа, одержанная и над чудовищами, означала лишь продолжение нелегких испытаний для исследователей тайн солнечной системы. На них обрушивались пыльные бури, и реки лавы, извергающиеся из огнедышащих вулканов, старались захватить героев в свои испепеляющие объятия. На отважных первопроходцев нападали птицы с железными когтями и клювами и огромные осы со смертоносными жалами. Одолев и эти силы тьмы, астронавты поплыли на крошечном плоту по кипящему морю-океану, стараясь уйти от преследований километровой удава. Наконец им удалось найти тихую гавань и спрятаться в гроте, но и тот оказался со сдвигающимися стенами, грозящими расплющить пришельцев-землян. Благополучно выбравшись из этой западни, герои романа устремились дальше, одержимые какой-то странной идеей. Но какой?

Постоянно ускользал стержень повествования, на который можно было бы нанизывать фразы, события, открытия: ускользал до тех пор, пока не пришлось убедиться, что он совсем исчез, а точнее, его и не было совсем. Просто изначально предполагалось, что он есть (необходимо исследовать новую планету). Но зачем? Для чего? Чтобы удовлетворить любознательность землян? Из-за этих неудобных вопросов слова отказывались слагаться в предложения, откровенно увиливали от того, чтобы идти в те места, где они были нужнее всего, и оказывались

никчемными там, где еще вчера выглядели вполне уместными и даже необходимыми. Эти верткие слова усилиями воли приколачивались одно к другому, как неровные доски для шаткого временного забора. Некоторые абзацы сшивались из предложений, выкроенных из последних прочитанных книг: от чего получалась удручающая мешанина стилей, господствовавших в литературе последние два столетия. Подчиняясь строю суждений понравившегося писателя, самозабвенно и упорно шли проторенными путями, чувствовали себя первопроходцами, но спотыкались на каждом шагу, невольно противоречили тому, о чем написали на предыдущих страницах и только раздражались от предчувствия неминуемого провала и этой затеи.

Зимние дни стали мучительно тягостны и переходили в нескончаемые вечера, будто идущие вспять от того часа, когда можно было сказать друг другу, что пора расходиться по домам. Упражнения с гириями и гантелями превратились в удобную уловку, позволяющую под благовидным предлогом уклониться от корпения над романом, который развивался отнюдь не подобно деревцу, посаженному во взрыхленную, удобренную почву, а скорее напоминал шершавую палку, кое-как воткнутую в расщелину между камней: не было ни корней, способных к добычанию живительных соков, ни кроны, осененной светом вдохновения. Астронавты безоглядно мчались в горнило бурь и прочих катаклизмов вселенского масштаба, но исключительно трудно было извлекать оттуда храбрецов живыми, невредимыми и готовыми на новые подвиги. Чудовища обрастали таким обилием свойств, что ни в одной ситуации не могли в полной мере проявить свои разрушительные способности. Виды растений на планете множились, группировались, преимущественно входили в разряд смертельно ядовитых для человека, не защищенного скафандром... И терпеливо ждали подходящего момента, дабы выказать свои опасные возможности в ситуациях, которые почему-то никак не наступали. Каждый день совместных писательских усилий над рукописью только приращивал новые разочарования вследствие невольных, зачастую безмолвных признаний самому себе в том, что мысли расплывчаты, суждения приблизительны, а знания о любом описываемом явлении мизерны или лоскутны: отсутствует та завидная ловкость иллюзиониста, умеющего на глазах изумленной публики молниеносно из обрывков ткани создавать целую нетронутую ленту.

В тот памятный день свирепствовала стужа, и руки быстро окоченели даже в шерстяных коконах варежек. И лицо точно отслоилось, подобно плохо приклеенной неподвижной маске. Только ноздри курились слабым парком. Мерещилось, что и само небо затвердело, превратилось в матово-голубой лед: целый ледник напоз на землю многокилометровой толщей, а врезавшиеся в нее, изогнутые, точно сведенные судорогой, ветви деревьев выглядели темными трещинами в том леднике. Холодно в парке. В жесткие кандалы заключено всякое движение, рост, развитие. Парк застыл, как черно-белый графический рисунок, небрежно набросанный на огромном полотне рукой злого гения. Солнце, не решаясь далеко оторваться от смазанной линии горизонта, тускло светило, кутаясь в полупрозрачную мерцающую шаль морозной дымки. Стоит только придвинуться ранним сумеркам, и оно тотчас скатится с небосклона, канет в наползающий мрак, как в камеру заключенный, которому лишь на короткое время позволено выходить на прогулку по тесному тюремному двору.

Зябко в стылом мире птенцам, еще не обретшим густого оперения: обиды и неудачи жалят их самолюбие, и в обе головы закралась одна и та же мысль о том, что и в будущем поджидают только провалы, что наступило время зла. Снег, задушивший траву, кустарник, деревья, не растает грядущей весной, а обернется солью, и та разъест страшными язвами поляны, лужайки, погубит все клумбы, заморит птиц, и ни одна былинка не пробьется сквозь тяжелый, мертвенный саван и не увидит ни света, ни тепла. Летит в сугроб коричневая тетрадка, вобравшая в себя плеяду не оживших на ее клетчатых страницах героев, вонзается прямоугольной плиткой в зимний нарос на земле, погружается в его вымороженные недра: лишь острый уголок остается торчать на фоне стерильной безжизненной белизны жалким обломком непосильного и безрезультатного труда.

Из-за снежных холмиков выглядывают кладбищенскими крестами елочки-первогодки, будущее парка. И режет глаза очевидный контраст между юностью этих деревьев-младенцев и тем символом, ассоциации о котором они же и вызывают. Долго и пристально вглядываются два подростка в зыбящуюся сугробами поляну, ибо почудилось им в последний час карликового январского дня, что вся она покрыта могилами, которые стерлись под натиском отгремевших революционных бурь, но вот, сейчас, опять забугрились, напоминая о прошлом парка. Притихли даже сердца, чтобы не потревожить устоявшейся тишины, не нарушаемой ни шелестом листьев, ни пением птиц, ни детскими криками. Вкрадчиво скрипит под ногами снег – рассыпчатый, иссушенный лютой стужей. Сковывающее безмолвие парка давит, как тяжелая и неудобная ноша, пригнетает вниз, вдавливая голову в плечи, норовит всего сгорбить или даже переломить пополам. Но в каком-то дальнем уголке души зарождается сопротивление этому сковывающему гнету: разрастается возмущение, как стихия пожара, распаяя глаза гневом.

Мнили себя такими особенными, даже исключительными, предпочитали жить только своим умом, ни на кого не оглядываясь: хотели прослыть своими выдающимися делами и свершениями, ни на кого не опираясь; видели себя соратниками, для которых нет непреодолимых преград, а выходит – ничего не можем и ни на что не способны. Стремилась к тому, чтобы поскорее стать полноправными людьми, а не быть рабами обстоятельств, безвольно отдавшись бессмысленной смене лет. Так что же предпринять? Как вырваться из этого заколдованного круга, где жизнь превращается в прозябание? Неужели следует уподобиться тем прилизанным и примерным однокашникам, для которых самые невинные проказы выглядят кошмарными преступлениями? Но тогда придется согласиться с мнением наставников, что добродетели и достоинства твоего друга в лучшем случае сомнительны и уступают многочисленным недостаткам. Тогда придется впустить в себя все родительские страхи, связанные с будущим единственного чада и научиться соизмерять людей по достигнутому ими положению в обществе – придется смириться со всем тем, от чего раньше только отмахивался, как от никчемных пустяков. Следует признать как неизбежность то, что с тобой и в дальнейшем будут разговаривать назидательно-повелительным тоном и воспринимать, как мальчишку, изобретательного только на шалости. Но что же делать в обратном случае? Где же он – свой путь? Где та тропа, на которой тебя станут воспринимать как человека, много повидавшего, испытывавшего и умудренного богатым житейским опытом?

* * *

Пожалуй, нет более трудных лет, чем годы так называемого переходного возраста – первая затяжная зима со взбалмошными метелями и жестокими морозами в жизни человека. Она начинается исподволь, как пора скверного настроения или с череды неожиданных всплесков эмоций, ее не сразу распознаешь в череде неудачных или бестолково прошедших дней, а понимаешь, что ступил в ее пределы, уже тогда, когда она со всех сторон окружила ложными приманками. Думаешь, что быстро шагаешь по свежему снегу, а оказывается, что под снегом – большая замерзшая лужа и ноги разъезжаются во все стороны, и вот-вот грохнешься со всего размаху об лед. Кажется, что все взрослые стали врагами и норовят ущемить тебя во всех правах, лишит всякой самостоятельности, превратить в марионетку. Переходный возраст – это некая дистанция во времени без каких-то определенных границ и внятных обозначений: эту дистанцию не перескочишь в несколько прыжков, ее можно только преодолеть, медленно вытягивая себя из состояния беспомощности, растерянности и бессильного гнева, как из трясины. Смутно догадываешься, что бездействовать никак нельзя, но что понимать под действием? Эта пора сродни беспокойному кошмарному сну, когда живешь шиворот-навыворот, когда беспощадность воспринимаешь за проявления мужества, хлыщеватость – за элегантность, вычурность – за изящество, а грубость – за признак независимости. Само время подсылает подростку разные перевертыши, внушает нелепые прожекты, смеется и куражится над пареньком, который отчаянно барахтается в высоких волнах, настигнутый приливом новых желаний. Он истово устремляется за обретением эфемерных ценностей и становится то заносчивым, то надменным, обороняя этим свою легкоранимую душу от колких замечаний. Переходный возраст – это время крушения многих драгоценно сверкающих воздушных замков. От праха фантазий горчит сам воздух, ко всему возникает недоверие. И вот уже зреют, наливаясь желчным соком, плоды всеобщего отрицания. Чувство безысходности напитывает собой каждую клетку юного тела. Ты еще наг и безлик – не имеешь ни своего пиджака, ни своих мыслей, ни вкуса – все это где-то позаимствовано, кем-то подарено, привито. Только дружба вот уже на протяжении стольких лет остается сугубо твоим единственным обретением. Она стоит особняком, выделяется из отношений со всеми прочими людьми: готова выдержать любое давление родительского и школьного воспитания и налаживает тот перекидной мостик через расщелину, что отделяет детство от юности. Странное, переломное, незабываемое время, время расцвета воображения, неизбежной эмиграции в вымышленные миры: происходит открытие необозримости будущего и обнаружение у себя давно и кропотливо работающей памяти, к которой все чаще прибегаешь, оставаясь наедине с собой. И еще правит поступками, не поддающееся никаким объяснениям, стремление быть не столько собой, а кем-то другим, взятым за образец для подражания.

* * *

Наши взгляды истерлись о деревянные и кирпичные дома, о центральный рынок и привокзальную площадь, черепахоподобный цирк и дугообразную набережную, втыкающуюся в мост, состоящий из нескольких арок и сцепившей два берега широкой реки. Наши фантазии

не раз были зажжены беспокойными и задорными солнечными бликами на воде; нашим ногам известна каждая выемка на тротуарах ближайших кварталов. Но кто нам дал этот мир, в который нас так прочно вогнала судьба, что не удастся и пошелохнуться? Хрустит под каблуками пористый снег, корчится тишина сквера, протянувшегося вдоль застывшей реки от коротких громких реплик, раздающихся как звуки палочных ударов о неподатливый камень.

Наверное, со стороны двое худошавых подростков выглядят поссорившимися и готовыми затеять драку между собой. Они бранятся теми словами, которые можно прочесть разве что на валких заборах или на стенах общественных туалетов. Как чахоточные мокроту, они выталкивают из себя свое негодование: их рты брызгают слюной, неровны ломающиеся голоса, нервны и прерывисты жесты. Скользят ноги по обледенелой тропинке, грохочут ругательства, способные шокировать родителей, школьных учителей, прохожих – кого угодно, но только не тех угрюмых парней, что неустанно патрулируют по улицам, насаждая свой порядок. Пересмотрен табель о рангах, и та компания, спаянная загадочной, но могучей организующей силой, получила один из самых почетных классов. Эти сорвиголовы – олицетворение ссоры со всем столь неудобным миром, именно они находятся на острие вызова законам и правилам общежития, они – единственные, кто не покорен обстоятельствами. Им наплевать на осуждение взрослых, они дерзко противопоставляют себя всем и всему, потому что с самого рождения презирают этот мир, изначально не сулящий человеку ни радости, ни счастья.

Горят в промозглой темноте близкими звездами кончики раскуренных сигарет: вдыхается едкий дым, от которого слезятся глаза, как еще совсем недавно слезились от лютых морозов. Неумело держат пальцы легкие цилиндрики, предназначенные для медленного тления: голоса нарочито хрипловаты, точно поражены хронической простудой, присущей небритым мужикам, с утра до вечера толкущимся возле пивнушек. Трепещет одиноким желтым листиком на короткой тонкой веточке спичечный огонек, восстанавливающий жгучую алость на погасшей сигарете, выхватывает из мрака лица бледнее чахоточной луны: душит, сжимает горло дым, вливается в легкие тошнотворным лекарством от детства.

Копится в карманах мелочь, сэкономленная на школьных обедах: медленно, но неуклонно тяжелеет металлический осадок, чтобы обернуться запретным зельем. Запретное волнует и манит, обещая неизведанные улады. И вот куплена бутылка вина, необходимый довесок к пачке сигарет, обязательный атрибут нового образа жизни. Узкое горлышко залито сургучом, похожим на болячку, закрывающую собой глубокую рану. Найдено и приют в знакомом с ранних лет сараинном лабиринте. Воздух заражается запахом дешевого хмельного суррогата, каким причащаются спозаранку раздавленные судьбой бедолаги. Во мраке узких проходов сараинного лабиринта притаились первые лужи, подстерегающие ноги в добротных, на толстом меху ботинках. Но нет времени обращать внимание на эти капканы сырости: с трудом прокладывает себе путь прерывистая струйка вина, сжимаются внутренности от отвращения, содрогается все тело, обрастает подбородок темными каплями, вытягивающими остатки тепла, бунтует сердце частыми ударами. Передергиваются плечи от слишком больших глотков, но нельзя, никак нельзя еще раз потерпеть неудачу, отшатнуться и от этого

испытания. И преодолевается отвращение, а вечерние тени спасительно скрывают брезгливую гримасу. Но от натужных усилий выдержать вторжение алкоголя на глазах неудержимо проступают слезы, набухают горошинами и сползают вниз, чтобы соединиться с каплями вина на подбородке, столь похожими на густую кровь. Почему-то слишком часто стали увлажняться глаза, помечая щеки извилистыми, солеными стежками-дорожками.

Опьянение прибавляет энергии, обнажает потаенные думы, смазывает и даже сбивает самые привычные движения. Охватывает неизъяснимый восторг от пустяков, и его удастся выразить лишь взглядом или невразумительным возгласом. Удовлетворение от благополучно пройденного испытания на зрелость греет мальчишеское самолюбие: веселят любая мелочь, самая избитая шутка. Впервые обнаруживается обоюдный интерес к девчонкам, болтать о которых стало интересно и приятно. Ведь уже запомнились чьи-то стройные ноги, и где-то случайно отметил руки поразительной грации. И стушевался под взглядом чьих-то недоуменно вопросительных глаз, отражающих серо-голубое небо. И еще украдкой любовался волосами, роскошно ниспадающими на хрупкие плечи. И заворожила ритмичность телодвижений идущей навстречу девушки. И подобно вину обожгла внутренности многообещающая пленительность женских плавных изгибов и округлых форм, угадываемых под ночной сорочкой, в какой демонстрировала свою фигуру одна кинодива. Уже складывался идеал собирательной красоты, постоянно дополняясь все новыми штрихами и подробностями, идеал изменчивый, пока еще очень расплывчатый, многоликий, но тем не менее могущественно влекущий к себе.

Шагая под винными парами по улицам детства, чувствуешь себя пионером-переселенцем, решившим обжить дикий край: все вокруг кажется непривычным и необычным. Где-то высоко над головой то ли качаются на невидимых волнах, то ли плывут по ним одинокие фонари, а перед глазами однообразно мелькают безликие, безымянные прохожие. Вдали видны недавно отстроенные многоэтажные дома, изрешеченные горящими окнами. Стерилизованный рассудок молчит, а вся воля целиком уходит на то, чтобы постоянно поддерживать равновесие при ходьбе и вовремя поймать то ускользающий, то скачущий центр тяжести. Все тело стало легко колеблемым, потому что вселилась в него некая демоническая сила, с которой непонятно как бороться. Колышется или вздрагивает каждый предмет, а порой просто куда-то убегает и пропадает, стоит только пристальнее всмотреться в него: перед глазами вершится хаотичное непрекращающееся вращение, юление. Кто-то явно сдвинул с насиженных мест, привел в движение фонарные столбы и деревья, звезды и даже тротуар. Стоит только сделать шаг шире, и точка опоры вспархивает испуганной птицей, отчего и возникает ощущение подмены и улиц, среди которых привык находиться. Будто бы и сама земля сократилась или съезжилась до маленького шарика, и тот беспрестанно крутится под ногами, и нет ничего поблизости прочного и незбылемого, за что можно было бы ухватиться руками и замереть, вопреки вселенскому верчению.

Лишь к позднему вечеру выветрился дурман и перестала кружиться голова, но все тело поразила тошнотворная слабость. Угас румянец на щеках, а лицо отяжелело. В ожидании сна устало моргали растерянные глаза. Разговор уже давно перестал быть торопливым, сбивчивым, жарким: взгляд поспешно уходил от встречного взгляда, а плечи застыли

в недоуменном пожатии. Холод проникал отовсюду, сжимал ноги, сковывал руки, привольно растекался по спине и деревянил онемевшие губы. Чаемый результат, ставший вполне осязаемым и зримым, вслед за первоначальными восторгами сменился неясным подозрением допущенного промаха, какой-то крайне досадной ошибки, пока еще не выявленной, но испортившей всю затею и принижающей значение добытого опыта. Разочарование еще никак не могло быть высказанным, а было сердито упрятано в пласты памяти: сам факт разочарования являлся запретным или постыдным, как любое поспешное отступление после отчаянно смелой атаки.

* * *

Возле винных магазинов толпятся существа неопределенного возраста, отлученные от церкви семейных отношений, еретики, не верящие в бессмертие человека, но преследуемые неутолимой жаждой. Они приходят к торговым точкам с утра, кривят от пронизывающего мартовского ветра одутловатые рожи, нехотя смолят самые дешевые сигареты, ежятся в жалких обносках и разговаривают глухими, осипшими голосами. У них всегда есть что обсудить. Выпивка – это неиссякаемый источник тем, не всегда отчетливых воспоминаний или сладостных предвкушений, врачующих скверное похмельное настроение; это – важнейшее событие дня, сопровождаемое массой нюансов. Последние и вносят разнообразие в монотонность совершаемого ритуала: с кем, когда, в какой обстановке, сколько, где раздобыл деньги, что занятого услышал от собутыльников, как себя чувствовал, проснувшись... Они отнюдь не демагогичны и не высокопарны в выражениях, предпочитают простоту в общении и потому не обращаются к тебе повелительно-назидательным тоном: не выпячивают и свой возраст, как и не претендуют на то, чтобы стать образцом для подражания, а смотрят, как на равного, как на пайщика и соучастника, рассчитывая на определенный вступительный взнос. Отталкивающий вид пьяниц понуждает избегать подобного партнерства: они не внушают ни уважения, ни желания походить на них или проводить среди них время.

Пробуешь выглядеть развязанным и наглым, цинично высмеиваешь ровесников-чистюль, как бы подразумевая тем самым, что во всем отличен от них. Однако стоит появиться в поле зрения пресловутым пацанам и корешам, стоит увидеть их потухшие или даже протухшие глаза, их злые испытые лица, как никнет лихачество добровольного изгнанника из общества и пропадают замашки гуляки, дерзкого забияки-подростка, плюющего на чье-либо мнение о себе. И настороженно наблюдая за той очень знакомой и все же таинственной компанией, постепенно начинаешь испытывать протест против опрометчивого стремление копировать их. Весь содрогаешься от мысли, что и твое лицо могут пропитать такие же скука и злость, что, приваживая к себе преждевременные морщины, будешь обречен на пожизненную тоску по не прикоснувшемуся к сердцу счастью. Этот протест первоначально воспринимается за каприз, за проявление малодушия, но день ото дня напоминает о себе все чаще, властно отодвигая от сомнительных, зланных мест. Все более необходимым видится отторжение от людей, старающихся поскорее скоротать отпущенные им судьбой годы. Как-то незаметно иссякла зависть к «козырным валетам» и «королям» затхлых проулков и замусоренных пустырей. Те мизерные и все же весомые

крупницы жизненного опыта, спаянные инстинктом самосохранения, сложились в своеобразный таран, взломали изнутри, сокрушили и этот образ героя. Сквозь марево наивности юные глаза все же сумели рассмотреть то, что толпящиеся с утра до вечера возле магазинов забулдыги, изъеденные неизлечимыми болезнями и перекоsobоченные прочими недугами – это все те же угрюмые, не знающие поражений в драках парни, только десяти- или двадцатилетней давности. И быть может, жили эти ханыги и опойки не обязательно возле рынка или рядом с привокзальной площадью, а на других улицах, но также вводили в трепет мальчишек своего района. И вот теперь, беспомощные, согбенные, с вечно трясущимися руками и грязно-щетилистыми подбородками, отупевшие от беспробудного пьянства, они не замечают никого, кроме своих собутыльников да опустившихся неудачников, бесповоротно разменявших свои мечты на легко достижимые рубежи.

Сосредоточенно смотрят из-под карниза нахмуренных бровей молодые глаза в поисках выхода из тупика: крепнет мучительное чувство вины за то, что столь неумело и глупо пытался распорядиться собой. А вдруг ее и нет совсем – яркой, интересной жизни? Выдумана она в книжках, чтобы дурачить людей.

Противоречивые, порой взаимоисключающие мысли бродят в голове, как в потемках: сталкиваются, расходятся, куда-то устремляются и бесследно исчезают. Есть и гнойные и совсем противные мысли, от которых просто не знаешь, куда деться. Печально осунувшееся знакомое лицо закадычного друга, из которого недавняя болезнь выпила все теплые тона. Длинные, худые пальцы неуверенно разминают сигарету, медлят направить ее в рот, чтобы заткнуть его, как кляпом. Разговор неповоротлив, вязок, пререзается долгими и частыми паузами. И вдруг раздается признание: «Надоело все это. Думаю пойти в баскетбольную секцию. Говорят, с моим ростом туда возьмут». Впервые наши планы разделились на два русла: еще находились вместе, совсем рядом, но уже стояли на самой развилке, и какое-то незримое, сильное течение расталкивало нас, разводило в разные стороны, само разъединяясь на два рукава. Впервые намерения одного не совпадали с интересами другого, и к такому несовпадению было трудно приспособиться. Впервые сохранил за собой секрет, заключающийся в том, что написал два стихотворения, подчиняясь необъяснимому порыву. А впрочем, эта новость могла напомнить о прежнем увлечении фантастическим романом, увлечении осмеянным и отвергнутым как напрасная трата времени.

* * *

Сочится талая вода с покатых крыш на южной стороне улицы, и потемнели гребни сугробов: заострились зимние валуны, некогда раздобревшие от обильных зимних вьюг. Исподволь размяк лед на дорогах, и его ошметками, порывевшими от песка и пропахшими бензином, швыряются колеса проезжающих автомобилей. В тени домов интригующе мерцают сосульки: они будут скошены к вечеру неторопливо разогревающимся солнцем, которое каждое утро восходит для богатой жатвы. В темноте ночи сосульки скоротечно отрастают снова. Тысячи больших и крошечных луж расплескала тут и сям весна. Эти лужи питают капель, срывающаяся с карнизов постепенно лысеющих крыш, и полнят ручьи, потаенно ползущие под осевшими сугробами. Прилетевшие откуда-то птицы сидят частыми запятыми на ветках и на проводах,

по утрам устраивая громкую переключку. Пришла пора равноденствия, равновесия двух могущественных сил, заканчивающаяся убедительной победой тепла и света. Яркое солнце глубит бреши в ледяном панцире, в который крепко закована земля, и осыпает коричневыми точками веснушек лица, бледные после затяжной зимы. Ночью же по-прежнему морозно черное небо, подвешенное высоко над головой на желтый крюк месяца. С крыш свисают стройные сосульки, застывшие, как гвардейцы в почетном карауле. Подсыхают дороги, а на обочинах спавивается в неровные наросты ледяная крошка. Зыбкий свет дрожит над городом, густо заселенным неподвижными вечерними тенями. Тихое ожидание близких перемен разлито по улицам, площадям, широкому изгибу набережной.

И день обязательно приходит в сусальном золоте, в алмазном блеске. Открываются задраенные холодом лужи, преобразаются в зеркала самых причудливых очертаний, и все без исключения – в хрустальном обрамлении. Пробуждаются ручьи, вновь принимаясь подтачивать сугробы, а лучи щекоcut сосульки, и те, поддаваясь игривой ласке, истают или томно падают на ложа-лунки, выдолбленные в залубеневшем снежном покрове пунктирной капелью. Потрескалась тяжелая скорлупа на реке, продолжающая тем не менее выглядеть белым пробелом между двумя оживающими берегами. Но вот в один из дней проступило тело реки, взъерошенное из-за неугомонного ветра и крепнущее от паводка.

На смену длительности первых лет приходят годы, которые неоднократно переворачивают весь мир, устоявшийся для взрослых и столь шаткий для подростков. Но жизнь постепенно подчиняется ускоряющемуся течению, и рябит в глазах от калейдоскопа превращений, несущих в себе все меньший заряд удивления: отчего нежданно-негаданно посещает ощущение нагрянувшей старости, всеизведанности, искушенности. Но это ощущение, как и все в ту пору, опять же нестойко и преходяще, а на смену ему подкрадывается другое всепоглощающее чувство – начала своего бытия, бесконечно далекое от завершения. Новые ритмы громко звучат в ушах, и эта оглушительная музыка преисполнена самых резких переходов: поэтому настроение подвергается ритмичным перепадам буквально за час или даже за минуту.

Втихомолку, без всяких объявлений и предупреждений, придвигаются события, чтобы в некий миг предстать во всей огромности, важности и, потрясенного, увлечь за собой. Наступает пора, когда внезапно полоснут по сердцу большие глаза, ослепят, засветят память – исчезнет вся прежняя жизнь, лишь останется вот это мгновение, вот этот взгляд, насмешливый и кокетливый, столь яркий и столь притягательный, что ему хочется немедленно повиноваться, забыв о гордости: хочется упреждать все желания, скрытые в нем и даже пойти на смерть, будучи благословенным одним лишь взмахом длинных пушистых ресниц. Полностью нарушается взаимозаменяемость предпочтений и увлечений: сходить в кино, поиграть в футбол или почитать книгу. Все поглощено настоятельной потребностью видеть Ее и только Ее. Негласной целью каждого дня становится минутная встреча с Ней, и если встречи не происходит, то возникает смятение – высшее в шкале тревог. Несостоявшееся свидание сродни с несчастным случаем. Эта девчонка закабалла одним своим присутствием, открытие которого подготавливалось много лет, и вот снизошло озарение – в своем классе была обнаружена та, в ком сосредоточилась вся красота мира.

Любовь сначала поселяется в воображении и проявляется в робких влечениях к десяткам или даже к сотням реальных и вымышленных образов, слагающихся в единый идеал. Этот идеал постоянно видоизменяется, уточняется, дополняется новыми мимолетными симпатиями, бессознательно сопоставляется с каждой встречной на улице или в школьном коридоре девушкой. И вдруг обнаруживаешь, что одно лицо, одна улыбка, одни глаза, живые и непостижимые, затмевают собой самые смелые грезы. Возникает непреодолимое желание видеть только Ее одну, и в тоже время растет и ширится в груди боязнь быть замеченным, а точнее уличенным в своем волнении. Зародившись как самая сокровенная тайна, любовь неизбежно проступает во взгляде, слышится в интонациях, очерчивает границы и сама же понуждает их преступать. Ощущаешь себя невольником, потому что не знаешь, как превозмочь притягательность Ее глаз, становишься бестолковым и невосприимчивым больше ни к чему. Удивление вызывает буквально все, что связано с Ней. Уши слышат только Ее голос и тем более Ее смех: этот смех слегка сотрясает воздух в пустой классной комнате и отзывается учащенным биением сердца. Трижды благословенно красноречие веселого девичьего смеха, убеждающего в том, что ты не скучен, интересен для Нее. Ищущие глаза выделяют в толпе демонстрантов, направляющихся на Первомайское праздничное шествие, только ее фигуру, только Ее руки, держащие на тонких белых ниточках целую связку разноцветных воздушных шаров. Пыльца расцветающих соблазнов туманит взгляд, проникает в ноздри, горячит губы. Возбуждение ошпаривает щеки избыточным румянцем. Новые силы будоражат все тело от неслучайных, хоть и осторожных, мимолетных прикосновений, после чего пальцы бережно хранят память о Ее пальцах, Ее ладонях и запястьях Ее рук. Вся жизнь представляется мертвенной пустыней, когда остаешься наедине со своими упованиями, пугаясь их и слабо веря в их сбыточность.

А весна уже торжествует свою необратимую победу. Природа бурно воскрешается из еще совсем недавно холодной земли, а теперь солнечно смеющейся продолговатыми лужицами. Набухшие почки готовы вот-вот брызнуть зеленью липкой, новорожденной листвы: ершисто торчит низкая трава — молодая поросль заполняет серые и черные пустоты между бетонными бордюрами дороги и асфальтовыми дорожками. Резво носятся в воздухе пичуги, радуясь первым теплым денькам. С удовольствием дотрагиваются пальцы до подбородка, обсаженного редкими, пробившимися волосками: приметы очевидной мужественности придают уверенности и «старят» хотя бы на год. На ногах, купленные в соответствии с последними требованиями изменчивой моды, полуботинки, над которыми плещутся пошитые в ателье брюки. Торопливы шаги, сокращающие дистанцию до места условленного свидания: предстоят упоительная прогулка по Откосу, возможно — сидение за столиком кафе-мороженое, раскинувшегося под открытым небом, и затем — вечерний сеанс в кинотеатре, медленное возвращение к пятиэтажным домам — бесстрастным свидетелям последних школьных лет. Все это — звенья одной цепи, слагающейся из закамуфлированных предлогов или невыказанных желаний как можно дольше находиться вместе. И, в то же время, каждая встреча преисполнена изумительной новизны: постигаешь глубокий смысл, казалось бы, бесцельной прогулки, язык взглядов и почти случайных прикосновений. Стремление неотлучно быть с Нею заставляет придумывать множество предлогов

и находить опять же множество ухищрений, позволяющих длить часы встречи. И в какой-то вечер нисходит неслыханная храбрость: перестаешь изобретать поводы-причины куда-то идти, что-то смотреть и сдвоенное молчание оказывается единственным способом вникнуть в пока еще туманные чаяния друг друга. И в эти сокровенные минуты безмолвного признания в сходстве переживаний и надежд возникает как бы сговор двух единомышленников, который скрепляется печатью столь желанного поцелуя. Весь мир съезживается до этих восхитительных глаз и губ, замерших в робком ожидании повторения изведанного, и возникает иная вселенная, осененная светом любви. И двое новичков в той вселенной потянутся из сумерек застенчивости к обнаруженному истоку животворного света: беззащитный перед беззащитной. И снова встретятся разгоряченные губы, и жарко сожмутся тела в объятьях, предвкушая свое второе рождение.

Нужно быть единственным и неповторимым, всемогущим рабом, чтобы не спугнуть и тем более не оттолкнуть Ее любовь: необходимо стать сильнее, умнее, лучше, чем есть. Нужно увидеть все то, что прежде оставалось за границами внимания, когда бросал скучающие взгляды на цветы, облака, птиц. Сколько всего прекрасного рассредоточено в окружающем мире и так хочется подарить эту красоту Ей одной! Нужно быть достойным того счастья, какое тебе пожаловала судьба! Ведь так мало тех, кому довелось встретиться наяву со своей мечтой! И нельзя, невозможно не петь об этой редкостной удаче.

И все же ниспослано мало блаженства чувству, так вдохновенно воспетому поэтами. Любовь — это всегда свежее открытая рана, которую неустанно бережат сомнения и страхи. И никому о них нельзя рассказать, они — только твой удел. Лишь лист бумаги и ручка могут претендовать на положение не болтливых свидетелей восторгов, перемежаемых душевными терзаниями. Любовь ненасытна и потому ширит рамки дня, уворовывая часы у сна и учебы. Любовь эгоистична, настойчиво пытаясь убедить в том, что вся предшествующая жизнь была всего лишь бесцветным существованием обездоленного. Но память сопротивляется подобной настойчивости, у памяти — свое умение и свой подход в отборе фактов и сцен, из которых слагается лента прошлого. Память продолжает сберегать в своих подвалах краски и переживания тех дней, которые тебе сиюминутному видятся никчемными: ведь то, что происходит с тобой здесь и сейчас, просто несопоставимо с прошлым. Но память все равно погружает тебя в пласты прожитого и сурово вопрошает: «Разве ты не был богат дружбой? Наделен ею с самых истоков своей жизни... И почему был? У тебя и сейчас есть он — надежный товарищ. Каждая вторая мысль его. Каждый второй взгляд — тоже его. Все свои первые впечатления от того, что вокруг, вы получили вместе. С другом ты прошел сквозь такую толщу времени, какую вряд ли выдержит иное чувство и иной союз».

* * *

Появились два мерила, две точки отсчета, уживающиеся вместе, как две руки или два глаза: как без солнца, сменяемого луной, немислима жизнь на земле, так и юношеский мир трудно себе представить без любви и дружбы. Такое соседство рождало свои тени, свои реликвии и святыни. Будучи противоположностями, любовь и дружба все же не стали противоборствующими сторонами одного целого, а скорее взаимно

дополнялись, порождая удивительное ощущение полноты неуклонно расширяющейся жизни. Нет, не перечеркнуло новое чувство ярким лучом давнишнюю мальчишескую поруку, проверенную неисчислимыми передрыгами – испытаниями на прочность. Не умерло духовное родство двух душ, склонных к мечтательности и безудержным фантазиям. И разъединенность, столь внезапная, не превратилась в разрыв, а позволила яснее рассмотреть и понять ценность того, что сокрыто за повседневностью столь привычного общения: такая разъединенность заставила ощутить всю горечь возможной утраты. Нет, никак нельзя расторгнуть согласие двоих, не помнящих себя друг без друга. Нельзя отринуть тот удивительный стержень, на который были нанизаны все прошлые, прожитые годы!

И была долгожданна, выстрадана встреча на знакомой и не задетой временем набережной, плавно изогнутые линии которой упирались, с одной стороны, в серую громаду элеватора, а с другой – в контуры моста. И крепкое рукопожатие отозвалось в сознании, как добрый знак. Впервые тогда заговорили о дружбе, что ближе родства и дороже братства: захваченные единым порывом, читали стихи, не опасаясь быть подслушанными случайными прохожими и чувство общности, слитности, берущее свой исток из первоначальных впечатлений далекого детства до слез сильно обнимало нас. И пусть наши лица были освещены разнонаправленными устремлениями и маяками, ничто и не разъединяло нас. Один пылко живописал ни с чем не сравненную красоту своей девушки, другой исповедовался в своей страсти к состязательности, блазнившей победами и наградами в представительных турнирах.

«Спорт – это честная борьба, а игра в команде требует самопожертвования. Это и возможность увидеть страну, и встречи с интересными людьми. Конечно, и тяжкий труд. Это единственный шанс стать Человеком. Это – любовь».

Да, любовь! Вот оно – новое сходство состояний, переживаний, надежд и опасений, присущих обоим. Мы влюблены: каждый – по-своему. Любовь делает нас чище, целеустремленнее, настойчивее и привносит веру в прекрасное будущее – то, чего нам там не доставало в прежние годы. Мы обогатились, не утратив своей оси, пролегшей в центре спирали наших лет, и мы не станем отклоняться от той благословенной оси, на каком бы витке жизни не находились.

Было тихо в тот теплый вечер на исходе мая. Противоположный берег Оки, усыпанный мелко раскрошенным светом горящих электрических фонарей, как и обычно изломанным валом нависал над той частью реки, что простерлась за пляжем. Еще совсем недавно на воде была расстелена дорожка закатного багрянца, и вот она незаметно, бесшумно то ли стерлась, то ли была унесена течением реки. А в душистую, густую тень сиреневого куста, заключавшего скамейку в квадратную скобку, уже вклинивалась ночная прохлада. Как и раньше, мост был украшен ожерельем огней, а внизу под нашими ногами темнела лодочная станция. За нашими спинами высились деревья узкого сквера, который мы пересекли, проползли, пробежали из одного угла в другой сотни, а может быть и тысячи раз. А за тыльной стороной сквера начиналась улица, ведущая к железнодорожному вокзалу. Немного в стороне от той улицы короткой дужкой на фоне звездного неба виднелся кусочек купола цирка, в котором мы не пропускали представлений ни одной гастролирующей труппы артистов. А многие представления смотрели и по многу раз.

Трудно было допустить саму мысль о том, что когда-то все это может исчезнуть и что мы сами смертны. Оттого так звонко, взволнованно звучали молодые голоса, и древняя река сдержанно внимала говорящим. А они убеждали друг друга в том, что когда-то в будущем возможно и наступит такой роковой миг, их обоих не станет. Но и этот миг окажется бессилем перед друзьями, уже переселившимися под свет иной звезды, на иную планету, копию этой: они каким-то фантастическим образом успеют перебраться в более чем знакомый двор, сопредельный с лабиринтом сараев. А на приземистой улице будет торчать заметная издалека, заброшенная, старая, сложенная из красного кирпича водонапорная башня с чахлыми тополиными кустиками на самой крыше. И будет также манить к себе парк, бывший некогда смиренным кладбищем. И понесутся наперегонки по лужам двое малышей, переждав бурный ливень под ясенем, и будут в изумлении останавливаться перед двухэтажными, ничем не примечательными, наполовину каменными, наполовину деревянными домами.

Стихи по кругу

Наталья СТРУЧКОВА

Кстово

Сад земных наслаждений

По мотивам живописи Иеронима Босха

Нет, можно ещё продолжать,
Не зная тревог и сомнений...
А ты не пытался бежать
Из сада земных наслаждений?

Там тропка почти заросла.
И плющ обвивает ограду,
Деревья сосёт и тела,
Скрывая калитку из сада.

Тела истаскались до дыр,
И весь наизнанку, наружу
Был вывернут внутренний мир,
При жизни утративший душу.

* * *

Права дождям возвращены
И непогоде.
Тепло уходит до весны,
Тепло уходит.
Роняя листья, под окном
Дрожит осина.
И мне прощание с теплом —
Невыносимо.
Когда настырная тоска
Крылом вороньим
Скребётся больно у виска,
Скребётся больно,
В глаза заглядываю я:
«Скажи, прохожий,
Открой мне тайну бытия,
Ведь ты же можешь.
Зачем случается конец
Всему в природе?
Тепло уходит из сердец,
Тепло уходит...»

* * *

Время когда-нибудь отберёт
Молодость, власть над мужчиной.
Как это будет? В какой черёд
Мне не посмотрят в спину?
И не подумают: «Хороша!»
И не проводят взглядом...

Но если не плачет о том душа,
Может быть, ей и не надо?..

* * *

Голос сердца всё тише
Среди шумного дня.
Я нашла свою нишу.
Не тревожьте меня.

Не печальте напрасно.
В каждодневной игре —
Слишком много несчастных
На прекрасной земле.

Между мыслью и словом,
Истомившись в борьбе,
Не ищите иного —
Возвращайтесь к себе.

* * *

К заветной истине дороги
Порой теряются во мгле,
Но я, себе сбивая ноги,
Искала правды на земле.
Казалось, нет простых решений,
И мир молчание хранил,
Но из раскрытой книги гений
Со мной так просто говорил:
«Как человеку жить иначе,
Несправедливости назло?
Сначала, может быть, поплачем,
А после веруем в добро».

* * *

Где-то здесь земная рукоять —
На просторах матушки-России.
Чтобы Миром этим управлять
Мало лишь могущества и силы.

Не солгут о том колокола,
В день воскресный исполняя рано

Разве здесь наука – понимать?
И до чувств приходится раздеться:
Как обидно за отца и мать,
И немножко – за себя из детства...

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 02.04.2018.
Выпущено в свет 25.04.2018.
Формат 70×108 1/16. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии «Растр»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61